



АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО

Как  
солнце  
дню



**ПОВЕСТИ**

**АНАТОЛИЙ  
МАРЧЕНКО**

# Как солнце дню



ВОЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МИНИСТЕРСТВА  
ОБОРОНЫ СССР



МОСКВА — 1965

Нравственная красота советского человека — основная идея повести «Как солнце дню». Главные герои произведения — Алексей Стрельбицкий, Антон Снегирь, Лелька Ветрова и Галина Петухова — в первые месяцы войны волею сложившихся обстоятельств проходят через суровые испытания и каждый по-своему преодолевает их. Автор рассказывает, как в дни поражений и побед мужают герои, меняются их взгляды на жизнь, на людей, на любовь.

Повесть остросюжетна, проникнута духом романтики. В ней показано, как велико значение глубокой веры в нравственные силы людей, до конца преданных делу, которому они служат.

Повесть «Юность уходит в бой» посвящена становлению советской молодежи на дорогах войны. Герои ее — юноши и девушки, со школьной парты ушедшие на фронт, пограничники, принявшие на себя первый удар врага. В произведении ярко и убедительно раскрывается мысль о том, что настоящий человек идет в бой «не ради славы — ради жизни на земле», что карьеризм, тщеславие, самолюбование неизбежно приводят к моральному краху. Светло и проникновенно рассказывается в повести о первой любви.

«Как солнце дню» — четвертая книга Анатолия Марченко. Его повести «Дозорной тропой», «Смеющиеся глаза», «Юность уходит в бой» были тепло встречены читателями и критикой.





КАК  
СОЛНЦЕ  
ДНЮ



— **О** НА улыбалась, — сказал Антон, тщетно пытаясь приподняться. — Ты понимаешь, она улыбалась!

Я ничего не понимал. Я смотрел на него, почти убежденный, что он или бредит или фантазирует. Впрочем, сейчас ему было не до фантазий.

Антон лежал в мелком, хилом березняке, которым поросли склоны оврага. Я тащил его сюда на спине, поражаясь своей выносливостью. Он был высоким парнем, и его длинные ноги волочились по тропке. Мне никак не удавалось приподнять его выше: он сползал, будто хотел поскорей прижаться к земле.

Не верилось, что совсем недавно вокруг было тихо и что эту тишину боялись разбудить даже ранние, равнодушные ко сну птицы. Тогда я не мог и предположить, что именно в это утро мне придется спасать раненого Антона.

Растерянный, подавленный, насквозь пропахший пороховой гарью и потом, плохо соображающий, что произошло и что нужно делать дальше, я опустился на траву рядом с Антоном.

Лес, в котором мы скрылись, был неузнаваем: сосны, всегда хранившие на себе отпечаток спокойной мудрости, нацелили в небо звенящие стволы и тревожно прислушивались к отзвукам удалявшегося боя; ласковые, добрые

березы сторонились елей, словно боялись уколоться об их жесткие, угрюмые иглы; жиденский осинник сгрудился в кучу, как бы защищаясь от опасности.

— Она улыбалась, — снова прохрипел Антон. Голова его то и дело дергалась, и ветка низкорослой березки терлась о блеклые губы. На лице отчетливо выделялись опухшие веки. Они были красны, будто он долго, не отрываясь, смотрел на пламя. Я не видел сейчас его глаз, но мне чудилось, что он смотрит на меня гневно, даже враждебно.

— Молчи, — прошептал я.

— Нет, я расскажу, — сопротивлялся Антон. — А вдруг... Ну... если что случится. Ты так никогда и не узнаешь, как все это было...

Я догадывался: он собирается рассказать такое, что может круто изменить мое отношение к жизни, заставит по-новому посмотреть и на бой, и на Антона, и на самого себя. Меня заранее пугало предчувствие, хотелось узнать пусть даже самую жестокую правду и в то же время отдалить мгновение, когда неведение сменится ясностью. Два враждебных, непримиримых желания столкнулись в моей душе, и я притих, словно в ожидании взрыва.

Антон молчал. И неестественно вздернутый нос, чуть раздвоенный на конце, и впалые щетинистые щеки, и резко очерченные скулы и челюсти — все застыло, и на этом застывшем лице живыми были только шершавые, жадно шевелившиеся губы. Они тянулись к чему-то невидимому, слышался прерывистый, сухой и бессвязный шепот. Я не сразу понял, что ему надо. И только когда Антон страдальчески, медленно облизал губы искусанным языком, стало ясно, что он хочет пить.

Ручей был рядом, но в чем принести воду? Расколота стеклянная фляжка в матерчатом футляре была выброшена еще на заставе. Сейчас выручила бы и пилотка, но ее тоже не было. И все-таки Антон должен напиться. Глоток свежей воды для него — спасение.

Я встал и, пошатываясь, пошел к ручью. Торопливо огляделся вокруг. Над ближней высоткой, обтекая деревья, поднимался дым, и казалось, что там, в синеватых зарослях, разводят костры. Вдали, за лесом, прозвучал выстрел, его сменила судорожная автоматная очередь, потом, остервенело таякнув, с хрустом врезалась в землю мина.

Что же произошло? То ли крупная провокация, то ли непрошеной гостьей пришла настоящая война? Что бы то ни было, я был уверен, что самое страшное мы уже пережили, что к вечеру или, самое позднее, к рассвету следующего дня к границе подойдут войска и мы, вышвырнув захватчиков за рубеж, добьем их там, откуда они пришли. Главное сейчас — спасти Антона, соединиться со своей частью, снова увидеть веселую Лельку.

Снова увидеть Лельку... Не о ней ли хочет рассказать Антон? О ком же еще, как не о ней? Нет, нет, с чего это ты взял, что именно о ней? Нет, нет...

Он хочет пить и, наверно, расскажет, как только утолит жажду.

Невдалеке прогрехотал взрыв такой сильный и злой, что казалось, лес вздыбится и вывороченные с корнем деревья рухнут вразброс на землю.

— Наши... — прошептал Антон. — Дальнобойки...

— Конечно наши, — подтвердил я. — А ты лежи, я сейчас.

Раздвигая негнушимися, словно чужими, руками высокие мясистые лопухи, прятавшие почти нехоженую тропинку, я осторожно спустился на дно оврага. Здесь было сыро и тихо, но даже в тишине чувствовалась настоятельность, словно и кусты, и трава, и темная вода ручья хотят рассказать что-то тревожное и важное, но никак не могут решиться.

Подступы к ручью были топкими, мои пыльные сапоги сразу погрузились в вязкий ил, и струйка воды, проникшая через порванное голенище, ужалила горячую ступню. Я погрузил ладони в неторопливую струю, стал черпать пригоршнями и с жадностью пить холодную вкусную воду. Нас всегда учили утолять жажду лишь несколькими глотками, но я выпил намного больше, заранее решив, что сюда, к этому ручью, уже не вернусь. Потом окунул в воду лицо и с наслаждением почувствовал, как кровь отхлынула от гудевших висков. Захотелось есть, но карманы грязных, лопнувших на обоих коленках брюк были пусты.

Как я ни рыскал глазами, возле ручья не нашел ни банки из-под консервов, ни пустой бутылки. Отступив с топкого места, я сорвал нависший над водой большой лист лопуха и свернул из него что-то похожее на воронку. Опустил в ручей, набрал воды, но она тут же вытекла.

Что делать? У меня было такое состояние, будто оставил Антона одного, и очень давно.

Неожиданно за кустами что-то сверкнуло. Я заглянул туда и отпрянул, будто меня резко ударили в грудь. В неглубокой ложбинке лежал немецкий солдат. Что-то необычное было и в том, что немец лежал на берегу тихого ручья, продолжавшего как ни в чем не бывало петлять, повторяя все изгибы оврага, и в том, что гул сражения уже прокатился дальше и все забыли об этом немце, едва успевшем пересечь границу и оставшемся здесь, у ручья.

Я подошел ближе. Немец лежал, поджав почти к самой груди острые коленки. Грязь на голенищах сапог уже начала подсыхать. Видимо, он хотел сильным размашистым прыжком перемахнуть через ручей и в этот миг его настигла пуля.

Ну что же, завоеватель! Ты уже больше не встанешь, не сможешь стрелять, не сможешь вслед за танками идти по нашим дорогам, запеть песню или выкурить сигарету, выругаться крепким словом или увидеть, как всходит солнце. Этот узенький ручей стал для тебя непреодолимой преградой...

Если бы немец был жив, он, наверное, почувствовал бы резкий приторный запах болотных цветов, в которых лежала его голова, наполовину ушедшая в каску. Мне как раз и нужна была каска: ею можно зачерпнуть воды и напоить Антона. Она оказалась горячей: напекло солнце. Мне почудилось, будто в каске сохранилось еще тепло убитого. Волнистые потные волосы немца мелкими, скатавшимися кудряшками спускались к худой загорелой шее, и в этих кудряшках было что-то беспомощное и жалкое.

Опуская каску в ручей, я заметил на своей ладони следы загустевшей крови и поспешно смыл ее. Старательно прополоскал каску. И все же не мог отделаться от навязчивой мысли: наверное, она и сейчас еще сохраняет запах его потных волос.

Перед тем как уйти, я обыскал карманы убитого. В одном обнаружил сложенный вчетверо лист плотной бумаги и фотокарточку. В другом — надломанную плитку шоколада в яркой цветистой обертке. На ней отчетливо были видны следы зубов. Вероятно, он надкусил плитку, когда в небо взмыла ракета, означавшая сигнал к атаке. Теперь он уже не сможет есть шоколад. И вообще...

Не успел я отойти и нескольких шагов от немца, как услышал прерывистый стон. Что за чертовщина! Немец лежал недвижимо. Все так же негромко звенел ручей, все так же робко, словно боясь обнаружить себя, вздрагивали ветки орешника, все так же пустынно и тихо было в этом уголке леса, еще недавно шумном и страшном.

Наклонившись к немцу, я снова услышал стон. Он сто-нал, не разжимая спекшихся губ. Сомнений не остава-лось: немец еще жив.

Я перетащил его под куст и уложил так, чтобы солн-це не падало ему на голову. Теперь хорошо было видно его лицо — удлиненное, скуластое. Белесые густые бро-ви, черные круги под глазами, впалые щеки. И самое при-метное — синеватый шрам у виска, наверное, чей-то нож когда-то оставил здесь свой след. Обидчиво поджатые гу-бы. Может, он поджал их в то мгновение, когда почувст-вовал острую боль от пули и понял, что падает, тяжело падает на землю.

Я плеснул ему в лицо водой из каски. Оно осталось безжизненным.

Нет, сейчас мне не до тебя. И чего это ради я буду с тобой возиться? Кто тебя звал, кто просил, чтобы ты шел через границу?

Я полез наверх. Нет, к ручью сходил не зря. Несу во-ды Антону, а в кармане — плитка шоколада. Неплохо, черт возьми!

Антон лежал почти без признаков жизни. Я разжал ему зубы, и вода тонкой струйкой полилась в сухой рот. Сейчас ему станет легче. И все же мне было как-то не по себе из-за того, что поил товарища из немецкой каски, что там, у ручья, лежит ее владелец.

Антон открыл глаза и удивленно уставился на меня. — Я думал, что ты ушел совсем, — сказал он.

Здорово живешь! И как только мог подумать? Если он мог так подумать, значит, считает, что теперь, когда круто изменилась обстановка, люди тоже могут круто измениться? Я снова поднес к его губам каску, он еще немного отпил и затих.

Что же дальше? Пожалуй, надо дожждаться ночи, вый-ти на шоссе, выяснить обстановку. Если все будет более или менее спокойно, то снова взвалить Антона на плечи и добраться до ближайшего села. Там были хорошие, на-дежные люди, всегда охотно помогавшие нам в охране



границы. Можно будет на время оставить у них Антона, передохнуть и найти своих.

Приняв решение, я немного успокоился. Хорошо, когда человек из самого сложного положения находит выход.

Антон попытался встать, но я удержал его. Он уже спокойно, даже равнодушно подчинился и, не отпуская моей руки, проговорил:

— Алексей, она не та...

— Хорошо, говори, я буду слушать тебя. Говори.

Лучше сразу, только правду. Самую горькую, самую ядовитую, но правду. Самую жгучую пулю, но — в сердце. Тогда — конец мучениям.

Но Антон умолк. Я терпеливо ждал, что он заговорит, и даже не заметил, как задремал, прислонившись к стволу дерева.

Очнулся перед самыми сумерками. Солнце сползало по верхушкам деревьев. Закат горел, и казалось, пламя ползет к небу прямо из лесной чащи.

В вещмешке у Антона я нашел начатую пачку галет. Торопливо, будто боясь, что отнимут, сунул галету в рот. Хрустнул так, точно наступил ногой на сухую ветку. Галета была твердой, как керамическая плитка. Нет, галету Антону не разжевать. Он еще спал, и до его пробуждения я решил снова сходить к ручью и набрать воды, чтобы размочить галеты. Шоколад оставил про запас.

Над оврагом неслышно угасали последние отблески солнечных лучей. У ручья, в кустах, уже зарождались мрачные тени. Еще с обрыва я невольно взглянул на то место, где оставил немца.

И едва не вскрикнул: немца не было! Но может быть, я ошибся или запаматовал, где он лежал? Спустившись в овраг, различил свои следы и увидел тот самый куст, под которым положил немца.

Немец исчез!

Неужели унесли? Кто мог это сделать? Немцы? Значит, они тут, в лесу, рядом с нами? Или он сам пришел в себя и уполз куда-нибудь в более безопасное место?

В смятении я вернулся к Антону. Мне не терпелось рассказать об исчезновении немца, но понял, что сейчас ему не до меня. Размочив галеты, я покормил его.

Пришел вечер, сменивший такой короткий и такой необычно длинный день. Впереди была ночь, полная неизвестности и тревоги.

2

— И как она могла... — снова заволновался Антон.

— Да кто же, кто? Говори!

— Лелька...

— Она жива? Где ты видел ее? Где?

Молчание. Да что же это такое, в конце концов! Сколько можно терзать меня? Ну и что же, если даже кому-то она улыбалась? Лишь бы была жива!

Антон молчит, и надо терпеливо ждать, когда он заговорит снова...

Первые минуты боя, вспыхнувшего на границе, были для каждого из нас по-своему несхожими: для одного это была мысль о славе, для другого — последний поцелуй, для третьего — смерть.

Для меня, Алексея Стрельбицкого, это был вопрос, немой вопрос, который едва не перешел в отчаянный вопль: «Что с Лелькой?!» Да, сразу же, как только я услышал резкий выкрик дежурного, поднявшего заставу в ружье, подумал о Лельке. Впрочем, была ли такая минута в моей жизни, когда бы я не думал о ней? Выходило солнце — Лелька. Горели звезды — Лелька. Радость — Лелька. Горе — тоже Лелька.

Она приехала на заставу десять дней назад. Ее приезд вызвал у меня двойственное чувство. Я был очень рад, что именно ко мне, а не к кому-то другому примчалась эта девчонка, которой, казалось, сам черт не брат. И все-таки было как-то неловко перед товарищами: на границе тревожно, а тут — девушка.

Лелька остановилась у своей дальней родственницы Клавдии, жены начальника нашей заставы лейтенанта Горохова. Это меня утешало, но все же бойцы сразу почувствовали, что Лелька приехала не столько из-за того, чтобы повидать Клавдию. Я старался на виду у всех держаться с Лелькой сдержанно, как бы подчеркивая, что относясь к ней так же, как и все остальные бойцы. Но Лелька была из тех девушек, которые не только не любят ничего скрывать и создавать тайну из своих привязанностей, но просто-напросто не умеют этого делать. Она

открыто выражала свои чувства ко мне и откровенно радовалась, если узнавала, что о ее разговоре со мной или о наших прогулках в роще становилось известно другим. Да и вообще-то разве на заставе что-нибудь скроешь?

Застава очень понравилась Лельке. Она любила все необыкновенное. С такой же жадностью, с какой она набрасывалась в институте на новые предметы, без сожаления расставаясь со всем, что переставало быть для нее тайной, и принимаясь разгадывать еще не познанное, Лелька изучала заставу, ее людей, ее неповторимые особенности. Все, что уже стало для нас привычным, даже то, что успело нам опостылеть, ей было в новинку, и она не переставала удивляться, задавать вопросы, смеяться и возмущаться.

Лейтенант Горохов, совсем еще молоденький офицер, чуть старше своих подчиненных, ревниво оберегал строгие воинские порядки, не терпел, когда нарушался суровый ритм солдатской жизни. Недавний выпускник училища, он наивно верил, что любое явление, любой случай можно подвести под ту или иную статью устава. Поэтому приезд Лельки был для него очень обременительным, и он предъявил к ней самые жесткие требования.

— Застава — это воинский гарнизон, — говорил он, стараясь не смотреть Лельке в глаза. — Разрешаю придти сюда только в кино или на концерт. Вместе с моей Клавдией. — Жену он считал человеком, особенно чутко умеющим понимать сущность воинского порядка. — Можно прийти, к примеру, на кухню за кипятком. А среди бойцов мельтешиться незачем.

— А к Алексею можно?

— К кому?

— К Стрельбицкому.

— Знакома?

— Давно!

— Ты чувствуешь обстановку? Понимаешь, чем пахнет?

— В воздухе пахнет грозой! — смеясь, пропела Лелька.

— Точно — подхватил Горохов. — А раз грозой, значит, шутки в сторону. Отвлекать бойцов от боевой подготовки запрещают. Ясно?

— А танцы в субботу?

— Какие танцы?! — Горохов скривился, будто хватил чего-то кислого.

— А на вышку можно?

— Прекрати!

— Значит, уеду с заставы и ни разу на вышку не залезу?

— Ты что, хочешь, чтобы меня в анекдот вставили? По всей границе склоняли? Чтобы на той стороне немцы за животы похватались?

— Так уж и похватаются. А может, они мной любоваться будут.

— Кончай, Лелька! — рассвирепел Горохов. — Не будешь подчиняться — отправлю с заставы!

— Ой, как интересно! — завизжала Лелька. — Верхом на коне, да? А кто меня будет сопровождать? Алексей?

Лелька выводила Горохова из себя. Она кого угодно могла вывести из себя, если бы ей захотелось. И Горохов оказался бессильным: Лелька то появлялась на стрельбище, где просила дать ей метнуть фугаску, то крутила патефон в ленинской комнате и пыталась, пользуясь отсутствием Горохова, устраивать танцы, то условными знаками — мальчишеским свистом или камешком, брошенным в окно казармы, — старалась вызвать меня к себе в то самое время, когда я при всем желании не мог к ней выйти.

Как-то меня назначили в наряд на пост наблюдения. Был ветреный сырой вечер. Звезды учащенно мигали, будто им больно было смотреть на землю. На сопредельной стороне, в лесу, не переставая, скрипуче вздыхали сосны, с дороги, скрытой деревьями, доносился злой лязг гусениц, визжали тормоза автомашин. Где-то совсем близко хрипло лаяла овчарка.

Я поднялся на вышку перед вечером и с наступлением темноты должен был уйти на левый фланг участка. Взглянув на часы, собрался было уходить, но услышал легкий непривычный скрип ступенек. Пришла проверка? Нет, это не тяжелая поступь солдатских сапог. Скрип усилился: кто-то стремительно поднимался по лестнице. Еще секунда — и в крышку люка легонько постучали, послышался отчетливый шепот:

— Але-шень-ка...

Лелька! Я нагнулся над люком, чуть приподнял крышку. Прямо на меня смотрели немигающие Лельки-

кины глаза. От волос пахло хвоей, она прерывисто дышала.

— Уходи, сейчас же уходи, — пытался я прогнать ее. — Зачем ты пришла? Спускайся быстрее...

— Не хочешь меня видеть? — удивленно и обиженно спросила она.

— Хочу. Очень хочу. Но не здесь.

— Боишься?

— Пойми, устав, инструкция...

— Эх ты, инструкция. Или открой, или прощай.

Я открыл люк, и Лелька вмиг очутилась рядом со мной.

— Я не буду тебе мешать, — чмокнула она меня в щеку. — Только покажи, что там видно, на той стороне.

Сумерки еще не успели сгуститься, противоположный берег реки был виден, хотя и не так хорошо, как днем, но еще можно было различить узкие полоски ржи за рощей и даже тропку, извивавшуюся между красноватыми прутьями лозняка.

— Смотри, — сказал я, передавая Лельке бинокль. — Идет немецкий наряд.

— Где, где? — встрепелась она.

— Вон, между кустами. Видишь, три солдата с автоматами.

— Вижу, — обрадованно воскликнула Лелька, — как интересно!

— Хитрые, сволочи. Неспроста втроем несут службу.

— Ты думаешь? — откликнулась Лелька, биноклем сопровождая медленно вышагивавших вдоль берега немцев. — А знаешь, тот, что идет позади, — красивый парень. Брюнет. А эти два совсем рыжие, как я.

Что?! Как она смеет говорить такое о немце? Хотя бы про себя думала, а то на тебе — ляпнула вслух. Мне всегда нравилась в ней эта черта — откровенность, но сейчас Лелькины слова вызывали гнев.

— Ты обиделся? — почувствовала мое настроение Лелька.

Я не ответил, хотел притвориться равнодушным, но, вероятно, меня выдал насупленный, отчужденный взгляд.

— Что ж, по-твоему, немцы не могут быть красивыми? — спокойно спросила она.

Этот вопрос и вовсе взбесил меня.

— У нас же с ними дружба, — добавила Лелька, — и пакт о ненападении.

— Замолчи, — оборвал я. — Не хочу тебя слушать. И можешь убираться отсюда. Я на службе.

Пока она смотрела в бинокль, меня все время не покидало чувство вины: поддался желанию девчонки и нарушил требования службы. И утешал себя тем, что Лелька сама поймет это, но уже не мог сдержаться.

— А я-то думала, — усмехнулась Лелька, — что ты ради любви...

Она не договорила, сама откинула тяжелую крышку люка и исчезла внизу. И странно: в то самое мгновение, как она скрылась из виду, я почувствовал себя настолько одиноким, что готов был взвыть от обиды и горя. Мне сразу же представилось, как Лелька, прихватив свой рюкзак, несмотря на уговоры Клавдии, уходит с заставы по лесной дороге, уходит все дальше и дальше, с гордой и иронической усмешкой на лице.

Я быстро спустился с вышки, но красное Лелькино платье словно растаяло в сумерках. Бежать вслед за ней я не мог: пора выходить на дозорную тропу.

Не успел я пройти и десяти шагов, как из темноты навстречу мне вышли двое. В первом я сразу же узнал капитана из отряда, который уже несколько дней жил на заставе, за ним шел Горохов. Лицо капитана, как всегда, выражало доброжелательность.

— Поздравляю, — сказал он, опередив мой рапорт. — Поздравляю. Отлично несете службу.

«Все знает», — подумал я вначале со страхом, но его вкрадчивый и слишком добрый голос ожесточил меня.

— Молчите? — почти ласково спросил капитан и, обернувшись к Горохову, не укоризненно, а как-то даже радостно добавил: — А вы говорили, что бдительность на высоте. С чем вас и поздравляю, лейтенант.

Горохов, потупившись, молчал.

— Продолжайте нести службу, товарищ боец, — дружелюбно приказал капитан. — А завтра, в субботу, мы побеседуем.

Слово «побеседуем» он произнес так же просто и дружески, без угрозы, как и остальные слова, точно был обрадован возможностью потолковать со мной.

В субботу он действительно со мной побеседовал. Но не один на один: собрал весь личный состав, свободный от службы.



Ребята шли на беседу неохотно. В предвыходные дни мы привыкли подгонять свои хозяйственные дела, настаивались посмотреть кинофильм, не жалея карандашей и бумаги, строчили «конспекты на родину». И хотя пограничная служба такова, что застава, по существу, не знает ни предвыходных, ни выходных дней, суббота и воскресенье были своего рода отдушиной, хотя бы в психологическом смысле. Что касается меня, то я чувствовал себя «именинником» и знал, что ничего хорошего меня на этой беседе не ждет. К тому же если Лелька уехала с заставы...

Сразу было видно, что капитан — большой любитель выступать. Начал он издали, чуть ли не с гражданской войны, и постепенно, не торопясь, приближался к событиям наших дней. Говорил гладко, отшлифованными до блеска фразами, и доброжелательное выражение не сходило с его лица ни тогда, когда он рассказывал о хорошем, ни тогда, когда приводил примеры, от которых становилось не по себе. У него была красивая дикция, но почему-то все время казалось, что все, что он говорит, предназначено не столько для нас, сколько ради того, чтобы подольше послушать самого себя и вволю насладиться колоритными переливами своего голоса.

Я с нетерпением ждал, когда он заговорит обо мне: уж слишком мучительным было это ожидание. Но он будто забыл о вчерашнем происшествии и оттягивал удовольствие. Поэтому, когда капитан наконец назвал мою фамилию, у меня было такое состояние, будто речь шла не обо мне, а совсем о другом человеке. Я медленно встал, приготовившись стойко выдержать все обвинения, которые должны были неминуемо обрушиться на меня. «Только бы ни слова о Лельке, только бы не о Лельке», — твердил про себя одну и ту же фразу, точно был уверен, что мои мысли сможет прочесть капитан. Но он даже не взглянул в мою сторону, а продолжал говорить так, будто меня здесь и не было. Обстоятельно, смакуя каждую деталь, он рассказал о случившемся, долго и живописно рисовал вечерний пейзаж и с тонкостью, достойной психолога, поведал о том настроении, которое было у него и у начальника заставы до проверки и после нее.

— Мы собрались сюда, чтобы заклеить позором тех, кто допускает беспечность и ротозейство, — без гнева, продолжая загадочно улыбаться, заключил капитан. — Грани-

ца — это незримый фронт, где слепота не только вредна, но и преступна.

Он умолк, ожидая, что люди начнут говорить. Но все сидели молча, были сосредоточены, будто еще не успели осмыслить ни то, что произошло вчера на вышке, ни ту оценку, которую дал этому случаю капитан.

— Так что же мы будем делать со Стрельбицким? — негромко спросил капитан, но по интонации можно было отчетливо понять, что сам он давно знает, что нужно делать, и, какие бы предложения ни услышал, все равно решит только так, как уже решил до этой беседы.

Ему никто не ответил. И вдруг из приоткрытых дверей в тишину ворвался веселый и смелый девичий голос:

— А ничего с ним не надо делать! Виновата я!

Капитан вздрогнул, будто рядом разорвалась граната. А мое сердце ликовало: ведь я думал, что Лелька уехала с заставы! И пусть она не защищает меня, пусть вместе с капитаном начнет даже обвинять — главное, что она на заставе, что я слышу ее голос, вижу ее.

— Это кто — новый боец вашей заставы? — негромко, но многозначительно спросил капитан у сидевшего поодаль Горохова.

— Я — Лелька Ветрова! — вместо ответа отозвалась она.

Никогда я еще не видел ее такой гордой и независимой.

Мне не долго пришлось любоваться Лелькой. Горохов порывисто встал со стула, подошел к ней и что-то тихо сказал на ухо. Лелька приготовилась к сопротивлению — это я сразу понял по резкому, стремительному движению ее плеч. Я был убежден: если Горохов попытается заставить ее уйти или возьмет за руку, чтобы вывести из ленинской комнаты, она ни за что не подчинится. Видимо, это понимал и Горохов: он еще раз что-то сказал ей. Лелька выразительно сверкнула на меня глазами — мол, не трусь, Лешка — и выскочила за дверь.

Капитан долго не мог произнести ни слова: такого, наверное, в его жизни никогда еще не бывало и он не успел выработать своего отношения к факту, который не укладывался в рамки обычных представлений о жизни заставы.

Наконец он заговорил:

— В то самое время, когда на границе появились при-

знаки, свидетельствующие об осложнении обстановки... — Капитан вдруг поперхнулся, словно в дыхательное горло ему попали сухие хлебные крошки, и продолжил спокойным, будничным тоном: — Товарищи бойцы, я прошу понять меня правильно. Ни в коей мере мы не можем сгущать краски. Основываясь на пакте о ненападении, заключенном между нашим государством и Германией, а также на известном сообщении ТАСС, мы не имеем права сеять семена паники. В случае если империалисты развяжут против нас войну, мы ответим тройным ударом на удар поджигателей войны, чтобы им неповадно было совать свое свиное рыло в наш советский огород. Нельзя забывать и о том, что нам на помощь придет мощная рука международного пролетариата...

— Есть вопрос, — неожиданно встал из-за стола, покрытого красной скатертью, хмурый Антон Снегирь. — Есть вопрос: нападут на нас немцы?

Ну и Антон! Мы с ним уже не раз говорили на эту тему, и он сам доказывал мне, что нападут, приводил убедительные, прямо-таки неотразимые доводы. А сейчас, наверное, решил отвлечь удар от меня, увести капитана в дебри других проблем и вопросов. Я был и благодарен ему: нет на свете ничего дороже, чем локоть друга, особенно когда его почувствуешь вовремя. И одновременно злился на него: хотелось знать, что меня ожидает, и, как говорится, скорее поставить точку.

Лицо капитана, настороженно выслушавшего вопрос, оставалось все таким же улыбающимся, даже чуть беззаботным, но мне показалось, что в его глазах появились синеватые льдинки. Глаза как бы говорили: да, я веселый, и добрый, и чуткий ко всем, кто этого заслуживает, но...

— Вопросы бывают различных оттенков, — спокойно сказал капитан вместо ответа, продолжая оглядывать всех чистым, доброжелательным взглядом. — Я не ошибусь, если скажу, что нередко интонация говорит больше, чем содержание. Что касается вашего вопроса, то ответ на него предельно ясен. Все, кто присутствуют на данном мероприятии, должны были прийти к единому мнению. Я приводил здесь официальные документы вышестоящих инстанций. Возможно, кто-нибудь сомневается в достоверности этих документов?

Капитан строил фразы по-книжному, но в его произ-

ношении они незаметно теряли свою книжность и сухость, становились звучными и полнокровными.

Лицо его говорило: не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, и я разьясню обстоятельно и убедительно. И все же никто больше не полез к нему с вопросами. Капитан удовлетворенно развел короткими крепкими руками, как бы говоря: вот и отлично, у нас единое мнение, иначе и не может быть.

Теперь, судя по всему, пора было возвращаться ко мне. Но не тут-то было.

— Товарищ капитан, — голос Горохова прозвучал непривычно надтреснуто. — Товарищ капитан, зачем же морочить людям головы?

— Что? — оторопел капитан, все еще не в силах расстаться с добродушными ямочками на круглых, рыхловатых щеках. Внешне он не изменился, только губы стали тоньше, бледнее. — Вы отдаете себе отчет, лейтенант?

— Отдаю! — рубанул Горохов, и лицо его приняло цвет спелого помидора. — Не разоружайте моих бойцов. Здесь вам не Лига наций!

— Лейтенант, я попрошу... Нет, это непостижимо... это не укладывается... — указка выпала из рук капитана, и стук ее о пол прозвучал как случайный выстрел.

— Встать! — скомандовал лейтенант. — Разойдись!

Впервые мы были свидетелями того, как младший по званию офицер так смело и даже дерзко разговаривает со старшим. И впервые узнали, что молчаливый, выдержанный Горохов может так взорваться. В курилке сразу же вспыхнул негромкий, но горячий спор: кто же прав? Получалось, что на стороне и того и другого была своя правда: начальник заставы уверен, что немцы все-таки нападут, и все знали, что это предположение основывалось на реальных фактах; капитан же считал недопустимым отклониться от выводов официальных документов, даже если сама жизнь опровергала их, и был убежден, что такой прямой разговор, который произошел на заставе, выражаясь его языком, может привести к нежелательным явлениям. А возможно, он и впрямь был убежден, что немцы не посмеют нарушить ими же подписанный договор о ненападении. Кроме того, он требовал уважения к своему воинскому званию и к своей должности.

И все же большинство было на стороне Горохова. Особенно восторгался Айтон.

— Молодец! — говорил он. — Так и надо. Правду. В глаза. В лоб. Напрямик. И весь разговор!

— погоди, — остановил его кто-то из бойцов. — Они еще не закончили.

И верно, через открытое окно слышалась их перепалка.

— Здесь нет любителей манной кашки, товарищ капитан. Но сегодня-завтра они нападут.

— Вы ответите, лейтенант. Я вынужден буду доложить по команде, что политико-моральное состояние вашей заставы вызывает серьезные опасения. И теперь совершенно ясно, почему ни один боец не выступил с осуждением грубейшего проступка Стрельбицкого, граничащего с преступлением. И почему на заставе появляются подозрительные лица. Это не заставка, а... а... — он никак не мог найти подходящее сравнение, — а... собор Парижской богоматери!

— Не оскорбляйте заставу, товарищ капитан!

— Вы ответите, лейтенант!

— Ответчу. Только не мешайте держать на взводе людей.

— Вы анархист! — голос капитана зазвенел. — Существует устав, субординация, воинский порядок...

— И существует... жизнь, — уже спокойно, без запальчивости сказал Горохов, и то, что эти слова были произнесены спокойно, еще более взбесило капитана.

— Хорошо, — злое, с придыханием произнес он. — Такой, как вы, способен спровоцировать конфликт на границе. Я немедленно свяжусь с начальником отряда, — все с тем же чувством своей правоты и превосходства добавил капитан и пошел в дежурную комнату.

В курилке не было слышно, о чем он говорил по телефону. Но полчаса спустя лейтенант вызвал к себе замполитрука Левина и сказал ему:

— Остаешься за меня. К пяти тридцати подседлать коней.

Стало ясно: лейтенанта вызывают в отряд.

Но ехать туда ни ему, ни капитану не пришлось: всех поднял на ноги артиллерийский обстрел.

И получилось так, что я вместе с капитаном бежал по двору заставы к блокаузу. От взрывов и шальных осколков клубилась земля, вздрагивало здание. Кругом стонали раненные. Пороховая гарь черно-синими волнами колыхалась в воздухе, силясь спрятать людей от солнца.

И казалось совершенно невероятным, что мы все еще способны бежать, думать, надеяться на спасение.

Все мы привыкли к пулеметным очередям на стрельбище, к удивленно злым разрывам гранат, к перестрелкам на границе, к холодным вспышкам ракет. Но никто из нас, включая и Горохова, никогда еще не был в настоящем бою. Вероятно, именно поэтому внезапный обстрел заставы всех нас оглушил, ошеломир, и мы поняли, что теперь-то уж никто нам не даст ни секунды времени для того, чтобы привыкнуть к боевой обстановке. Теперь в огонь, в пекло, к черту в печенки, чтобы скорее стать человеком, не знающим страха.

Мы с капитаном как раз и попали в такое пекло. Маленькая территория заставы, настолько маленькая, что прежде на ней невозможно было по-настоящему развернуться, сейчас стала просторной, и, казалось, чтобы ее пересечь, нужна целая вечность.

Двор заставы словно вымер: все заняли свои места, те самые места, которые один раз в сутки, после боевого расчета, мы занимали, отрабатывая задачу «Оборона заставы». И почти всегда Горохов, подав команду «К бою», становился на свое излюбленное место с секундомером в руке и терпеливо следил, как мы мчимся в блокгаузы. Нам казалось, что команда выполнена идеально, что большей скорости выжать из нас уже невозможно. Но лейтенант после команды «Отбой» ходил вдоль строя с недовольным, кислым лицом, и мы ждали, что снова в наши уши ударит сухая, как выстрел, команда, снова придется штурмовать пирамиды с винтовками, снова прокатится по заставе судорожный топот сапог.

Теперь нас подгонял не секундомер Горохова, а взрывы. Когда начался обстрел, я заметил, что капитан растерялся больше всех. Он как-то весь онемел, и, хотя был старше Горохова и по званию, и по должности, и даже по возрасту, он будто растворился среди людей, его не было заметно, и все распоряжения отдавал Горохов. Правда, вначале он попытался было вмешаться, настаивая, чтобы Горохов отменил свой приказ открыть огонь по наступающим немцам.

— Подождите, — умоляюще, униженно твердил он. — Надо выяснить, уточнить. Надо получить указания из штаба отряда.



— Связи нет, — ответил Горохов. Весь его вид говорил: все, что сейчас происходит, для меня не новость, я был уверен, что это произойдет. — Выяснять нечего. Надо бить их, бить, а не выяснять!

И капитан больше не произнес ни слова...

Мы уже подбегали к высокому каменному забору, от которого шел подземный ход в блокауз, когда капитан неожиданно споткнулся, вопросительно посмотрел на меня и рухнул лицом вниз. Я тут же склонился над ним, пытался поднять его, но он упрямо, молча валился из моих рук на землю, будто этот клочок сухой, утрамбованной сапогами земли стал теперь для него самым желанным и незаменимым.

Выхватив из кармана индивидуальный пакет, я стал ощупывать капитана, чтобы найти рану. В этот момент он вздрогнул и громко прошептал:

— Провокация... Не поддаваться на...

И, вытянувшись, затих. Лицо его стало простым и естественным.

Я схватил автомат, крупным прыжком ворвался в траншею и едва не сшиб Горохова.

— Товарищ лейтенант, — торопливо начал докладывать я. — Капитан...

— Знаю! — рявкнул Горохов. — Возьмите связку гранат. Сейчас пойдут танки.

### 3

— Гадюка, — отчетливо сказал Антон. — Гадюка, и весь разговор!

— Антон! — крикнул я в отчаянии и не узнал своего голоса. — Еще одно плохое слово о ней, и я уйду!

— Уходи, — равнодушно сказал он. Чувствовалось, что к нему наконец вернулись силы. — Но сперва...

Я смотрел на Антона и думал: если он снова посмеет так ее назвать — уйду, и пусть лежит один, пусть лежит со своей злой, обжигающей душу правдой! Пусть! Думал так и знал, что не уйду, что буду сидеть подле него и слушать, слушать, впитывать каждое слово, каждый звук, чтобы узнать все, чтобы не было больше загадок, чтобы все таинственное и непознанное стало ясным и простым.

Мы ценили Антона за прямоту, хотя она и была до предела жестокой. Антон мог ранить сердце, мог убить словом, мог вознести на небеса. На Антона можно было обижаться, его можно было возненавидеть, но никто не смог бы упрекнуть его в том, что он покривил душой. В отличие от людей, умеющих даже горькое облечь в сладкую оболочку или высказать упрек так, что он переставал быть упреком, в отличие от них Антон говорил правду в глаза.

И вот он начал рассказывать то медленно и неохотно, то сбивчиво и торопливо, то забегая далеко вперед, то возвращаясь к уже известному. Вначале я часто его останавливал, чтобы он передохнул. Но чем больше он говорил, тем сильнее волновал меня своим рассказом, и я забыл, что ему необходима хотя бы маленькая передышка. На вопросы, которые я задавал ему, он не отвечал, будто меня не существовало вовсе, будто рассказывал все это себе, лесу, звездам, щедро рассыпанным по тревожному небу.

И, слушая, я представил, как все это было...

Когда со стороны шоссе, что обрывалось у взорванного моста, на заставу пошли три танка, Горохов понял, что справиться с ними будет трудно: гранаты на исходе, да и бойцов все меньше и меньше. В эти минуты, когда он мысленно взвешивал два варианта: или танки будут подорваны оставшимися связками гранат, тогда можно будет, используя передышку, укрепить наши оборонительные позиции, или же танки прорвутся на заставу, тогда, кроме поспешного отхода тех, кто останется в живых, ничего нельзя будет предпринять. Приняв за вполне возможный худший вариант, Горохов не стал отгонять мысль о Клавдии и Лельке, мысль, которую он пытался отогнать все время, считая ее не главной. Кроме того, до сих пор он был относительно спокоен: и жена, и Лелька укрылись в подвале. Теперь же, когда танки и неотступно следовавшие за ними группы автоматчиков приблизились к заставе, Горохов решил, что пришла пора позаботиться о женщинах.

Пригнувшись, он пошел по ходу сообщения и сразу же за поворотом увидел Антона, перевязывавшего себе правую руку, раненную осколком.

— Снегирь, — сказал Горохов, — попробуй связаться с соседом справа. Там, кажется, потише. Может, Ломовцев

подбросит нам гранат. Возьми повозку. Заодно отвезешь в село женщин. Клавдия знает к кому.

И Антон отправился выполнять приказание Горохова, продолжая перевязывать рану на ходу.

Спустившись в подвал, он нащупал в полутьме скользкую от сырости дверь, отодвинул ржавую щеколду и вошел. После яркого солнечного света и огненных вспышек болели глаза, и ему показалось, что в подвале никого нет. Но тут же от крохотного зарешеченного окошка навстречу рванулась Лелька. В первое мгновение он не узнал ее: вместо платья на Лельке была надета гимнастерка, на ногах — хромовые сапоги, на пышной копне волос — пилотка. Узкая короткая юбка туго стягивала ее бедра, оголяя колени.

— Наконец-то! — вскипела Лелька, с ходу атакуя Антона. — А где винтовка? Гранаты? Почему мы должны прозябать в этой темнице, когда там идет бой? Нет, Горохов просто неисправим!

— Лейтенант приказал отвезти вас в село, — не глядя на Лельку, сухо сказал Антон.

— Что? — возмутилась Лелька, словно приказание исходило не от лейтенанта, а от самого Антона. — Ты слышишь, Клавдия, слышишь?

Лишь теперь Антон увидел сидевшую в дальнем углу на штабеле пиленых дров жену Горохова. Она была неподвижна, вся сжалась, подобралась, не отнимала маленьких белых ладоней от широкоскулого и тоже белого лица и вздрагивала всем телом при каждом новом взрыве. Вздрогнула она и от Лелькиного восклицания и ничего не ответила.

— С заставы не уйду, — сказала Лелька, вызываяще посмотрев на Антона.

— Надо, — отрезал Антон.

— Собирайся, Клавдия, — сказала Лелька, будто речь шла о какой-то увеселительной прогулке, и, подойдя вплотную к Антону, взялась длинными тонкими пальцами за пуговицу на кармане его гимнастерки, громким шепотом спросила: — Алешка жив?

Спрашивая, Лелька не мигая смотрела ему в глаза, полная надежды на то, что Антон ответит утвердительно.

— Жив, — невесело ответил Антон, и Лелька поняла, что он не обманывает. — Был жив, — тут же поправился

Снегирь, как бы поясняя, что сейчас нельзя загадывать даже на секунду вперед.

И хотя слова «был жив» прозвучали неутешительно и, конечно же, не только не могли заменить точного, определенного ответа, но, напротив, порождали новые сомнения, Лелька успокоилась, подбежав к Клавдии, схватила ее за плечи и, как куклу, поставила на ноги.

— Поехали! — возбужденно сказала она. — Чего боишься? С Антоном не пропадем!

Антон вышел из подвала первым, за ним — бледная, трепещущая Клавдия, которую сзади за плечи поддерживала Лелька. Клавдия едва перебирала негнущимися, будто неживыми, ногами, и Лелька время от времени легонько подталкивала ее в спину.

Антон был мрачен: поручение, которое дал Горохов, было ему не по душе. Получалось так, будто застава может в такой критический момент вполне обойтись и без него и будто именно он пригоден для таких далеко не боевых заданий, как сопровождение женщин до ближайшего села. Даже то, что Горохов поручил ему сразу же после того, как доставит женщин к знакомой колхознице, не мешкая, отправиться на стык с соседней заставой и попытаться связаться с ней, не утешало. В самом деле, Горохов не мог не понимать, что там, у Ломовцева, сейчас несколько не легче и что у него каждая граната тоже на вес золота. И сказал о необходимости установить связь лишь для того, чтобы подчеркнуть, что посылает его, Антона, не просто в роли сопровождающего женщин, но прежде всего в роли связного, и этим самым, видимо, как-то оправдывал и утешал себя.

Выйдя из подвала, они несколько минут постояли, прижавшись к стене, пережидая, когда немного утихнет обстрел.

— Повозка стоит в роще за конюшней, — сказал Антон. — До забора ползком, а там — короткими перебежками.

Они благополучно преодолели самую опасную зону, даже Клавдия здесь как-то ожила. А там уж и рукой подать до повозки. Кони, привязанные к старой сухой ольхе, нетерпеливо перебирали мохнатыми ногами, взмахивали тяжелыми головами, удивленно косились в ту сторону, откуда доносились звуки нараставшего боя. Лелька посадила Клавдию в повозку. Та грузно опустилась на

охапку привядшей травы. Ей опять стало плохо, было безразлично, куда ее повезут, то ли туда, где можно спастись от пуль и осколков, то ли в самое пекло.

— Ну вот, — сказала Лелька, все еще не садясь в повозку, хотя Антон уже отвязал лошадей и натянул вожжи. — Счастливого пути, ребятишки!

— Садись, и весь разговор! — скомандовал Антон. — Некогда распотякивать!

— А ты не очень, — предупредила Лелька. — Я тебе не солдат. Я раненых пойду перевязывать.

— Кого надо — без тебя перевязали, — уже тише сказал Антон. — Да и не всем она нужна, перевязка...

И, понимая, что не сможет заставить Лельку ехать ни силой, ни лаской, Антон спрыгнул с повозки.

— Дуреха, у меня особое задание — связаться с соседней заставой. Выручать надо Лешку. Помоги, рыжуха.

— Это другой разговор! — воскликнула Лелька. — Поехали!

Кони рванули с места, перешли в размашистую рысь. Длинные пряди пыли вырвались из-под колес, и трава у обочины стала совсем седой.

Лес надежно прятал слабонаезженную дорогу. Ветви то и дело перегораживали ее. Листья над головой уносились в ту сторону, где оставалась застава.

Ехали молча, и если бы не чмоканье копских копыт в тех местах, где было особенно сыро, то можно было подумать, что и выстрелы, и сухие хриплые обрывки команд, и по-собачьи остервенелое тявканье мин — все осталось позади, а впереди ждет тихая густая пыль проселочных дорог, шуршание спелых колосьев.

Антон хорошо знал эту дорогу, как знал ее и каждый пограничник нашей заставы, исключая разве тех, кого совсем недавно прислали на усиление с других участков границы. Он знал, что, вынырнув из леса, дорога, прежде чем побежать по неширокой улице села, пересечет большое пшеничное поле. И конечно же, этот участок пути будет самым тяжелым и опасным.

И Антон не ошибся.

Едва кони вырвались из леса и, почуяв запах свежей травы и зерна, заторопились, разбрасывая по ветру густую клейкую пену, как слева, с боковой дороги, взбравшейся на пригорок, послышалось натужное фырканье мотоциклов. Мотоциклистов еще не было видно, но они

вот-вот должны были показаться на возвышенности и выехать на ту самую дорогу, по которой, тарахтя, катилась повозка.

Антон взмахнул кнутом, и кони рванули галопом. Клавдия схватилась руками за борта повозки так сильно, что, казалось, пальцы вопьются в дерево. Рыжие Лелькины волосы нещадно трепал ветер. Антон не оборачивался: нужно как можно скорее достичь поворота, чтобы укрыться и, переждав опасность, продолжать путь к селу. Взмывшие кони не замедляли бег, и Антону чудилось, что стена пшеницы слева и справа застыла на месте и только кони невесомо летят над дорогой.

Они не доехали всего несколько метров до поворота, как по ним стеганули свистящие пыльные струи. Клавдия, взвизгнув, как от укуса, разжала онемевшие пальцы, голова ее грузно упала Лельке на колени. Коня шарахнули в сторону. Хрипло заскрежетал передок повозки, дышло вскинулось выше голов лошадей.

— Останови! — крикнула Лелька.

Антон не послушался. Мотоциклисты были совсем близко. Он, будто взвешивая, подержал в ладони гранату и, встав на сиденье, левой, неповрежденной рукой метнул ее в гитлеровцев. Граната упала на обочину, в островок запыленных васильков, и не взорвалась. Антон рванул из кобуры револьвер. Глухо прозвучал выстрел. Автоматчик, сидевший в люльке второго мотоцикла, резко откинулся назад, одна рука его безжизненно повисла, раскачиваясь за бортом. Водитель, не обращая внимания на убитого, продолжал гнать мотоцикл. Антон выстрелил еще раз, но повозку тряхнуло на выбоине, и он промахнулся.

— Остался один патрон, — чувствуя, как сухим, горячим обручем сжимает глотку, выдавил он. — Твой? — протянул он револьвер Лельке.

— Нет! — отшатнулась она.

— Тогда мой, и весь разговор, — Антон прижал дуло к виску.

— Нет! — снова вскрикнула Лелька и, схватив револьвер, швырнула его в пшеницу.

— Ты что? — вскипел Антон.

— Нужно три патрона. Три! — закричала Лелька. — Так нечестно!

Мотоциклисты уже окружили повозку, быстро глушили моторы, угрожающе вскинули автоматы. Антон обвел



их медленным, сумрачным взглядом. Все немцы показались ему на одно лицо — непроницаемые, высокомерные, торжественно суровые.

Немцы с минуту стояли неподвижно, видимо решая, как им поступить с людьми, неожиданно встретившимися на пути. Их кожаные куртки, шлемы и крепкие добротные сапоги были густо облеплены пылью, похожей на пепел.

Лелька встала на ноги и, не спрыгивая с повозки, попросила впереди стоявшего немца:

— Помогите. Эта женщина ранена.

Она и сама не знала, почему попросила именно этого немца. Может, потому, что он стоял впереди, или потому, что у него было не такое злорадное и надменное лицо, как у других.

— Кого просишь? — прошипел Антон, покосившись на Лельку.

Немец ухмыльнулся и заглянул в повозку. Взял Клавдию за руку, пощупал пульс и почти сразу же, обернувшись к своим, сказал:

— Ей уже ничего не надо.

Лелька вскрикнула.

— Так и должно быть, — хохотнул высокий немец с веселым самодовольным лицом. Одно плечо у него было ниже другого. — Естественный отбор. В живых остаются сильнейшие и достойнейшие. Вот как эта, — вскинул он кожаной перчаткой на Лельку. — Великолепный экземпляр, не правда ли, Генрих? Как она вырвала пистолет у этого фанатика!

— Великолепный, но без этого украшения, — Генрих ловким, изящным движением руки снял с Лельки пилотку, стремительно оторвал звездочку и швырнул на пыльную дорогу.

— Вот сейчас она годится для съемки, — сказал высокий, и в руках у него неведомо откуда появился фотоаппарат с длинным массивным объективом. — Улыбнись, Генрих. И пусть она тоже улыбнется. Наши газеты переделутся из-за этого снимка.

Лелька улыбку не успела. Высокий тут же щелкнул затвором аппарата.

Какая ж ты сука, — процедил Антон и спрыгнул с повозки, словно подчеркивая этим, что больше ни одной секунды не желает находиться рядом с ней.

Немцы не ожидали, что он прыгнет, и потому слегка отшатнулись, но, видя, что Антон безоружен, сразу же пришли в себя.

— Пограничник, — сказал тот, которого звали Генрихом, показывая на зеленую фуражку Антона. — Он стрелял. Он убил Галингера. Отведи его в сторону, Вилли.

— Нет! — крикнула Лелька и тоже прыгнула с повозки. — Нет, вы не смеете!

— Без адвокатов, и весь разговор, — не глядя на нее, глухо сказал Антон и, не ожидая команды, заложив руки за спину, медленно шагнул в пшеницу.

И тут он увидел, что пшеница горит. Видимо, немцы, стреляя, подожгли ее трассирующими пулями. Сразу же от поворота дороги, опоясывавшей поле, надвигался огонь. Он то горячей дымной волной наваливался на стену уже переспелой пшеницы, то, обессиленный, скатывался и пригибался к земле, чтобы тут же с еще большей жадностью наброситься на сухие, прокаленные солнцем стебли. Пшеница горела искристо, весело, и от того, что она горела так весело, Антон еще тверже пошел навстречу огню.

— Гордый русский солдат, — произнес низкорослый приземистый Вилли и тяжело шагнул вслед за Антоном.

— И смелая русская девочка, — любуясь Лелькой, добавил Генрих.

Все одобрительно засмеялись, видимо, Генрих был старшим. Антон шел не торопясь, не раздвигая руками колосья, и они прижимались к нему, точно не хотели пускаться дальше, просили остановиться. Позади него узкой бороздой темнел след — изломанные стебли, сквозь которые коричневатой сухой змейкой проступала земля. И Вилли шел прямо по этому следу, не сворачивая, будто пшеничное поле и справа, и слева заминировано и каждый шаг в сторону смертельно опасен.

— Стой! — наконец лениво скомандовал Вилли.

Антон замер.

— Повернись ко мне лицом, — проворчал Вилли. — Я не могу стрелять в спину!

Антон продолжал стоять, подняв голову прямо к солнцу. Оно было очень жарким, но Антон подставил ему лицо. Для него в те минуты не было ничего дороже и роднее, чем это раскаленное и веселое полуденное солнце.

— Эй ты, недоносок, — разозлился Вилли. — Повернись. — Антон не двинулся с места.

— Скажи ему, Генрих! — прорычал Вилли.

— Гордые падают лицом к врагу! — с пафосом воскликнул Генрих почти на чистом русском языке.

С трудом оторвав лицо от солнца, Антон неловко, чуть качнувшись, повернулся к нему. Глаза его все так же были устремлены высоко в небо. И все же он заметил, как от ствола маленького, похожего на игрушечный, пистолета отскочил и мгновенно исчез солнечный зайчик.

— Можешь не переводить, гад, — сказал Антон. — Разбираемся.

— О! — сказал Генрих. — Он понимает немецкий!

— Пусть разговаривает на том свете! — осклабился Вилли.

Было очень душно: к жаре добавились струи раскаленного воздуха, которые приносил сюда ветер от массива горевшей пшеницы.

— Антон! — закричала Лелька.

Крик был пронзительный, гневный, умоляющий, но Антон даже не взглянул на нее.

Он не расслышал выстрела. Не почувствовал того мгновения, в которое упал. Не видел, как над ним, взволнованно шурша, сомкнулись колосья. И конечно же, не знал, что произошло с Лелькой. Впрочем, догадаться не трудно...

Вилли вернулся к мотоциклу взъерошенный и хмурый.

Жалеешь этого русского? — спросил Генрих.

— Пшеница пропадает, — еще больше помрачнел Вилли.

— О, заговорила душа крестьянина, — засмеялся Генрих. — А ты уверен, что он мертв?

— Конечно, — возмущился Вилли. — Как только мы перешли границу, я еще ни разу не промахнулся.

— По машинам! — скомандовал Генрих. — Мы не можем больше задерживаться. Если этот русский остался жив, то все равно сгорит. Садитесь в коляску, прелестное дитя, — любезно обратился он к Лельке. — В мире все устроено целесообразно, — философски добавил он. — Если бы этот Антон не уложил нашего Фрица, вас некуда было бы посадить.

...Мне не запомнились детали боя на заставе. Все слилось воедино, переплавилось: рев танков, скрежет гусе-

ниц, пронзительный свист пуль — и во всем этом гулком, звенящем водовороте слабыми неземными всплесками звучали голоса людей, обрывки команд, стоны раненых, истеричная ругань. Мне не запомнились даже те минуты, когда я безуспешно пытался подорвать танк связкой гранат. Не запомнились, наверное, потому, что ни стрельба, ни усталость, ни сизая пороховая гарь, как припечатанная к воспаленному лицу, не могли отвлечь меня от неотвязной мысли: «Где Лелька? Что с Лелькой? Почему нет Лельки?»

Когда к полудню нам приказали отступить, выполнять этот приказ было уже, по существу, некому. Горюхов был убит, командование принял на себя командир отделения Аракелян, но и его ранило. Несколько оставшихся в живых бойцов, в том числе и я, растворились в растревоженном пальбой лесу.

Мне хорошо врезалось в память то место, где я совершенно случайно наткнулся на Антона — клочок пшеничного поля, чудом уцелевший от пожара. Края его были опалены огнем, тяжелые сникшие колосья еще судорожно вздрагивали и роняли на пыльную дорогу крупные зерна. Пахло горелым хлебом, пылью, ромашкой.

Здесь и лежал Антон.

И здесь, оказывается, была Лелька.

Была...

4

После всего, что поведал мне Антон, после того как я дорисовал своим воображением его рассказ, меня словно парализовало. Казалось, что и лицо, и руки, и ноги — все это не мое, не подвластное и что меня будто подменил какой-то другой, полуживой человек, не способный двигаться и мыслить. Антон, наговорившись, забылся и притих, дыхание его лишь угадывалось по осторожному, крадчивому шелесту невидимой травинки.

Я полулежал, почти не чувствуя на своей спине мягкого прикосновения широкого тухлявого пня. Глаза были закрыты: не хотелось видеть ни неба, ни звезд, ни зарева огня над лесом, не хотелось слушать ни ленивых, теперь уже отдаленных расстоянием взрывов, ни собачьего бреха, ни угрюмого рева автомашин, будто гнавшихся друг за другом по шоссе.

И хотя в эти часы я, чудилось, состоял из одних только живых нервов, все же сон скрутил меня. Вскочил я на ноги, когда над черным еще лесом вспыхнуло синеватое, по-зимнему обжигающее пламя рассвета.

В первый момент я старался уверить себя, что ничего не было: ни рассказа Антона о Лельке, ни боя на заставе, ни улыбающегося капитана — ничего... Но это чувство самообмана мгновенно исчезло.

Проснувшись, увидел, что лежу, тесно прижавшись к Антону. Ночь была теплой, но перед рассветом из оврага сюда приползли клочья сырого тумана. Видимо, я замерз и, не пробуждаясь, придвинулся к Антону. Травинки, которая шелестела с вечера и как бы сигнализировала мне о том, что Антон дышит, сейчас не было слышно. Я испугался, но тут же успокоился: Антон смотрел на меня, смотрел пристально и испытывающе. Он как бы говорил: «Отсиживаешься? Мы что — самые последние дезертиры?»

— Сейчас, сейчас, — вскочил я на ноги, повинувшись его немому приказу. — Попроюсь к дороге, разведать...

— Быстрее, — заволновался Антон. — Всю ночь по дороге шли машины, танки. Я слышал. И сейчас — слышишь? Уверен, что это наши. Пошли через границу. Добивают этих гадов, и весь разговор!

Его слова подхлестнули меня. Хлопнув ладонью по кобуре и убедившись, что револьвер на месте, я ринулся через кусты, не желая тратить времени на поиски тропинки. Скрытая от меня деревьями и кустарниками, дорога хорошо угадывалась по гулу машин, который то приближался, то удалялся.

Я бежал, спотыкаясь о пни и корни, царапая себе лицо: колючие ветки не хотели пускать меня, в лесу было еще почти темно.

Да, это будет здорово, если подтвердятся слова Антона, если наши войска уже отбросили гитлеровцев за границу и теперь идут, чтобы добить врага на его собственной территории, как нас учили, как мы были уверены, как поется в песне «Если завтра война...»

Мы присоединимся к ним и в боях оправдаем свое временное вынужденное безделье. И я встречу Лельку, и она расскажет мне, прав или не прав Антон, и я поверю, поверю каждому ее слову. Поверю потому, что Лелька не умеет кривить душой.

С такими мыслями, которые и окрыляли и пугали, спешил я по лесу, к дороге. Чувствовалось, что она уже близко — лес редел, расступался.

Когда наконец между деревьями в предутреннем сумраке засерел кусок шоссе, я снова заторопился, незаметно перебегая от дерева к дереву. Потом прыгнул в кювет, прижался к холодной, остывшей за ночь земле и руками раздвинул впереди себя ветки какого-то ершистого кустика, чтобы лучше было видно, что делается впереди, на шоссе.

Пока оно было пустынно, и как-то даже не верилось, что по нему в эту пору кто-то проедет или пройдет. Но вскоре слева от меня послышалось ровное, уверенное жужжание мотора, и по темному асфальту ударили голубоватые, жесткие лучи фар. Я замер: по дороге промчался мотоцикл, за ним второй, третий. И в это мгновение все радостное, что было в моей душе, все надежды, которые после слов Антона придали мне новые силы, погасли и на смену им пришло горькое сознание того, что ничего не изменилось. Мотоциклы шли от границы, а не к границе, на мотоциклистах были такие же каски, как та, в которой я приносил воду из ручья, и чужая непривычная форма. Они даже не думали гасить фары и соблюдать меры предосторожности, мчались по шоссе так, словно это была их собственная земля, словно испокон веков ездили по ней! Сердце мое заныло, загорелось: наверное, такие же мотоциклисты увезли с собой Лельку...

Я возвращался потрясенный. На душе было горько, противно, тоскливо. Антон ждал меня с нетерпением. Но я молча стоял возле него, не решаясь раскрыть рта.

— Идем на восток, — поняв, почему я молчу, сказал Антон. — Неправда, будет и у нас праздник.

Да, теперь, когда так быстро наступал рассвет, нельзя было и помышлять о том, чтобы незамеченными проникнуть в село. Как ни хитри, ни изворачивайся, а это добром не кончится. Значит, остается лес, остаются деревья, которые укроют от любого, самого глазастого самолета, остаются кусты, за которыми можно спрятаться, даже если немецкий солдат пройдет совсем рядом. Лес поможет нам. Он накормит земляникой, напоит родниковой водой.

Антон схватился за шелудивый ствол осины, напрягся,

попытался встать. Это ему не удалось, и он, с завистью посмотрев на меня, опустился на землю.

— Не злись, — сказал я. — Понесу.

— Иди ты! — взорвался Антон. — Мне нужна палка. Я тебе покажу, как надо ходить. Покажу!

Спорить с ним было бесполезно. Я выломал толстую палку, помог Антону подняться. Опершись на мое плечо рукой, он стоял, пошатываясь, будто под ногами было зыбко. И хотя он долго не мог сделать первого шага, как это бывает с людьми, прикованными к постели, лицо его прояснилось.

Мы медленно, осторожно двинулись по тропинке, путаясь ногами в густой траве. Прошли метров двадцать, и мне стало понятно, что Антон так долго не выдержит. Несмотря на то что он противился, я приподнял его и понес, время от времени опуская на землю и давая ему возможность сделать самостоятельно несколько шагов. Мы часто останавливались. Лес размножал звуки, доносившиеся со стороны шоссе, передавал их в самую глубь и в то же время делал мягче, бесшумнее.

Постепенно мы забрались в гущу леса. Мне пришло на память, что где-то у крутого изгиба речушки есть сторожка лесника. Бывать там ни мне, ни Антону не приходилось, но мы, посоветовавшись, решили, что нужно идти именно туда. Если в сторожке не окажется немцев, мы сможем раздобыть хоть какую-нибудь еду. Что-то, а сушеные грибы, картошка, ягоды наверняка найдутся. И возможно, найдется и вяленая рыба. Я уже представил себе, как, нетерпеливо содрав высохшую, звенящую чешую, вонзаюсь зубами в сыроватую, с желтыми прослойками жира спинку леща.

Утренняя заря высвечивала лесные тайники, разгоняла пугливые тени, оголяла все, что было скрыто от глаз. Между верхушками старых кособоких елей неслышно рождались багряные всполохи. Но солнце в это утро так и не показалось. Огромная сизая туча напозла на всполохи, придавила их. Цветом своим она походила на воду в реке поздней осенью, пугала тоскливостью. И чем ближе подбиралась туча, тем все более свежел вырвавшийся на волю ветер, донося до нас зноблящую свежесть помрачневшего неба.

— Ливня еще не доставало, — пробурчал я. — Да еще с грозой.

— Ерунда, — сказал Антон и оперся на палку так, что она согнулась в дугу.

Когда огибали овраг, на дне которого по-прежнему бормотал ручей, мне сразу вспомнились раненый немец и его таинственное исчезновение. Нет, наверное, это мне почудилось, наверное, в спешке я искал его не на том месте, где оставил, когда понес воду Антону. Вспомнил о фотокарточке и письме, которое так и не прочитал. На одной из коротких остановок решил было рассказать о немце Антону, но промолчал: не хотелось лишний раз шевельнуть языком.

Нет на свете ничего хуже неизвестности. Она не только гнетет, она воспаляет воображение, толкает человека на необдуманные поступки. Если бы не Антон, я обязательно натворил бы глупостей. Мне было и тяжело с ним: нужно было почти все время тащить его на себе, и в то же время морально он был для меня незаменимой опорой. Самое страшное остаться одному, когда нет рядом живого существа, когда никто не скажет тебе слова, не кивнет одобрительно или осуждающе, не пожмет молчаливо твою ладонь.

Вблизи, за лесом, уже не слышалось выстрелов, и казалось, что война ушла куда-то далеко, за горизонт или еще дальше. Где-то там, за горизонтом, была Лелька.

Мы плелись по лесу, но куда бы я ни посмотрел: на дупло в дряхлой березе, из которого торчал клюв дятла, или на бронированный толстыми коричневыми плитками ствол уходившей в небо сосны — всюду мне мерещилось улыбающееся лицо девушки. Лелька будто говорила: ну и что же? Ну и пусть война, и немцы, и раненый Антон, ну и пусть ты совсем измучился от этих страшных дум, — я все равно буду улыбаться, буду жить назло всему!

Да, лучше бы Антон промолчал. Если бы обо всем, что случилось, рассказал не он, а кто-либо другой, я бы ни за что не поверил. В конце концов, в тот момент, когда человек попал в лапы к врагу и знает, что его ждет, все может показаться не таким, как было на самом деле. Но Антону я верил безоговорочно, — значит, все было так, как он рассказал.

Лелька, Лелька... А ведь, если ты жива, мы еще встретимся, и, наверное, ты уже не улыбнешься, и голова твоя виновато поникнет, и ярко-рыжие волосы, вздыбленные ветром, закроют твои глаза от моего недоброго взгляда.



Я ни о чем не стану спрашивать тебя — ты заговоришь сама, потому что совесть может казнить человека. Только рассказав правду, только очистив душу, можно, пусть не совсем, пусть ненадолго, успокоить совесть, чтобы стало легче дышать, легче смотреть вокруг, легче жить среди людей. И ты расскажешь, но сейчас я еще не знаю, смогу ли простить тебя за ту улыбку, которую ты подарила врагу.

И чем больше я думал обо всем этом, тем больше приходил к выводу, что ничего уже нельзя исправить. Вначале я воспринял рассказ Антона сердцем и, хотя не дал волю своим чувствам, слушал его молча и сдержанно, все кипело у меня внутри. Теперь же я старался спокойно понять происшедшее. Это удавалось с трудом.

Тучи обложили весь лес, и он, едва успев откликнуться на беззвучные вздохи рассвета осторожным, боязливым шелестом листьев, съежился и приуныл. Часов ни у меня, ни у Антона не было, и это угнетало еще сильнее.

— Давай порешим так, — предложил Антон. — Иди к сторожке один. Найдешь — вернешься за мной.

Я укоризненно посмотрел на него.

— Чего косишься? — разозлился Антон. — Что я тебе, немец, что ли? Дело говорю.

Антон лежал в траве, возле его рта свесилась на длинной ножке розоватая, вся в черных точечках земляника, но он не замечал ее. Лицо, казалось, просвечивало насквозь, а трава придавала ему зеленоватый оттенок. Кожа намертво стягивала скулы, и пожалуй, упав на нее капля дождя, она издаст негромкий, но отчетливый звук. Повязка на плече пропиталась кровью и не высыхала.

Я вытащил из кармана шоколад, протянул Антону. Он, не открывая рта, оторопело смотрел на обертку.

— Ихний?

— Да. А что? Это я...

Антон не дал договорить. Приподнявшись, резким, злым взмахом руки выбил шоколад из моей ладони. Мне стало мучительно стыдно.

— Вот что, — сказал я немного погодя. — Твое слово всегда было для меня законом. Но то, что ты предлагаешь, — забудь. Я не брошу тебя. И не потому, что ты такой хороший, не думай. Вдвоем мы сильнее.

— Сильнее... — горько усмехнулся Антон. — Я не в счет. Разве что зубами...

— Да! — подхватил я. — И зубами!

Тучи так и не родили дождя, и мы были за это благодарны им. Бессильные, они заметались по небу, приподнялись над верхушками высоченных сосен. Ветер тутими струями бил по ним, но насквозь пробить не мог, и немощные бледно-синие пятна успевали прожить лишь несколько секунд.

И все же ветер старался не зря: заметно посветлело. Когда совсем неожиданно впереди оборвался лес, уступив место широкой поляне, тучи ушли и сероватое, с синими проемами небо поднялось высоко и недоступно.

У кромки леса мы снова поспорили с Антоном. Я предлагал обойти поляну под прикрытием деревьев. Он настаивал идти напрямик.

— Ты же видишь — кругом ни души, — убеждал Антон. — А мы будем миндальничать. Что, ты уже навернул пару мисок борща? Или бифштекс с яйцом? Не дури, ждем через поляну.

Я послушал его. От поляны — островка сурепки, зажатого со всех сторон лесом, повеяло чем-то далеким, мирным. Пчелы деловито жужжали, копошась в цветах. Пахло жидким медом, воском, цветочная пыльца, вспугнутая нашими сапогами, повисала в воздухе. На фоне этой поляны мы, изможденные и оборванные, выглядели, наверное, очень нелепо.

Едва мы достигли середины поляны, стараясь не поддаваться соблазну лечь и отдохнуть, как в небе, словно привидение, возник самолет. Вначале мы даже не расслышали гула его моторов и увидели уже тогда, когда он, резко снизившись, закружил над нами. Черный крест будто впечатался в сваленное набок крыло.

— Ложись! — крикнул Антон.

Мы упали на землю.

— Откуда он взялся, гад! — проскрежетал Антон, и это были последние слова, которые я тогда услышал. Поляна будто взорвалась изнутри, обдала нас чем-то золотистым, расплавленным, и тут же все исчезло.

5

— Лелька, ты слышишь меня? Я поклялся ни о чем тебя не спрашивать. Но сейчас не могу сдержать своего слова. Скажи, почему ты улыбалась? Посмотри мне прямо в глаза и скажи.

— Улыбалась! Потому что улыбка — это жизнь. Мы родились, чтобы жить, Лешка!

— Ты согласна жить на коленях? Лишь бы жить?

— Это ничего, Лешка! Сегодня на коленях, а завтра — кто знает, что будет завтра! Время наступает нам на пятки, попробуй опереди его! А я дышу, смеюсь, думаю, плачу — я все могу, потому что я живу.

— А ты знаешь, как Антон называл тебя, знаешь?

— Нет, не знаю, Лешка. И знать не хочу. А твой Антон лежит сейчас мертвый в пшенице, и огонь уже окружил его кольцом.

— Нет! Он не сгорел! Он не мертв! Такие, как Антон, не могут погибнуть!

— Ты не в своем уме, Лешка. В него стрелял Вилли. Я сама это видела. Сама! И видела, как он упал.

— И что же? Если он погиб, то как герой — гордо и смело.

— Гордо? Кому нужна его гордость? Смело? Кому нужна его смелость? Что он может сделать теперь, мертвый? Он не сможет убить ни одного фашиста. Или помочь людям. Или спеть песню. Или поцеловать меня.

— Значит, он тоже должен был с улыбкой сдаться этим гадам, как ты?

— Я не отвечу тебе, Лешка. Думай, что хочешь. Антон убил одного немца, немцы убили его. И все. А впереди — целая война. А он уже ничего не сможет.

— А ты сможешь?

— Не знаю...

— Вот видишь! Ты даже не знаешь!

— Не знаю, Лешка! Я хочу жить! Жить — значит любить. Я люблю тебя, Лешка.

— Нет! Ты не любишь меня. И никогда не любила. И запомни — между нами пропасть. И в сердце моем только ненависть.

— Ну хорошо же! Я отомщу тебе. Ты слышишь: это мотор самолета. Он кружится над нами, этот самолет, а его очень ждала. Сейчас здесь будет Генрих. Смотри: он спускается на парашюте. Веселый, сильный красавец Генрих. Парень что надо, не то что ты... доктор химических наук. И ты, и Антон, и даже Яшка — все вы хлюпики. А Генрих — это мужчина! Видишь — он уже идет ко мне. Смотри, я снова улыбаюсь ему. Улыбаюсь!

— Гадюка! Смотри сюда! В моей руке револьвер. Тот самый, который ты вырвала у Антона из рук. Тот самый! Смотри сюда и улыбайся! Сейчас я нажму на спуск. Улыбайся, гадюка!

...Выстрел. Звучный и хлесткий. И язык, кровавый язык пламени у самых глаз.

— Лелька!..

Я сам услышал его, этот вопль, похожий на безнадежно тоскливый лай.

— Лелька... Красивое имя...

Я отчетливо понял эти слова, произнесенные совсем рядом. В них не слышалось ни удивления, ни зависти, они были похожи на отзвук эха, на слабый всплеск волны.

Приподняв непослушные веки, я с ужасом ждал то мгновение, когда увижу распростертую на земле Лельку. Я только что стрелял в нее, даже указательный палец на правой руке еще не успел разогнуться.

Но что это? Глаза уперлись в почерневший от времени потолок. Кажется, чердак — потолок под углом идет вниз. Полумрак.

В голове стучало, звенело. Попытался пошевелить руками — в них словно впились сотни горячих металлических опилок. Тело было чужое. С трудом свалив голову набок, я почувствовал, как к затвердевшей щеке прильнули мягкие стебли травы...

— Антон, — прошептал я.

— Тише, — послышался девичий голос, — лежи спокойно. И молчи. Это я виновата: уронила на пол замок. И ты проснулся.

Голос незнакомый, бесстрастный. Так говорят старухи, вспоминая о былом, когда чувствуют, что им осталось жить считанные дни. Тем более удивительно: ведь я только что говорил с Лелькой, слышал ее беспашашно-веселый смех, видел ее отчетливо и ясно. Помню, как медленно закрыв глаза, нажал на спуск...

— Где Лелька? Где Антон? Кто ты?

Все эти вопросы я выпалил одним духом, боясь, что если они еще хоть секунду останутся в моем мозгу, то взорвусь от них, как взрывается толовая шашка, когда срабатывает детонатор.

— Слишком много вопросов, — безучастно и равнодушно произнес все тот же голос. — А я могу ответить только на один. Назвать свое имя. Да и то не имеет зна-

чения. Зови меня, как тебе нравится. Ну хотя бы Лелькой. Кажется, так ее зовут?

Я еще не видел этой девушки, но уже все во мне протестовало против нее, вызывало неприязнь, будто именно она и была главной виновницей того, что я очутился на этом мрачном чердаке и что неизвестно куда исчез Антон.

Только сейчас я понял, что моя память запечатлела поляну, горевшую расплавленным золотом, и те минуты, когда мы пересекали ее. А все остальное забыто напрочь. И как я ни заставлял себя думать, вспоминать, все было тщетно.

— Не хочешь звать меня Лелькой? — все с той же приводящей меня в ярость интонацией спросила девушка. — И не надо. И даже лучше. Я помогла тебе и не жалею об этом.

— Ты ждешь благодарности? Хорошо, сейчас я встану перед тобой на колени.

Я попытался оторваться от пола и тут же зубами прикусил себе нижнюю губу, чтобы не застонать от пронзительной боли в пояснице.

— Жаль, — процедил я, снова упав на спину, — мне так хотелось встать на колени...

— Твоя злость наказана, — равнодушно сказала она.

Ах, она к тому же хочет обезоружить меня своим спокойствием! Не выйдет, пусть не старается! Я долго молчал, давая понять ей, что не намерен с ней говорить и вообще не нуждаюсь в ее присутствии. Я понимал, что, возможно, без нее я бы уже никогда не смог раскрыть глаз, но после того, что сделала Лелька, мне стали бесконечно противны все девушки, что бы они ни говорили, что бы ни делали.

Она ни единым словом не нарушила моего молчания. Крышу чердака жадно, шершавым языком лизал ветер.

— Какое сегодня число? — не выдержал я.

— Это не имеет значения.

— А война... кончилась?

— Они уже в Гродно.

— Что? Ты бредишь! Ты ничего не знаешь!

— Я все знаю. А теперь помолчи. Я принесу тебе поесть.

Жалобно скрипнули доски. Наклонившись, чтобы не задеть головой стропила, девушка прошла мимо меня, ловко и привычно опустила босую ногу на ступеньку лестницы

и исчезла в проеме. Я так и не рассмотрел ее лица — она прошла боком, не оглянувшись. Заметил только, что голова у нее туго стянута темной косынкой, надвинутой до самых глаз.

Интересно, как все-таки я попал сюда? Неужели она сама меня сюда затащила или еще кто-то помогал ей? И кто она такая, в самом-то деле? Больше всего меня бесило и пугало то, что я совершенно не помнил, что произошло со мной на поляне, почему я вдруг очутился один.

Я ощупал себя руками — они начали немного повиноваться. Оказывается, я лежал в гимнастерке и брюках, только сапоги были сняты. Дотронулся до нагрудного кармана и облегченно вздохнул, нащупав тоненькую книжечку: комсомольский билет был на месте. В другом кармане пальцы ощутили письмо и фотокарточку. Это хорошо, значит, она, эта незнакомка, не рылась в моих карманах. И видимо, она из своих. Впрочем, кто знает...

Девушка появилась в проеме чердака так же неожиданно и бесшумно, как и скрылась. В руках она несла черный чугунок, из которого торчала ложка. Остро запахло чем-то невообразимо вкусным. Я вглядывался в ее лицо, но оно как бы растворялось в полумраке. Она старалась не смотреть в мою сторону и села позади.

— Нет ни одной тарелки, — без сожаления произнесла она. — Зато хорошая ложка. Деревянная. Терпеть не могу металлических ложек.

Она говорила о ложках! Как это, черт возьми, важно сейчас, когда немцы уже в Гродно!

— Ешь, — она зачерпнула ложкой ароматную жидкость и поднесла к моему рту. Другой рукой приподняла мне голову, я ощутил ее мягкую горячую ладонь.

Мне было досадно за свою беспомощность. Кажется, нет ничего отвратительнее, чем ощущение собственного бессилия.

— Вкусно? — осведомилась она. — Это бульон. Я уже кормила тебя. Только сперва не могла разжать зубы, так ты их стиснул.

Вкусно? Еще бы! Я старался, чтобы ни одна капелька не угодила мимо рта.

— Все, — сказала она, отставляя чугунок в сторону. — Всё. Без хлеба это, конечно, не очень сытно.

— Откуда бульон?

— Снова вопросы. Зачем, почему, откуда? Не имеет значения. У меня есть ружье. А в лесу есть дичь.

— А ты сама... ела?

— Опять вопросы?

— Не обижайся...

— А мне показалось, что ты злой. Я ухожу. Вернусь к вечеру. А сейчас привстань. Это тазик. Не стесняйся.

Что-то было в ее голосе такое, что я не посмел послушаться. Нет, ты не имеешь права испытывать к ней неприязнь, это просто подло.

— Постарайся не шуметь, — предупредила она. — Ты это должен уметь. Ты же пограничник.

И, не ожидая ответа, она снова исчезла в проеме, оставив меня наедине со своими мыслями.

Итак, я жив. Но что с Антоном? Мы шли вместе, мы все время были вдвоем. Почему же его нет со мной? Почему?

Значит, они в Гродно? Почему? Ох, эти проклятые «почему»! Мы же должны бить немцев на той территории, с которой они ринулись на нас. Эх ты, стратег... бить! Вальяешься, как чурбан, в тылу врага да еще и философствуешь! Да если таких, как ты, вояк набралось много, так кто же будет их бить, этих фашистов?

А все-таки что же случилось, почему не они отступают, а мы? Случайность? Не может быть. Каждый день Горохов водил заставу строем, и мы пели: «Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде: мы начеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». А от границы до Гродно — вершок? Нет, эта девчонка просто дурит тебе голову. И ничего она не знает и не может знать. Подобрала где-то бабский слухок и подкинула тебе.

А если правда? Если то, что она сказала, — правда? Я попытался встать, но тут же рухнул навзничь, потерял сознание...

Когда очнулся, понял, что позади целая почь. Было тихо, вокруг чердака все замерло, окаменело. Сухая ветка уже не шаркала по крыше.

Я открыл глаза и зажмурился: чердак был пронизан солнцем. Горячие лучи врывались сюда через щели в крыше, через отверстия — следы выпавших когда-то сучков. Солнечные нити недвижимо висели у меня над головой, лежали на лице, на гимнастерке. Казалось, чердак с каж-

дой минутой приближается к солнцу, и крыша, воспламенившись, будет долго гореть тихим неслышным огнем.

Меня обрадовало солнце, обрадовало, что не скрипит дерево, и захотелось, чтобы эту радость почувствовала и она, эта девушка.

— Ты здесь?

Молчание. Тишина. Какая чудесная тишина и как хорошо, что ее никто не нарушает! Значит, эта девушка не вернулась, как обещала. Увидела, что я уже могу обойтись без ее помощи, и решила уйти. В самом деле, какой интерес сидеть возле меня. Ты правильно поступила, девушка, и никто тебя не осудит. Плохо только, что не попрощалась. И что я так и не сказал тебе спасибо. Впрочем, к чему все эти условности. Все идет так, как надо, и жизнь есть жизнь. Вот полежу до вечера, а там все равно заставлю себя подняться, наплюю на боль, на слабость. Неправда, встану!

Мысли мои прыгали, смешивались, затемняя одно, проясняя другое. Откуда-то из густой неразберихи воспоминаний выплыло лицо немца, лежавшего у ручья. Если бы сейчас мне довелось увидеть его, я непременно узнал бы этого солдата, стоило лишь посмотреть на шрам у самого виска, на припухлые, будто чем-то обиженные, губы, на завитушки вспотевших волос.

Меня потянуло к письму. Я вытащил измятый листок. Почерк был очень мелкий, но разборчивый. Немецкий язык я знал хорошо, настолько хорошо, что свободно переводил специальную литературу по химии. Не очень быстро, но все же довольно уверенно я перевел все, что было написано:

«Добрый день, Эрн! Ты ничего не знаешь, а завтра на рассвете весь мир облетит весть о войне. И скоро на дорогах России мне останется только одно счастье: воспоминания. Наверное, придет день, когда ты осудишь меня, а может быть, и проклянешь. Но иначе я поступить не смогу. Ты говорила, что хочешь встретить меня героем. Рудольф — герой! Звучит, да?»

Эту записку в случае моей гибели тебе передаст мой надежный друг. Скоро в небо взлетят ракеты. Ты понимаешь? Если увидишь маму...»

Письмо обрывалось. Возможно, кто-то помешал его дописать. Или же ракеты взлетели раньше.



Я еще раз перечитал письмо, особенно строки: «Рудольф — герой! Звучит, да?» С какой бы интонацией я их ни произносил, все же не мог отделаться от мысли, что в этих словах явственно слышится грустная ирония. Но может быть, я просто фантазирую и сам начинаю верить в эту фантазию? А если то, что думаю, — правда, то выходит, что этот Рудольф совсем не такой, как Вилли, не такой, как Генрих?

Э, брось! Они напали на нас, напал и этот Рудольф. Напал, — значит, враг, значит, получай по заслугам. Вот так.

И что это ты взялся рассуждать о немцах? Может, еще будешь думать и о Германии? А что ты, собственно говоря, знаешь о Германии, что? Только то, что прочитал в учебнике географии зарубежных стран? Или в газетах?

Кажется, впервые я стал думать о Германии, когда в газетах печатались отчеты с судебного процесса по делу о поджоге рейхстага. Речи Димитрова!

А потом: немцы во Франции, немцы в Австрии, в Чехословакии, в Греции, в Польше... Казалось, наугад ткни пальцем в карту Западной Европы — и везде... немцы.

Вспомнился снимок: выхоленный, с приветливой улыбкой, из самолета по трапу спускается на землю Риббентроп. На нашу землю, в нашем аэропорту. В Москве.

В институте у нас учились два немца. Правда, не коренные немцы — они родились и выросли в Поволжье. Держались все время вместе, снисходительно усмехались, предпочитали не вмешиваться в наши споры, особенно когда разговор заходил о политике. В их усмешках сквозило какое-то недоброе предсказание. Хотя вполне возможно, что мне это мерещится теперь, когда я на своей шкуре испытал, кто они такие, немцы.

Институт... Там я познакомился с Лелькой.

Это было за год до того, как меня призвали в пограничные войска. Мы были желторотыми первокурсниками и едва окунулись в студенческую жизнь.

Встреча наша была не совсем обычной. Впервые я увидел ее... Нет, это будет неточно, впервые я не увидел ее, а услышал. Как-то вечером я поднимался по крутым ступенькам нашего общежития. Занятия уже закончились, все успели пообедать в тесной шумной столовке и разбежались кто куда: кто на реку, кто в библиотеку, кто в кино. Меня же потянуло в нашу комнатуху на третьем

этаже. Я знал, что соседи по койкам (мы жили втроем) вернуться поздно, можно будет спокойно, с наслаждением почитать новую книгу. С первых же дней учебы в институте я твердо решил следовать правилу, которое, как мне казалось, сформулировал сам, хотя, вполне возможно, вычитал в какой-то книге: «Не теряй золотого времени!» Мне хотелось стать до предела целеустремленным, целиком посвятить себя химии. Мечтал не просто стать хорошим специалистом, но и оставить свой, пусть совсем маленький, но именно свой след в науке. Все, что не было связано с химией, меня не интересовало. Теперь-то мне и самому смешно, но в то время я всерьез считал, что и дружба с девочками, а тем более любовь — самое серьезное препятствие на пути человека, решившего приобщить себя к науке. Я знал, что меня будут считать странным, замкнутым, будут открыто и тайно подтрунивать надо мной, но решил не принимать во внимание все то, что хоть в малейшей степени могло поколебать мою решимость идти к намеченной цели.

Думал я об этом и в тот вечер, медленно поднимаясь по лестнице. На душе было пасмурно, то ли оттого, что еще не освоился на новом месте, то ли по той причине, что все же завидовал тем, кто сегодня будет веселиться и дурачиться, петь и танцевать.

Радость, обуявшая меня после удачной сдачи экзаменов, схлынула, и на смену ей пришли тревожные раздумья о том, как сложится дальнейшая жизнь в институте.

Я поднялся на лестничную площадку, и вдруг меня оглушили странные дребезжащие звуки: в коридоре третьего этажа кто-то неистово колотил по железу. Что за новости?

Не успел я как следует поразмыслить над этим, как мимо меня промчалось (нет, сказать «промчалось» — значит далеко не точно нарисовать то, что я увидел!), вихрем пронеслось худенькое, гибкое создание в короткой юбке. В одной руке оно держало сковородку, в другой — ложку. Двери многих комнат были открыты, и в ответ на эту трескотню оттуда раздавался веселый смех.

Девушка остановилась, диковато посмотрела на меня.

— Вы что, сошли с ума? — спросил я.

— Сошла! — радостно согласилась она и так застучала по сковородке, что я поспешно зажал пальцами уши. Это рассмешило девушку, она захохотала, запрокинув голову,

и длинные ярко-рыжие волосы вздрагивали, метались по узеньким покатым плечам.

— Какой нежный! — не переставая смеяться, воскликнула она, словно увидела во мне что-то редкое и необычное.

Она и сама, видимо, понимала: то, что она делает, больше бы под стать какому-нибудь отчаянному бесшабашному мальчишке, и заметила, что я осуждающе и с изумлением смотрю на нее. Но на ее лице не было и намека на смущение или раскаяние, оно было по-детски восторженным и дерзким.

«И такая вот девчонка с ветерком в голове задумала стать химиком», — сердито подумал я.

— Сильва! — позвали ее из раскрытой двери. — Что-то рано ты сегодня собираешь на танцы.

— Я уже не могу! — тут же откликнулась девушка. — Терпение кончилось! Хочу танцевать!

«То же мне, Сильва, — едва не пробурчал я вслух, — истеричка какая-то».

Девушка, забыв обо мне, побежала дальше, и по ступенькам ошалело застучали ее каблучки. Все произошло так стремительно, что я почти не рассмотрел ее лица. Запомнил только глаза с длиннущими ресницами.

У себя в комнате я сбросил рубашку и брюки, в одних трусах сбегаю в умывальник и освежил водой спину и грудь. Потом забрался на койку и принялся читать. И хотя оглушительного трезвона в коридоре уже не было слышно, где-то на середине страницы я поймал себя на мысли о том, что то ли со злостью, то ли с восхищением думаю об этой девчонке. Лишь большим усилием воли заставил себя углубиться в чтение.

Через несколько дней я увидел Сильву на улице с моим соседом по койке Яшкой Жемчужниковым. Они шли не торопясь, взявшись за руки, словно были знакомы давным-давно. Яшка, увидев меня, нагло вприщурил правый глаз:

— Смотрите, это же доктор химических наук! Вы еще можете сомневаться? Мы ждем вас, доктор. Хватит изображать из себя загадочную личность, вас зовут к себе веселые люди!

И, видя, что я замешкался и нерешительно топчусь на месте, повторил уже без иронии, по-товарищески:

— Иди к нам, Лешка, химия подождет!

Мне неприятна его бравада, манера держать себя и покровительственно-небрежный тон, и все же я подошел.

— Здравствуй, Сильва, — неловко пробормотал я, почти не глядя ей в лицо.

Она возбужденно засмеялась. Ее тут же поддержал Яшка своим нахальным баском. Мне было не понятно, чем я их так развеселил, и Яшка, словно почувствовав это, пришел мне на помощь.

— Доктор, — не обращая внимания на то, что она продолжала смеяться, сказал Яшка, — в периодической системе Менделеева нет такого элемента — «Сильва». Есть «Лелька» — самый легкий, самый красивый, самый быстро воспламеняющийся металл. Понимаешь, «Лелька». Удельный вес... Кстати, какой у тебя удельный вес, Лелек?

Лелька продолжала смеяться.

— Гражданка Ветрова, — строго сказал Яшка, — вы высмеялись на целый год вперед. Перебрали все лимиты. А что касается удельного веса, то мы познаем и эту загадку природы. Не так ли, Лешка?

Видимо, на эту Яшкину болтовню следовало ответить примерно в таком же тоне, но я угрюмо молчал.

— Смотри, Яшка, какой он обидчивый, — ласково протянула Лелька.

— Да! — взорвался я. — Да! Я нежный! И обидчивый! И еще терпеть не могу, когда люди ржут без всякой причины!

— А он еще и серьезный, — сказала Лелька.

С этой минуты, как мне показалось, она потеряла ко мне всякий интерес: ни разу не взглянула на меня, разговаривала, обращаясь только к Яшке, будто совсем забыла, что я иду рядом.

«Вот и чудесно, — подумал я. — А если ты опять будешь мешать заниматься, отберу у тебя дурацкую сковородку и выброшу в окно».

Яшку не смутили ни мои слова, ни короткая стычка с Лелькой. Он был непробиваем и упрямо гнул свою линию: продолжал дурачиться, подтрунивать надо мной. Лелька хохотала. Я терпеливо шел с ними, стараясь придумать предлог, чтобы уйти.

— Лелек, — вдруг сказал Яшка, — а ну шагай впереди. Это просто возмутительно лишать нас возможности любоваться твоими ножками.

Я уже немного раскусил Лельку и наперед знал, что она не обидится на Яшку. И все же где-то в глубине души надеялся, что в ответ на такое предложение она, пусть не презрительно, но во всяком случае неодобрительно, посмотрит на Яшку и не захочет повиноваться ему.

Но — ошибся. Лелька тут же пошла легкой упругой походкой. Ее маленькие крепкие ноги весело и задорно несли стройную фигурку с гибкой тонкой талией и по-женски крутыми подвижными бедрами.

Когда она послушно и охотно выполнила желание Яшки, я разозлился не столько на него, сколько на нее и мысленно дал себе слово никогда больше не разговаривать, делать вид, что не замечаю ее и не хочу о ней знать.

Не помню уже, как удалось отстать от них. Мне стало легче. Но странное дело: чем дальше я уходил от Лельки, тем навязчивее становилась мысль о ней. И тем сильнее я завидовал Яшке. И тем злее ругал себя за то, что ушел.

Зависть к Яшке достигла своего предела, когда однажды я случайно услышал, как Лелькины подружки, прибывшие из спортзала, наперебой говорили ей:

Яшка Жемчужников всех затмил!

Вот это гимнаст...

— Лелька, посмотрела бы ты, как он красиво сложен!

И Лелька тут же помчалась в спортзал.

Что и говорить, Яшка был сложен что надо. Многие девочки мечтали подружиться с ним, любили, когда он с деланной неохотой, уступив их просьбам, садился за пианино. Он умел броско одеться, вел себя непринужденно даже с преподавателями.

После вечерней стычки я очень редко видел Лельку, а если и видел, то старался уклониться от разговора. И чем меньше я ее видел, тем больше думал о ней. Хотелось, чтобы ее смех будоражил меня, заставлял и радоваться, и грустить, и злиться. Хотелось смотреть в ее диковатые глаза. Хотелось, чтобы в каждую субботу в коридоре раздавался стук сковородки и радостные крики: «Сильва! Сильва!»

Издали я все-таки присматривался к Лельке. И чем больше я ее узнавал, тем все больше утверждался в мысли, что она легкомысленна и не способна к глубоким переживаниям. Почему же в таком случае она влекла меня, почему каждый раз, когда я видел ее, мне становилось

и радостно, и тревожно, и грустно? Почему я умел в целой толпе смеющихся девушек услышать грубоватый и нежный, волнуемый и успокаивающий Лелькин смех? На эти вопросы я и сам не мог ответить. Впервые я видел, чтобы и лицо, и походка, и жесты девушки были так выразительны. Рядом с ней другие девчата выглядели неинтересными, скучными, пресными. Наверное, вот так же среди мириад звезд в ночном небе выделяется одна, самая яркая, самая заманчивая, самая веселая, и именно к ней поневоле тянутся взоры людей, именно на нее хочется смотреть, и когда глядишь, то уже не существует других.

Я завидовал Яшке. Он почти каждый день возвращался в общежитие поздно, и я тайком наблюдал за ним. Видимо думая, что мы спим беспробудным сном, Яшка долго не ложился, стоял у раскрытого окна, чему-то улыбался. Потом встряхивал красивой кудрявой головой и выключал свет.

К моей радости и удивлению, Яшка никогда не рассказывал о своих встречах с Лелькой, и я изо всех сил старался убедить самого себя, что поздними вечерами он гуляет не с Лелькой, а с какой-нибудь другой студенткой.

Лельку я видел только на лекциях. Мне казалось, что она учится без всякого напряжения и без особого интереса к тем предметам, которые я обожал. Часто можно было видеть, как она во время лекции, когда преподаватель увлеченно разъяснял какую-нибудь очень сложную проблему, стремительно оборачивалась к своим соседям, строила глазки ребятам. Тетрадь для записей всегда лежала перед ней, но я сомневался, чтобы она полностью законспектировала хотя бы одну лекцию. Так бы я, наверное, и не изменил своего мнения о Лельке, если бы не один семинар, на котором она неожиданно для всех заспорила с профессором Ростоцким о методах выделения радиоактивных изотопов. Меня в ту пору очень интересовала радиохимия — область, смежная с ядерной физикой. Но я и предположить не мог, что Лелька так детально знакома с проблемами, над которыми ученые, собственно, только начинали работать и о которых в наших учебниках было написано лишь вскользь, да и набраны были эти места самым мелким шрифтом — непарелью.

Я оторопело смотрел на нее, вслушиваясь в уверенные выводы, всматриваясь, как она размашисто и даже с ка-

кой-то удалую лишет на доске разноцветными мелками сложные и длинные химические формулы, и все еще не мог понять, Лелька ли это. И если бы я не был участником этого семинара, то никогда бы не поверил, что легкомысленная Лелька может так смело отстаивать свои взгляды.

А после семинара, перед вечером, я увидел Лельку, мчавшуюся на велосипеде по улице, далеко от института. Она упруго и легко, без передышки крутила педали и вдруг, когда велосипед катился с такой скоростью, что мог запросто посоревноваться с любой автомашиной, ловко, красиво взметнула ноги на руль. Милиционер, стоявший поодаль, заметил это, свистнул, но Лелька и не подумала опустить ноги на педали. Секунда — и она исчезла за деревьями.

— Чертовка! — воскликнул милиционер, и в этом восклицании прозвучало не осуждение, а искреннее восхищение Лелькиной смелостью.

Я быстро пошел в ту сторону, где скрылся велосипед, наперед зная, что мне его не догнать. И все же спешил, почти бежал, бестолково размахивая руками и почти вслух повторяя одно и то же слово: «Чертовка!» Наверное, вид у меня был странный, и прохожие вполне могли принять меня за помешанного. Именно в эти минуты я с отчаянием понял, что теперь не смогу жить без Лельки, что если ее не будет рядом со мной, то это все равно что не станет солнца, людей, воздуха.

Вечером я пошел к Лельке в общежитие. Дверь в ее комнату оказалась запертой, но я уже знал, где девчата прятали ключ, и без труда нашел его.

На одной из тумбочек, стоявшей возле аккуратно заправленной койки, я сразу увидел фотографию Яшки в изящной пластмассовой рамке и понял, что эта тумбочка принадлежит Лельке. Яшка вызывающе смотрел на меня в упор.

Я проник в комнату Лельки, чтобы оставить ей письмо, над которым трудился всю ночь, забыв о том, что планировал прочитать в подлиннике статью известного зарубежного химика. Но когда перед моими глазами оказался портрет Яшки, понял, что писал это письмо совершенно напрасно и что оно может лишь вызвать смех у острой на язык Лельки. Я представил себе, как она будет читать его Яшке, окрашивая каждую строчку различной интона-

цией, и сказал себе, что сгорю от любви и горя, но письма не оставлю.

Ну и счастливчик же ты, Яшка! Без всякого труда приворожил Лельку! Плохо соображая, правильно ли поступаю, я подскочил к тумбочке. Пальцы нервно дрожали, но я быстро вытащил из рамки фотокарточку самодовольно улыбающегося Яшки и сунул ее под подушку на соседней койке.

Все? Кажется, все. Нет, гад ты такой, не все! Я вынул из кармана пиджака свою фотографию и вставил в рамку. Перед тем как уйти, уже у самой двери оглянулся. Вместо красавчика Яшки на меня смотрел человек, задумавшийся на проблемами мироздания: хмурый, взъерошенный и одержимый. Разница была огромная! Ну и пусть! Пусть полюбуется, когда прибежит со своих танцев. Пусть поищет изображение своего Яшки!

Вернувшись к себе, я задумался. Все-таки наглец ты, Алексей, вот уж никогда не думал, что наглец. Нужна ей твоя глупая физиономия, как же! Высмеет она тебя, ох и высмеет! Хватит пищи для всего института. Да и с Яшкой тоже, мягко говоря, придется разминуться.

И все же я не стал ничего менять. И вообще решил в жизни ничего не менять, если сделал. Ошибся — пожинай плоды. Добился успеха — радуйся. Споткнулся — не ной и не обвиняй других, принимай удар на себя. Выдюжишь. А нет — так зачем произвели тебя на свет, и без тебя нытиков хватает.

И все же и ночь, и утро следующего дня были для меня мучительными. Трещала голова, нервы были напряжены до предела. Утром, когда мы наскоро умылись и уже собирались бежать на занятия, в нашу комнату влетела Лелька. Она возбужденно дышала, так, что ноздри раздувались.

— А ты — дуралей!

Растерявшись, я не придумал ничего более умного, чем спросить:

— Почему?

— Ты знаешь почему! — воскликнула Лелька.

Яшка удивленно посмотрел на нее, будто увидел первый раз в своей жизни.

— Все к лучшему в этом лучшем из миров, — процедил он сквозь зубы. — Да я и сам могу ее тебе уступить. После меня тебе будет легче.



Он не успел закончить: короткий и звучный удар моего кулака врезался ему в челюсть. Яшка молча качнулся, задел стул и вместе с ним рухнул на пол. Но тут же, пытаясь скрыть ощущение боли, медленно поднялся на ноги и, быстро, цепко взглянув на Лельку (мол, как она это восприняла), по-бычьему уставился на меня.

Лелька молчала. По Яшкиной щеке сочилась кровь. Он размазал ее пальцами и неуверенно, неизвестно к кому обращаясь, произнес:

— Какая нелепость. Мне же на лекцию...

— Умойся, — сказал я. — Под краном.

В дверях Яшка приостановился, замер, как изваяние, и, не оборачиваясь, звучно выделяя каждое слово, предупредил:

— Мы ничего не забудем.

— Смотри, — весело сказала Лелька, подмигнув мне. — У него, оказывается, есть память. Вот здорово!

Мне была дорога похвала Лельки, но к радости настойчиво примешивалось чувство горечи — от того, что вчера она любовалась Яшкой, ходила счастливая и, конечно же, целовалась с ним. Так и подмывало сказать ей все, сказать теперь, пока еще не поздно, чтобы потом, если мы будем вместе, эта невысказанная мысль не стояла между нами. Но я промолчал.

В комнате было темновато, за окном лениво накрапывал дождь, но и в этой полутьме в ее глазах все еще вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли зеленоватые огоньки.

— Да, я глупый, — сказал я. — И слишком нежный. И обидчивый.

— Перестань, — певуче прервала меня Лелька.

— Скажи, — хмуро и отчужденно спросил я, — ты прибежала только потому... ну, что я поменял фотокартточку?

— Дуралей, — она перестала улыбаться, — ты так ничего и не понял.

Мы стояли молча, не двигаясь с места, уставившись друг на друга, будто боялись, что даже самое незначительное движение разрушит то, что родилось теперь в наших взаимоотношениях. Потом я бегло, не поднимая руки, взглянул на часы, но так и не понял, сколько времени показывали стрелки.

— А лекция? — встрепелулась Лелька, поняв мой жест. — Лекция!

Мы выскочили за дверь и помчались в учебный корпус. Я бежал и думал о том, что мне было бы намного легче, если бы Яшка ответил мне таким же сильным ударом.

С тех пор мы с Лелькой были неразлучны.

До того самого дня, когда я был призван на военную службу и стал пограничником.

Мы ни разу не сказали друг другу слова «люблю». И все же я верил в нашу любовь.

Еще как!

...Неожиданно внизу резко хлопнула дверь, раздались тихие, неуверенные шаги, и через минуту я увидел свою спасительницу, поднимающуюся на чердак. Она была без платка, в измятом оборванном платье. Темные, с коричневатым отливом волосы разметались на голове, образовав пышную бесформенную кичу. Она виновато, исподлобья посмотрела на меня и беспомощно плюхнулась на охапку сена. Теперь она сидела, не пряча своего лица, смело и вызывающе отвечала на мои удивленные взгляды. Я невольно сравнил ее с Лелькой. Да, эта девушка тоже была красива, но что-то старческое, увядающее нет-нет да и мелькало на ее совсем еще юном лице.

— Ты не спишь, — сказала она и снова виновато улыбнулась, но тут же упрямо стряхнула с себя улыбку. — Как хорошо, что ты не спишь. Я так измучилась, пока ты спал все эти дни. Мне не с кем было переброситься словом. Ты спрашивал, кто я. Ты спрашивал, да? И ты хочешь еще это узнать? Я расскажу тебе. Зови меня Галиной. Или просто Галкой. Как хочешь. Это не имеет значения.

«Что с ней? — встревожился я. — Перескакивает с одного на другое, возбуждена, смотрит дико, растерянно».

— Вот ты кричал: «Лелька!» Это твоя жена, да? Или невеста? Можешь не отвечать, это не имеет значения. А вот у меня есть жених. Ты хочешь, я прочитаю тебе его письма? Ты слышишь, он пишет: я счастлив потому, что у меня есть ты. Он меня очень любит. А вначале нет. Я сама его в себя влюбила. Если мне нравятся мужчины, я сделаю так, что он будет любить меня. Ты что, не веришь? Ну и не верь. Мы жили в городе.

А лес я ненавижу — здесь все загадочно: и деревья и тропинки. Здесь страшно. А в городе... Он пришел ко мне в общежитие совсем пьяный и сказал, что не может без меня. Я сказала: «Ты пьяный». Но он не ушел. Я уложила его в постель, а сама села на стул и стала читать. Кажется, это был Золя. Не имеет значения. И тут пришел комендант и спросил, почему в женском общежитии мужчина. Я сказала, что не могу же я прогнать его в таком виде, он попадет в вытрезвитель. И все-таки на другой день меня вызвали и стали грозить выселением. «Но ведь я не совершила преступления, — сказала я, — я совершила проступок, только проступок. А того, кто совершает проступок, не наказывают так строго. Я же человек и могу исправиться».

Галина вздохнула, на минуту умолкла.

— Ты хочешь, я буду читать его письма? Вот хотя бы это. Нет, это не самое ласковое.

Галина говорила о письмах, но в руках у нее ничего не было, она медленно перебирала пальцами. Длинные и тонкие, они просвечивали почти насквозь, когда попадали на солнце, а в тени становились смуглыми.

— Он называет меня Галчонком. И меня все считают счастливой. Как ты думаешь, я счастливая? Нет, я не плачу. Я очень редко плачу, из меня не так-то просто выбить слезу.

— Что случилось, Галина?

— Я стала болтливой? — не ответив на мой вопрос, опять заговорила она. — Тебе это не нравится? Почему мы здесь? Ты не знаешь? Я сказала тебе, что они в Гродно? Нет, нет, они здесь, в лесу, вокруг сторожки! Я люблю эту сторожку — они не посмеют сюда прийти. А леса боюсь, очень боюсь.

— Ты что, пьяна?

— Да! — подхватила она. — Пьяна! Я была в гостях и напилась! Тебе хочется жить? Скажи, хочется? А зачем? Зачем?!

Галина легла на спину и продолжала говорить, не глядя на меня, сбивчиво, словно спотыкаясь при быстрой ходьбе:

— Ты знаешь, немного кружится голова. Зачем я выпила? Тебе противна моя болтовня? Ничего, я все-таки буду говорить. А ты терпи. Ты должен быть терпеливым. Ты же пограничник. Я буду говорить, все равно мы с

тобой больше не увидимся. Ты же скоро уйдешь. Может, кивнешь на прощание. И — все. Не имеет значения. У тебя же нет ко мне чувств? Нет? Вот и хорошо, что нет. Ты меня очень обрадовал. Мне хорошо, когда меня ненавидят. Хочешь, назови меня идиоткой. Ну, назови, я тебя очень прошу. Скажи обо мне откровенно все, что думаешь. Или ударь меня. Ударь!

Она вскочила со своего места, порывисто схватила мои руки, встала на колени совсем близко возле меня. На ее ноге чуть выше колени я заметил большой синяк.

— Ты не думай, что я пьяная. Ты видишь, я вовсе не пьяная. Ты слышишь — это Первый концерт Чайковского. Я всегда его слушаю, когда мне горько. Или когда радостно. У меня есть пластинка. Первый концерт Чайковского... Посмотри на меня, правда, я не пьяная? Правда?

Преодолев боль, я сел, встряхнул ее за плечи. Она все так же смотрела куда-то мимо меня невидящим полубезумным взглядом. Я взял ладонями ее лицо, повернул к себе.

— Галина!

Она повалилась на пол, забилась, как в припадке.

— Я никогда не скажу тебе, что случилось! — съехившись, выкрикнула она.

— Скажешь!

Галина выпрямилась. Глаза ее были сухи, дрожь унялась.

— Скажу. И можешь меня ненавидеть. Меня изнасиловал немец! Слышишь?

И она, вырвавшись из моих рук, бросилась к проему, скатилась по лесенке и замолкла.

6

Галка, Галина! Мечтала ты о любви, о жизни. А что же теперь?

Мне стало ясно: Галина старалась заглушить свою беду, хотя понимала, что это невозможно, что непоправимое уже свершилось.

Я мучительно раздумывал, что предпринять, как вдруг на сторожку обрушился рев моторов. Внезапно возникнув, он заполнил все небо над крышей. Прерывистый, с жалобным подвыванием рев нарастал с каждой секундой. Казалось, еще немного — и он распахнет настежь двери и

окна и раздастся взрыв, точно такой же взрыв, какой опрокинул меня павзничь на той памятной поляне...

— Антон! — вскрикнул я, и в то же мгновение перед глазами возник самолет, тот самый самолет!

Память воскресла!

Так вот оно что! Выходит, ты жив, а Антон погиб, хотя именно ты и должен был его спасти.

Я вскочил на ноги. И удивительно: почти не почувствовал боли!

Гул моторов затихал, самолет был уже далеко отсюда. Все еще не веря, что ко мне вернулась способность самостоятельно передвигаться, я спустился по лесенке.

Галина сидела на лавке, подобрав под себя босые ноги и смотрела в окошко. Непонятно было, что она там увидела. Там высились сосны.

— Галина, — позвал я.

Она не обернулась, сидела все так же недвижимо и безучастно.

— Ты говоришь, что я тебя возненавижу, — сказал я, присев рядом с ней. — Это глупо. Утешать не буду. Тоже глупо. И бесполезно. Скажи, где твое ружье? И покажи дорогу в село.

Галина одернула платье. Казалось, она только сейчас услышала меня.

— Это ни к чему, — твердо проговорила Галина. — Они убьют тебя.

— Зачем ты ходила в село?

— Зачем? За солью. У нас не было ни крупинки. А там они. Схватили...

— Замолчи!

— «Замолчи», — горько повторила она. — Зачем же тогда спрашивать?

— Значит, ты из-за меня...

— Не имеет значения.

— Прости.

— Будь мужчиной. Ты обещал не утешать.

— Хорошо.

— Не спеши. Скоро должен вернуться отец. И тогда у меня не останется никаких забот. И ничего впереди.

— Выбрось из головы эти дурацкие мысли!

— Не кричи, — беззлобно остановила меня Галина.

— С меня хватит! — наперекор ей повысил я голос. — Я должен действовать, понимаешь, действовать!

— А что мы можешь? Выйдешь на шоссе и ляжешь под ихний танк? Выстрелишь из ружья по «мессершмитту»? Запоешь «Катюшу»?

— Не издевайся. Найду Антона. Пробьемся к своим.

— У тебя есть автомобиль? Или, может, тебя дожидается личный самолет?

— Значит, сидеть в этой сторожке? И ныть, да?

— Не знаю, — прежним холодным тоном проговорила Галина. — Я хочу, чтобы отец забрал тебя с собой. И тогда моя миссия закончена.

Она стала сдержанной, говорила нервно, угрюмо. Я решил не спорить с ней.

— Лезь на чердак, — сказала Галина. — Я тоже полезу. Очень устала. Хочется спать. Тебе помочь подняться?

— Не надо.

— Молодец. Мне казалось, что пролежишь не меньше двух недель.

— Самолет... — пробормотал я.

— Кастрюлька на керосинке. С вареной картошкой, — сказала она, прислонившись плечом к лесенке. — Печку не топлю: далеко видно дым. — Она полезла наверх и вдруг задержалась на перекладине. — А соль... Соль на полке, возле окна.

Соль! Она все-таки принесла соль! И говорила о ней так, будто ничего не случилось, будто все осталось по-прежнему. Что это: сила воли или все то же стремление спрятаться от самой себя?

Очень хотелось есть. Я снял с керосинки кастрюльку, поставил ее на дощатый, по-походному сработанный стол. Картошка уже остыла, но сварена была отлично. Кожура на ней потрескалась, и рассыпчатая сахаристая мякоть возбуждала мой и без того волчий аппетит. Я вынул из кастрюли самую крупную картофелину, ободрал с нее висевшие лохмотьями остатки кожуры, взял стеклянную банку с солью. Густо посыпал картофелину. Крупные кристаллы тускло поблескивали на свету. Никогда ни одно кушанье не казалось мне таким ошеломляюще вкусным, как эта картошка. И вдруг, еще раз оторопело посмотрев на банку с грязноватой солью, я не мог найти в себе силы, чтобы взять из нее еще хотя бы одну щепоть. Какой горькой стала для меня эта соль! Я уничтожал одну картофелину за другой, так больше и не притронувшись к банке, лишь, не сводя глаз, смотрел и смотрел на нее.

Что же, надо послушаться совета Галины — подождать прихода ее отца. Уж он-то наверняка многое расскажет о сложившейся обстановке, посоветует, что делать дальше. И кто знает, может, он и наведет меня на след Антона, если тот не погиб. Подожди, подожди, а вдруг ее отец... В это не хотелось верить.

Как ни велико было искушение, я съел лишь половину сваренной картошки, поставил кастрюльку и банку с солью на покрытую пылью полку и осмотрелся.

Комната в сторожке была небольшой, с деревянным потолком и давно не белеными стенами. Окошко расположено так низко, что через него нельзя было увидеть ничего, кроме могучих сосен. В углу комнаты стоял деревянный топчан с ватным матрацем и резиновой надувной подушкой. Чувствовалось, что здесь недостает женских рук.

Я забрался на чердак. Галина лежала на боку, спиной ко мне, в стороне от слухового окна, куда не доставало солнце. Дыхание ее было ровным, и, поняв, что она спит, я бесшумно занял свое место. Хотелось заснуть, чтобы быстрее пролетело время, но сон не брал меня. Теперь, когда я мог ходить без посторонней помощи, особенно нетерпимой становилась каждая минута вынужденного безделья. Все время мучила мысль о том, что необходимо как можно скорее встать в строй. А вот встретят тебя свои, скорее всего, без особого восторга, попробуй докажи, что столько дней ты, контуженный, провалялся на чердаке. Ничего, буду держать ответ перед самым суровым судом, лишь бы смотрели на меня глаза моих товарищей. А потом докажу делом, что не трус, что не отсиживался, что просто по-дурному сложилась моя судьба в первые дни войны.

Размышляя обо всем этом, я невольно задремал. Проснулся от необычного шума, доносившегося снизу.казалось, между тем моментом, в который я забылся, и тем, в который мои веки вздрогнули, прошло не больше секунды. Но стоило мне выглянуть в слуховое окошко, как стало понятно, что проспал порядочно: солнце уже укололось о щетинистые верхушки самых высоких елей.

В зарослях, подступавших к сторожке, нетерпеливо и надсадно фыркал мотоцикл. Вероятно, ему не очень-то по вкусу была лесная малоезженная дорога со скрытыми в траве пнями и выбоинами.

Снова проклятый мотоцикл! Еще несколько секунд, и он должен вынырнуть из зарослей и остановиться на крохотной полянке, возле которой примостилась сторожка. Наверное, такой же, как тот, на котором Генрих увез Лельку. Может, он и промчался мимо меня по шоссе с непогашенными фарами.

Да, он был совсем такой же, немецкий мотоцикл, мне это стало ясно сразу же, едва он, подпрыгивая на выбоинах, выскочил на поляну напротив входа в сторожку и замер.

Управлял мотоциклом уже немолодой офицер. Он мог бы выглядеть стройным и поджарым, если бы не чрезмерно сторбленные, нависшие над туловищем прямые, резко очерченные плечи. Окинув цепким взглядом сторожку, офицер кисло усмехнулся, еще сильнее сощулив глубоко запавшие глаза, и ступил на землю крепкими, пружинящими при ходьбе ногами, обутыми в длинные, до самых бедер, резиновые сапоги.

— Это есть ваша вилла? — громко, иронически хохотнув, спросил офицер у сошедшего с люльки мужчины, одетого в защитного цвета охотничью куртку.

— Моя личная резиденция, господин майор, — в тон ему ответил мужчина, вытаскивая из люльки складное металлическое удилище спиннинга и вязку крупных зеленоватых щук. Мужчина был плотный, сильный, но невысок ростом, и потому ему приходилось приподнимать вязку, чтобы хвосты щук не волочились по земле.

Позади стоял, хмуро оглядываясь по сторонам, нескладно скроенный, но подтянутый солдат с автоматом на животе. Удостоверившись, что вокруг сторожки тишина и спокойствие, он выжидательно уставился на офицера, приготовившись понять его желание по малейшему знаку или намеку.

— Ваш денщик может не беспокоиться, — заметив, что офицер намеревается послать солдата в сторожку первым, вежливо, но с достоинством сказал мужчина. По его голосу, тону, манере говорить я сразу понял, что он русский. — Я — хозяин, вы — мои гости. Я головой отвечаю за вашу безопасность и за то, чтобы, уходя от меня, вы не поминали хозяина недобрым словом.

Как видно, слова пришлись офицеру по душе, он увереннее пошел рядом с русским к сторожке.



— Очень хорошо! — воскликнул он, но улыбка всякий раз получалась у него кислой. — Я буду иметь возможность оценить традиционное русское гостеприимство. Фриц, — обратился он к денщику по-немецки. — Чемодан с продуктами!

Теперь сомнений не оставалось. Этот русский привез немцев сюда, они хотят расположиться в сторожке и, наконец, затеять обед.

Я осторожно подошел к снящей Галине и затормозил ее:

— Немцы! Слышишь, немцы!

Галина неторопливо, спокойно села, вид у нее был такой, будто она вовсе и не спала.

— Где?

— Сейчас войдут в сторожку, — прошептал я. — Приехали на мотоцикле. Их привез русский.

— Невысокий? В охотничьей куртке? Бритоголовый?

— Да. Кто он?

Мой отец.

— Значит, он...

— Возьми ружье. Вот там, в углу.

Внизу стукнула дверь, по скрипучим доскам затопали ноги. Мягко, почти неслышно ступали резиновые сапоги офицера, глухо звякали металлические косячки на сапогах Фрица. Все, что говорилось внизу, было отчетливо слышно здесь, на чердаке. По звукам, долетавшим сюда, можно было догадаться, что Фриц расставляет на столе бутылки и консервные банки, офицер снимает с себя кожаное пальто и удобно располагается на узкой лавке, лесник скребет слизистую, неподатливую щучью чешую.

— Петухов, — повеселевшим голосом сказал офицер. — Фаршированная щука есть очень вкусное блюдо. Но... это очень долго. Очень хочется, как это говорится... лопать.

— Лопать! — также весело подтвердил лесник. — А вам не приходилось отведать щуку по-русски? Это быстрее.

— О, Петухов, ты большой русский шутник! — захохотал офицер. — Ты хочешь делать намеки?

— Нет, что вы, господин майор,нисколько. Мы всегда так приготавливаем щуку. Рыба нарезается крупными кусками без костей и отваривается. Нужны шампиньоны, морковь, петрушка, лук, соленые огурцы, каперсы, мас-

лины, томатный соус. Рыба с этой приправой кладется на тарелку, и к ней — вареный картофель. Неплохо сюда же положить ломтик лимона, раковые шейки или крабы.

— О, Петухов, очень буду просить тебя замолчать. Как это говорится... текут слюнки?

— Точно, господин майор, текут слюнки. Совсем немного терпения. Правда, раковых шеек и каперсов нет, маслин тоже. Но грибы я припрятал, наши леса грибные. Как знал, что придется встречать гостей. И картофель есть, в здешних краях это самое большое лакомство.

— Петухов, мы имеем лимон, очень хороший лимон! Фриц, покажи лимон. Это настоящий марокканский цитрус, Петухов.

— Тогда все в порядке, господин майор. Не пройдет и полчаса, как вы сможете восстановить свои силы. Рыбалка была на редкость изнурительной. Что ни говорите, глухая пора.

— О, ты прав, Петухов. Спиннинг требует много сил, очень много. Ты видел, сколько раз я начинал забрасывать? Даже заболевает рука.

— Вы молодцом, господин майор. Настоящий рыболов-спортсмен. В наших озерах не так просто поймать щуку. Нужно быть очень большим мастером.

Мы притаились на чердаке, стараясь дышать едва слышно. Локтем я чувствовал горячее плечо Галины, но, чем больше ее отец расхваливал немецкого офицера, чем вежливее был его тон, тем все более сильное чувство неприязни появлялось у меня к ней.

— Твой отец... — начал я шепотом, но Галина сжала мою ладонь, призывая к молчанию.

Между тем Фриц, как видно, томился без дела, бродил по сторожке, стуча сапогами. Предусмотрительный солдат явно намеревался проверить все закоулки.

Я положил указательный палец на спусковой крючок. Сейчас Фриц взберется по лесенке, сейчас его голова покажется в проеме. Прогремит мой выстрел. Если он успеет спрыгнуть до того, как я выстрелю, нам несдобровать. Или если, заподозрив что-либо недоброе, чесанет по чердаку из автомата.

Ну что же, от судьбы не уйдешь. Мы все-таки в более выгодном положении, чем Фриц. Мы знаем, что он взбегает к нам, а он не знает, что мы готовы его встретить.

И уж, конечно, я не промахнусь. Ни за что на свете. Выстрел будет точен. Вот только кто знает, как поведет себя Галина. Тем более что ее отец...

Лесенка скрипнула. Фриц!

— Господин майор, — сказал лесник. — Обед будет готов гораздо быстрее, если мне поможет ваш денщик. Пока я вожусь с рыбой, он с успехом мог бы почистить картофель. Конечно, грибы я ему не доверю, а уж картофель — милости просим.

— О, разумеется, так! — вскричал офицер. — Фриц! Быстро почистить картофель, — продолжил он по-немецки. — Что ты там обнюхиваешь все углы? Здесь нет девушек!

Фриц стремглав ринулся выполнять приказание.

— Петухов, ты очень хороший русский путник, — снова заговорил офицер. У него было отличнейшее настроение, видимо, потому, что предвкушал вкусный обед. — Немецкий солдат можно доверять только картофель. О, ты мудрый русский человек!

Вскоре запахло вареной рыбой, приправленной петрушкой и ароматными специями.

Прошу к столу, господин майор, — пригласил лесник. — Конечно, этому кушанью далеко до настоящей щуки по-русски, но что поделаешь, времена не те.

— Первый тост, — почти торжественно, чеканя каждое слово, произнес офицер, — я буду поднимать за хозяина русского леса. За тебя, Петухов!

— За вас, господин офицер. За ваше здоровье. За ваши успехи на очень трудном, но почетном посту.

— Спасибо, Петухов. Ты правильно понимаешь мою миссию.

Металлические кружки звякнули, наступила тишина. Потом раздалось кряканье офицера.

— Очень хорошо, Петухов! — воскликнул он. — Ты можешь конкурировать с самым лучшим ресторан в Европе. Очень хорошо. Превосходная щука по-русски! Выпьем за хороший улов!

Офицер стал все более разговорчивым.

— Щука! — воодушевленно гремел он. — Моя любимая рыба! Щука — это хитрость, смелость и, как это говорится... жизнеспособность!

— Щука в реке что волк в лесу. Хищница, — вставил лесник.

— Хищница! — азартно подхватил офицер. — Хорошее русское слово — хищница! Щука — умный хищница. Она поедает всех слабых, всех неприспособленных, оставляет здоровых и сильных. Она дает им жизненное пространство!

— Есть русская пословица, — снова вставил лесник. — На то и щука в озере, чтобы карась не дремал.

— Это очень верно, Петухов! Щука никому не дает допускать лень. Карась больше плавает, лучше ест, быстрее растет. Щука имеет особая миссия. Ты согласен, Петухов?

— Согласен. И должен добавить, что щуки долго живут и достигают громадных размеров.

— О, это очень правильно. Я могу приводить удивительный факт. Есть великий немецкий император Фридрих Барбаросса. О, ты знаешь это имя, у тебя есть высшее образование. Барбаросса — наш великий предок. Итак, я начинаю рассказывать свой пример. Историческая щука Фридриха Барбароссы! Он пустил ее с кольцом в 1230 году в одно озеро возле Хейльбронна. А когда ее стали поймать, ты можешь догадываться? Через 267 лет. Ее рост имел шесть метров, а вес сто пятьдесят килограммов! Ты понимаешь, Петухов, это не есть сказка. Немцы сделали портрет этой великой щуки. Да, да, он висит замок Лаутерн. Скелет и кольцо хранятся в Мангейме. Это есть великолепный факт. История больше не знает такой чудо!

— Это действительно чудо, господин майор.

— Но хватит о щуках, будем переходить к людям. У нас, немцев, тоже особая миссия. Мы пришли в твой дом. Но мы хотим его оздоравливать. Мы хотим выполнять роль регулятора.

— Как щука в озере?

— Ты молодец, Петухов. Ты можешь говорить свое мнение. Ты смелый человек. Это лучше, чем как это говорится...

— Подхалим?

— Да, да, подхалим! Ты наш друг, Петухов. Германии нужно иметь много друзей. Моя программа: иметь меньше врагов, иметь больше друзей. В Гродно комендант имел другой программа. Много расстрелять, много повешать. Где теперь этот комендант? Скажи, Петухов, где теперь этот комендант?

— На том свете?

— Ты очень мудрый мужик, очень. Нужна гибкая тактика. Нужно для каждый русский замок подобрать, как это говорится... немецкий ключик. Это очень трудно, Петухов. Но зато немцы получают много друзья и совсем мало врагов. Рабы любят восставать. Не надо повторять человеку: ты раб. Пусть он будем думать, что он человек. У русских есть хорошие качества: терпение, трудолюбие и, как это говорится... неприхотливость. У немцев есть великолепные качества: ум, практичность, точность. Надо соединять эти качества, и тогда великая Германия станет непобедимой!

Голоса внизу то разносились по всей сторожке, то стихали. Больше говорил офицер, лесник же ограничивался тем, что в самый удобный момент вставлял какую-нибудь меткую фразу, каждый раз вызывая этим восхищение офицера. Что касается солдата, то он за все время не произнес ни одного слова, зато раскатисто смеялся, на лету подхватывая хохот офицера.

У меня было скверное состояние. Один раз леснику удалось отвести от нас опасность, но кто знает, не полезет ли Фриц снова на чердак? Чего доброго, офицер может приказать ему сделать это, и тогда уже отец Галины окажется бессильным. Что ж, все к лучшему в этом лучшем из миров, как любил говорить Яшка Жемчужников.

Мне не давал покоя один и тот же вопрос: если лесник знал, что мы скрываемся на чердаке, то какого же дьявола он прикатил сюда с немцами? И вообще, почему он так быстро нашел с ними общий язык?

А может, лесник отвлек солдата не ради того, чтобы спасти меня? Вероятно, он знает, что на чердаке прячется и его дочь. А если бы не было ее? Тогда он поступил бы так же или совсем иначе? И что, если прекратить всю эту комедию и уложить немцев — из одного ствола офицера, из другого — денщика?

— Скоро сядет солнце, — слышался громкий бас лесника. Он говорил внушительно, без лести и заискивания и, видимо, своим достоинством, умением держать себя внушал немцам уважение. — В наших лесах быстро темнеет. Целесообразно засветло доехать до города.

— Как это говорится... Петухов, а?

— Гости, гости, не надоели ли вам хозяева?

— Да, да! Но ты давал мудрый совет. Россия — страна

неожиданностей. Но здесь, где ты, Петухов, хозяин леса, тишина и порядок. Ты имеешь информацию о партизан?

— В наших лесах это исключено, господин майор. Здесь живут мирные люди, далекие от политики. Кроме того, им по душе немецкая культура, немецкие традиции. А если в лесах вдруг объявятся партизаны, я первый буду знать об этом. И вы, господин майор, можете быть уверены...

— Ты — великолепный человек, Петухов. Я принимаю решение всегда использовать твою помощь. Я хочу доверять тебе. Фриц, приготовить мотоцикл! Быстрее! Проводи меня, Петухов.

Когда за немцами захлопнулась дверь, разминая затекшие, онемевшие ноги, я сказал Галине:

— Ну и удружил нам твой папахен...

Не имеет значения, — равнодушно отозвалась она. — Лучше посмотри в окно.

Внизу, на поляне, где стоял мотоцикл, было темно, а выше, над деревьями, еще дрожали, постепенно затухая, багряные всплески заката. Фриц возился у мотоцикла, офицер разговаривал с лесником, то и дело взмахивая спиннинговым удищем.

Надеюсь, господин майор не забудет дороги в эти края, — сказал лесник. — Сейчас рыбалка, а осенью утки и особенно вальдшнепы.

— Вальдшнепы — моя страсть! — воскликнул офицер. — Но зачем ты сказал: осень? Осень я буду иметь назначение Москва. У меня есть большой друг. Он имеет высокий должность. Осенью Москва будет много вакантный должность. Ты приедешь ко мне в гости.

— С удовольствием, господин майор. В Подмоскowie тоже отменная охота.

Вот так майор! Уже и должность себе забронировал. Вроде для него переехать в Москву все равно что стакан вина выпить. А этот тип еще и поддакивает ему, в гости собирается! Я попытался представить себе немецкого майора где-нибудь у Большого театра или на Арбате, но у меня ничего не получилось.

— Может быть, проводить вас до города? — осведомился лесник.

— О нет, я уже хорошо изучил маршрут. Я даю тебе возможность иметь отдых, хозяин леса. Ты заслужил настоящий отдых. Ауфвидерзеен!

— Ауфвидерзеен! — откликнулся лесник, с готовностью пожимая руку майору.

Майор сел на сиденье, взялся за руль, с лихим изяществом, не оборачиваясь, козырнул. Солдат щелкнул предохранителем автомата. Мотоцикл взревел, круто развернулся и ошалело ринулся в заросли, метнув в лесника черно-синей струей выхлопного газа.

Лесник опустил на пенек, вынул из кармана большую трубку, набил ее табаком, жадно затянулся. Долго неподвижно сидел на одном месте, и, если бы не дымок, временами крошечным облачком взлетающий над его головой, можно было подумать, что он окаменел.

Быстро темнело. Лесник обернулся к сторожке и взмахнул рукой. Конечно же, он был уверен, что мы не спускаем с него глаз.

— Пошли, — сказала Галина. — Обо мне отцу — ни слова.

— Можешь не предупреждать, — обиделся я. — И вообще неизвестно, буду ли я с ним говорить.

— Будешь, — сказала она. — Куда же ты денешься?

Мы подошли к леснику. Он жестом пригласил сесть, мельком взглянув на ружье, которое я не выпускал из рук. Казалось, он не удивлен тем, что я уже на ногах. Лицо у него было добродушное, украинского типа, крупная лобастая голова крепко держалась на короткой массивной шее.

Сейчас придет подвода, — сказал лесник. — И мы поедем.

— Куда? — встрепнулся я.

Куда повезу.

— К чему эти загадки? — возмущился я.

Без эмоций, — тут же охладил он мой пыл. — У вас есть план?

План есть: разыскать товарища и пробиться к своим.

— Нереально, — отрезал он. — Не надо витать в облаках. Не надо закрывать глаза на правду. Наши войска отступают по всему фронту.

«Наши войска? Он сказал «наши»?» — пронеслось у меня в голове.

Лесник говорил негромко, спокойно, однако отдельные слова будто выстреливал. На лице появлялись, сменяя друг друга, противоречивые оттенки — то суровость, то

лукавство, то нежность, то хитроватая усмешка, мол, понимай, как знаешь.

— По-вашему, это конец? — спросил я.

— Щенок! — взревел лесник. — Запрещаю тебе произносить это поганое слово!

— Но я думал, что вы... — смутился и растерялся я.

— Если бы ты думал! — все еще сердито проворчал лесник.

— Что же нам делать?

— Что делать? — проворчал он, пряча трубку в карман. — Рыбалить. Охотиться. Смотреть на небо. Щук по-русски приготавливать. Ручку господину майору целовать.

Я не мог понять, шутит он или говорит всерьез. Хотел было спросить его, почему он отпустил этих немцев, а не укокошил их с нашей помощью, но удержался.

— Друга твоего как зовут? Антон? — неожиданно спросил лесник.

— Антон, — подтвердил я. — А что, вы его знаете?

— Немного знаю, — ответил он.

— Он жив?

— Да. И представь себе, скоро встанет на ноги.

— Где же он?

— Ты встретишься с ним сегодня. И тогда мы обсудим план. А пока — марш ужинать. Да поторапливайтесь.

Когда мы, поужинав, вернулись, лесник сказал подбrevшим голосом:

— Ну как щука по-русски? Вина не осталось. — И, положив сильную руку на растрепанные волосы Галины, спросил: — Ты что-то грустная, доча. Не захворала?

— Нет, — ответила Галина, и я хорошо видел, что она через силу улыbnулась.

— Значит, все хорошо?

— Да.

— Ну ладно, пошли.

Примерно в полукилометре от сторожки нас уже ожидала подвода. Опустив головы, кони дремали. Верткий мальчишка, услышав негромкое покашливание лесника, устремился к нему.

— Все в норме, дядя Максим.

— Поехали, — сказал лесник.

Галина помогла мне взобраться на телегу. Коня тронулись. Ветки часто задевали меня, а когда кони ускоря-



ли шаг, хлестали по лицу, будто я в чем-то провинился. И все же на душе было светло: впереди — встреча с Антоном. Нервное напряжение схлынуло, голова стала свежее, вечер в лесу обещал прохладу и покой. Хотелось, чтобы лошади шагали веселее.

Я еще не знал, что мы будем делать. «Рыбалить. Охотиться. Смотреть на небо» — вспомнились мне слова лесника.

Совсем стемнело. Высоко над лесом плыли звезды. Родные звезды, оказавшиеся вместе с нами в глубоком тылу врага.

Когда же вы станете свободными, звезды?

7

«Здравствуй, Лелька! Я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, и все же пишу тебе. И буду писать, буду складывать письма в свою полевую сумку. И если суждено нам встретиться, ты прочтешь их все до единого, от первой до последней строчки.

Ты знаешь, Лелька, раньше я думал, что война — это взрывы, гавканье минометов, это танк, утюжащий непокорный окоп, это хвост горящего самолета, перечеркнувшего сверху донизу весь небосвод. И что все люди, участвующие в борьбе с врагом, одинаково смелы и мужественны и не признают ничего, кроме открытой и честной схватки.

К счастью или к беде, все оказалось сложнее.

Ты, вероятно, скажешь: «К чему такой длинный заход — говори прямо!»

Не торопи меня, я скажу.

Когда на заставе начался бой, мы никак не могли привыкнуть к жертвам. Человек, с которым ты ходил в наряд, над которым подсмеивался или которым восхищался, лежит рядом с тобой, мгновение назад сраженный пулей, и уже никогда не встанет. А ведь он, этот человек, еще и не понял как следует, что это за штука — жизнь, еще и на звезды-то как следует не посмотрелся, а может, еще и девчонку ни разу не поцеловал.

Да, невозможно привыкнуть к человеческой смерти. Потом, чем сильнее разгорался бой, тем сильнее сглажи-

валась острота переживаний. Потери воспринимались как неизбежное. Естественны были и разрушенные дома, и задохнувшиеся в пламени деревья, естественны были истеричные крики женщин, дым пожарищ, тишина опустевших полей. В конце концов, человек привыкает ко всему.

И только к одному я не могу привыкнуть, с одним не могу смириться — с чувством разочарования в человеке, которому верил больше, чем самому себе, и который, как мне казалось, тоже верил в меня. Это разочарование возникает исподволь, и, борясь с ним, я пытаюсь опровергнуть все доводы, но оно разрастается, и от этого становится страшно...

Здесь, в партизанском отряде (тебя это удивляет?), Антон Снегирь (да, да, тот самый, которого ты, наверное, считаешь убитым) обещает мне помочь отыскать твой исчезнувший след. Правда, Антон (кстати, он командир нашего отряда) утверждает мне, что поиски эти практически обречены на неудачу, по крайней мере до конца войны, потому что тебя увезли немцы, да и у отряда много таких дел, которые куда важнее личной судьбы каждого из нас. И все же я не успокоюсь, пока не найду тебя. Ищущий — да найдет!»

Это писал я в июле. Писал не столько для Лельки, сколько для себя. Когда человеку не с кем отвести душу, он берется за перо и бумагу и наивно верит, что тот, к кому обращены его строки, сидит рядом, совсем близко. И слушает, и понимает, и разделяет его взгляды.

Когда я написал в письме слова «партизанский отряд», то, конечно же, преувеличил. Нас было вначале семеро: Антон, Галина, два бойца-артиллериста, оставшихся от разгромленной батареи, пехотинец Федор и мальчуган Борька. Но мы верили в предсказание Максима Петухова, что скоро начнем «обрастать», проявим себя, дадим знать о своем существовании практическими делами.

Максим Петухов, или, как мы стали звать его, Макс, разместил нас в заброшенной сторожке, в дальнем углу лесного массива. Мне не довелось побывать в Сибири, но я был убежден, что здешняя глухомань может соперничать с сибирской тайгой. Сосны нагнулись над домик со всех сторон, и среди этих великанов он казался малюткой, избушкой из русской сказки. Корневища деревьев круто и своевольно переплели землю, забрались под крыльцо,

под стены, и порой казалось, что еще немного — и они вздыбят домик и будут держать его на весу.

С первого дня Антон окрестил домик заставой, а потом, когда Макс предложил ему взять на себя командование отрядом, стал заводить здесь самые настоящие пограничные порядки. Он считал, что это будет дисциплинировать людей, приучит к суровому образу жизни и обеспечит успех в любой схватке с немцами.

Вначале мы осваивались на новом месте. Месяц показался нам годом. Каждую ночь отходили все дальше от своей стоянки, изучали лесной массив, учились ориентироваться без компаса, бесшумно растворялись в ночи. Мы как бы примеряли карту района к местности, выбирали наиболее удобные, близкие пути к коммуникациям, к селам, расположенным в радиусе наших будущих действий. Макс пробыл с нами всего двое суток. Он поставил задачу освоиться с лесом, изучить подрывное дело и сказал, что через своих людей будет время от времени посылать в отряд пополнение, взрывчатку и продовольствие. Макс подробно объяснил, как мы сможем узнавать его людей, которые придут к нам, и сказал, что скоро даст первое боевое задание, что времени на раскачку — в обрез. Главной мишенью будет, скорее всего, магистральное шоссе, пересекавшее лес в районе нашей бывшей заставы, и город, находившийся от нас в пятнадцати километрах. Антону и мне Макс рассказал, что немецкий майор, которого он привозил на рыбалку и угощал в своей сторожке, — начальник ортскомендатуры и что связь с ним имеет огромное значение. Майор — его звали Шмигелем — заядлый охотник и рыболов, а где как не на охоте или рыбалке у человека особенно развязывается язык. Макс сумел уже завоевать расположение майора и намеревался еще основательнее познакомиться с ним.

— Если это удастся, — сказал Макс, — будем считать, что у нашего отряда есть надежный шеф.

Ядро отряда подобралось неплохое. Не очень-то скромно говорить о себе, но и Антон, и я как-никак получили боевую закалку еще на заставе. Не из робкого десятка и Галина.

Артиллеристы чувствовали себя без орудий неприкаянно и без конца надоедали Антону своими предложениями раздобыть для отряда хотя бы сорокапятку. Антон доказывал им, что в таком лесу орудие — обуза, да и где к

нему достанешь снаряды, но это мало утешало артиллеристов. Уж больно привыкли они к своим орудиям, и теперь в их жизни недоставало самого главного.

Одного из них звали Гришей Некипеловым. Это был очень высокий, кряжистый, по-медвежьи неуклюжий парень, мурманчанин, из рыбацкой семьи. С люльки привыкший питаться треской, он называл ее ласково, даже нежно, «тресочка» и горько сетовал на то, что в здешних реках не водится эта северная рыба. Человек он был по натуре угрюмый, нелюдимый, такой же, наверное, как его родные края. Кожа на лице — плотная, темноватая, как примороженная, под глубоко запавшими, затаившими тоску глазами — черные ободья, на крепком лбу, точно трещины на камне, зияли черные извилины морщин. Часами он мог молчать, но стоило его «завести» — слова начинали вырываться, как вода из расщелины. И так же стремительно, враз умолкал. Руки у Некипелова были длинные, тонкие, но крепкие, с широкими ладонями и грубыми жесткими пальцами. Можно было представить, как он брал ими за правило орудия и легко разводил в сторону массивную станину, не прибегая к чьей-либо помощи. Антон сразу же прикинул, что Некипелов будет незаменим там, где потребуется тяжелый физический труд.

Напарник Некипелова — Вася Волчанский — молодцеватый, розовощекий, с пухлыми щеками, без единой морщинки, ну прямо амурчик. Его любимым занятием было подтрунивать над Некипеловым. Он буквально жил этим. И если удавалось вывести Некипелова из равновесия, у него появлялось чудесное настроение, он от души хохотал, лицо, и без того розовое, пламенело. Он в открытую говорил, что если бы Некипелов не «заводился», то он, Волчанский, сдох бы от скуки.

И все же они были неразлучными друзьями, их невозможно было представить друг без друга. И Антон знал, что на задание их надо посылать обязательно вдвоем.

Федор Филюшин отрекомендовался бывшим пехотинцем. Это был расторопный весельчак, умевший быстро находить общий язык со всеми. Он хвастался, что не одна девка сохла по нему. Федор все время находил себе работу: возился с автоматом, колол дрова, приносил с озера рыбу, смазывал колеса у телеги, водил с Борькой купать лошадей. Да и сам Борька нигде не отставал от Федора.

Мать и отец мальчугана погибли во время бомбежки, и Федор как бы заменял ему отца, хотя я никогда не видел, чтобы он приласкал мальчика.

Итак, мы готовились к первому боевому заданию. И надо же было случиться, что именно в эти дни я узнал о событии, которое так или иначе должно было наложить свой отпечаток на нашу жизнь и на наши взаимоотношения.

Еще в то утро, когда Макс привез нас в дальнюю столовую, Антон сразу же посмотрел на Галину как-то по-особенному. Сколько я знал Антона, он никогда не смотрел ни на одну девушку именно так. Суровость на его лице тут же сменилась радостью и удивлением. Галина тоже ощутила на себе этот взгляд: сделалась растерянной, жалкой и, словно борясь с этой внезапной растерянностью, что-то грубо и невпопад ответила Волчанскому.

Я понял, что Антон вдруг открыл для себя что-то новое, неизведанное, волнующее и что это неожиданное открытие принесет ему и мучения, и радость и теперь-то уж, наверное, он сможет понять и мои чувства. Во всяком случае, не станет обвинять меня или утверждать, что я слепец.

Антон всячески старался подчеркнуть, что Галина для него такой же боец отряда, как и все остальные. Распоряжения он отдавал ей официально, называя по фамилии, не делал никаких скидок ни в дежурстве, ни в хозяйственных делах. Да и сама Галина, я был убежден, воспротивилась бы любой поблажке, любой попытке как-то выделить ее среди других или облегчить жизнь в отряде. Единственное, что он сделал для нее, — это поселил отдельно, в маленькой каморке, в которой до этого жил сам.

Наверное, я так ничего и не узнал бы о взаимоотношениях Антона и Галины, если бы она сама не рассказала мне об этом.

Произошло это незадолго до того, как от Макса прибыл связной с заданием взорвать мост на шоссе. Заодно он пополнил наши скудные запасы взрывчатки, привез кое-что из продуктов и сообщил о положении на фронте. Новости с фронта не радовали: наши сдавали один город за другим и немцы злоеще надвигались на Москву.

В тот день на лес обрушилась гроза. Она свирепо протесывала лесную глухомань, словно не было для нее

ничего ненавистнее старых высоких сосен. Воздух был сухой, и казалось, что то тут, то там с сухим старческим стоном валяются на землю деревья. Потом гигантским хлыстом по лесу наотмашь ударил ливень. Вершины сосен и берез мгновенно вымокли, но внизу, у стволов, все еще было сухо.

Мы сидели в сторожке, укрывшись от дождя. Казалось, наш деревянный домишко вот-вот вспыхнет и будет пылать так же быстро и ярко, как береста. Гром взрывными волнами накатывался на вершины деревьев, сляясь пригнать их к земле. Молнии сразу на полнеба выплескивали свои расплавленные потоки.

Мне захотелось выйти на крыльцо. Слишком уж тесной показалась сторожка.

— Пойду посмотрю, не отвязались ли кони, — сказал я Антону, чтобы как-то оправдать свое желание отлучиться и побыть на воздухе.

Он кивнул мне, не отрываясь от карты. Вместе со связным Родионом, стремительным, непоседливым парнем, они уточняли расположение моста и подходы к нему.

Уже с крыльца я увидел Галину. Она стояла, прислонившись спиной к стволу сосны, в легком ситцевом платье и с детским любопытством безбоязненно смотрела на небо. Время от времени она вздымала руки над головой, словно просила, чтобы молнии достали до земли, чтобы можно было прикоснуться к ним и узнать, действительно ли они горячи или они — лишь видимость, отблеск былого огня.

Я подошел. Галина даже не взглянула на меня.

— Не боишься?

— Уходи.

Она приставила маленькую ладонь к стволу. Ладонь тут же наполнилась мутноватой водой.

Я молча направился к коновязи, стараясь идти там, где деревья не заслоняли дождя.

— Подожди! — крикнула Галина.

Я остановился.

Вернись, — попросила она, видя, что я стою и не решаюсь подойти.

— Что тебе?

— Кажется, утихает, — разочарованно сказала Галина, всматриваясь в небо.

— Да, утихает, — подтвердил я, все еще не понимая, почему она попросила меня вернуться.

— Антон хочет, чтобы я стала его женой, — как о чем-то обычном и несущественном сказала Галина.

— Женой?

— Да.

— А ты?

— Я сказала, что согласна.

— Согласна?!

— Тебя это возмущает? Все правильно. Я так и знала.

— Ничего не понимаю.

— Ты все понимаешь. Не беспокойся, я сказала ему, что это невозможно. Только не смогла признаться. Осуждай меня, но не смогла. Сказала, что пока идет война... Да и какой из него будет командир отряда, если у него — жена, дети... — Она вздрогнула и тут же взяла себя в руки. — В общем, не имеет значения.

Она говорила и водила мокрыми пальцами босой ноги по крохотной лужице, в которой беспомощно плавали хвоянки. Эта нога с маленькой широковатой ступней вызвала во мне щемящее воспоминание о Лельке.

Да, это было похоже на Антона — вот так внезапно поставить вопрос ребром. Значит, я не ошибся, поняв по его взгляду, что он, что называется, с ходу влюбился в Галину. Но он же ничего не знает о том, что произошло с ней, и, конечно же, без всякого умысла обидел ее.

Я пытался найти слова, которые должен сказать и которые бы поддержали ее. Таких слов не было.

— Антон — хороший парень, — наконец выдавил я. — Настоящий.

— Знаю, — сказала Галина. — Не будем об этом. Я просила его послать меня на задание.

— А он?

— Сказал, что согласен. И что если бы я стала его женой, то все равно послал бы, раз это надо.

Я тоже пойду взрывать мост, — сказал я. — И хорошо, что ты будешь с нами. Честное слово, Федор и Борька отлично справятся с охраной сторожки.

К выходу на задание мы готовились тщательно. Еще бы! От того, увенчается ли оно успехом или окончится неудачей, зависело наше право считать себя боевой еди-

ницей подпольного райкома партии, который возглавлял Макс. И самое главное: в тех самых краях, которые стали для немцев глубоким тылом и где, по их убеждению, воцарились спокойствие и лояльность к «новому порядку», здесь, в лесной тиши, нарушаемой лишь звучными всхлистами птичьих крыльев, должен был прогреметь этот взрыв как доказательство того, что народ не смирился и готов вести борьбу до конца.

Тренировки проводили на мостике, переброшенном через канаву, в километре от стоянки. Антон пришел на заставу из саперного подразделения и потому хорошо знал подрывное дело. Теперь это было как нельзя кстати. Он увлеченно учил нас, в каком месте нужно закладывать взрывчатку, чтобы ферма моста обязательно распроцалась с опорой и рухнула вниз, как присоединять к толovým шашкам бикфордов шнур, где лучше укрыться от взрыва и как отходить после выполнения задания, чтобы перепутать все карты противнику.

Мы еще и в глаза не видели моста, который нам предстояло взорвать, но уже рисовали его в своем воображении.

Подготовка к выходу шла организованно, без рывков. Эту спокойную, деловую атмосферу создавало и то, что мы хотели как можно лучше провести операцию, и то, что слово Антона было для нас непререкаемым.

Беспокоило лишь одно: в то время как взрывчатки было почти достаточно, чтобы вывести мост из строя, бикфордова шнура оказалось мало — чуть побольше четырех метров. Хватит ли? Ведь высота опоры почти три метра. Кроме того, в нашем распоряжении было всего два детонатора. Один мы должны были приспособить на конец детонирующего шнура в пакет с толом, другой — на пороховой шнур. А как же вызвать детонацию? Судили, рядили и решили взрывать так: весь тол, упакованный в куски парашютного материала по пять килограммов в пачке, заложить в опору, последнюю пачку снарядить детонирующим шнуром с детонатором на конце, другой конец шнура обмотать вокруг толовой шашки, которая и должна будет выполнить роль промежуточного усилителя детонации. В шашке, как это делается при обычном минировании, закрепляется пороховой шнур с детонатором.

Главное — на какой высоте окажется этот промежуточный усилитель. Порохового шнура у нас было всего



сантиметров тридцать, не больше, а это значило, что после поджога в нашем распоряжении будет приблизительно тридцать секунд, чтобы уйти от места взрыва в укрытие. А уходить нужно по топкому берегу. В такой обстановке можно оказаться в зоне взрывной волны.

Были и другие сомнения. Ведь в случае неудачи мы не сможем повторить взрыв: немцы выставят охрану и к мосту не подберешься.

Родион настоятельно советовал не рисковать и заверял, что Макс распорядится отложить взрыв. Но Антон упрямылся, говорил, что не хочет больше ни одного дня быть в положении человека, который до сих пор палец о палец не ударил, чтобы помочь фронту.

— Каждый кусок хлеба стоит у меня поперек горла, — злился Антон. — Взрывать — и весь разговор.

Что и говорить, цель была заманчивая. Выведенный из строя мост приостановил бы переброску военной техники и грузов к фронту, и немцам пришлось бы либо срочно восстанавливать его, либо строить новый.

Родион спорил с Антоном, и в конце концов сошлись на том, чтобы кого-то из нас послать в город к человеку, которому было поручено заниматься материальным обеспечением партизанских отрядов. Это задержит взрыв на сутки, пусть на двое суток, не больше.

Когда Антон собрал всех нас и рассказал, в чем дело, раздался голос Галины:

— Пойду я. Хорошо знаю город.

Нет, — воспротивился Антон. — Могут встретиться знакомые.

— Сказала — сделаю, значит, все.

И когда Антон, грустно и укоризненно посмотрев на нее, все же согласился, Галина ожила, повеселела.

Проводить ее до развилки тропинок пошел Антон.

— По пути проинструктирую, — как бы оправдываясь перед нами, хмуро пробормотал он.

И они пошли: впереди, прихрамывая, шел Антон, за ним — Галина в цветастом платье, босиком. Туфли, связанные веревочкой, болтались на палке, перекинутой через плечо.

Мы смотрели вслед. Солнце еще не спряталось. Цветы на платье Галины то ярко вспыхивали, то, попадая в тень, меркли, линяли.

— Сам пошел, — глядя на них, сказал Федор. И, слов-

но поняв, что в этих словах уж слишком явно про-  
ступает зависть, поспешно добавил: — Хоть командир, а  
простяк.

Федор и до этого часто хвалил Антона, подмечая в нем  
то одну, то другую положительную черту. Правда, делал  
он это всегда в отсутствие Антона, и никто не смог бы  
упрекнуть его в подхалимаже. Но, конечно, его слова нет-  
нет да и доходили до Антона.

— Сам! — весело и беззлобно передразнил Федора  
Волчанский. — Наивняк ты, Федор, ей-бо.

Это «ей-бо» было настоящим бедствием Волчанского.  
Оказывается, он когда-то то и дело вставлял в свою речь  
ядренные словечки, его стали пробирать за это и дома, и  
«по линии общественности». И он «перековался», начисто  
выкинул их из своего лексикона. Образовавшуюся пусто-  
ту он и заполнил этим самым «ей-бо».

— В мозгу человека примерно пятнадцать миллиардов  
нервных клеток, — неожиданно выпалил Некипелов, — а  
у тебя, Волчанский, это число разделено на два.

Волчанскому только это и нужно было.

— Завелся, ей-бо, завелся! — восхищенно вскричал  
он. — Завидки берут, что не тебя послали провожать? Так  
тебя до таких ответственных дел на пушечный выстрел  
нельзя допускать. Ты же, ей-бо, так проинструктируешь...

— Дурак ты набитый, — взорвался Некипелов.

— Прежде чем болтать, подумай, — поддержал его  
Федор.

— Вот еще, пошутить нельзя, — без всякой обиды ог-  
рызнулся Волчанский. — Ну вас в болото.

— А что ты о ней знаешь, о Галине? — спросил Не-  
кипелов. — И чего швыряешься такими словами?

— Ну вы, ей-бо, уже сгустили краски. Вы думаете,  
я зря? Ходил он к ней ночью. Сам видел.

— Кончай травить, — сказал Некипелов.

— А чем, ей-бо, плохо? — не унимался Волчанский. —  
Взорвем мост и закатым свадьбу. В лесу! Деваха она, ей-  
бо, с особой точкой наводки!

Антон вернулся в сумерки. Мы сидели у маленького  
костра и ждали, когда сварится уха. Как раз к его при-  
ходу Волчанскому снова удалось «завести» Некипелова.  
Волчанский язвил по поводу того, что, пока он, Некипе-  
лов, ждет здесь, в лесу, ужин, там, на севере, немцы, мо-  
жет быть, уже подбираются к его Мурманску.

— А кто виноват? — тут же вскинулся Некипелов. — Тебя как учили? Бить врага на его территории! С себя вины не снимаю. Но только в одном: что не погиб вместе с пушкой. Каюсь. Но разве только во мне одно дело? Ты вот скажи: когда наш арtpолк к границе перебросили? Счита́й, в конце мая. А есть такие полки, что из эшелона носа не успели высунуть — их немец в дороге разбомбил. Спроси пограничника, — кивнул на меня Некипелов, — пусть скажет, когда они почуяли, что война будет? А как мы к этому подготовились? Речами да песнями? «Полетит самолет, застрочит пулемет...» Почему они оказались отобилизованы, а мы нет? Вот сейчас говорят: внезапно напали, в этом вся беда. Да если бы мы были наготове, от всей его внезапности один пшик получился бы. Как двинули бы по рылу — и полный порядок.

— Ты это к чему? — прогремел вдруг похолодевшим, пугающим своей отчужденностью голосом Антон. Все, кроме Некипелова, обернулись к нему.

— Я по-русски говорил, — нахохлился Некипелов.

— По-русски, да на немецкий лад!

— Правду говорю. И никто не запретит. Кому хочешь скажу: должны были предвидеть в верхах, там, в Москве.

— Да ты... в своем уме? — прошептал Антон, и стало понятно, что теперь уже это добром не кончится. — Да с его именем в атаку... На смерть...

— В атаку и я ходил с его именем, — спокойно сказал Некипелов. — И еще пойду.

— Никуда ты не пойдешь, сволочь! — взревел Антон, и в руке его мутно блеснул пистолет. — Отряд хочешь разложить?

Некипелов подчеркнуто сдержанно снял ложкой пену с закипевшей ухи, плеснул ее в огонь. Волчанский подскочил к Антону, схватил за руку.

— Встать! — заорал Антон.

Некипелов встал, послушно повернулся к Антону.

— Отстраняю... и весь разговор, — уже не так гневно проговорил Антон, опустив пистолет. — С такими настроениями...

— Отстраняешь? — тихо спросил Некипелов. — От земли ты меня не отстранишь. Или на ней, или в ней. Другого не придумаешь.

— Философ! — презрительно сказал Антон. — Ну, пофилософствуй!

И он пошел к сторожке. Задержавшись на крыльце, бросил в темноту:

— После ужина — отбой!

Невеселым был у нас вечер. Даже Волчанский приумолк и лишь изредка, непонятно в связи с чем, ронял: «Ну, ей-бо». Может, по той причине, что обжигал язык слишком горячим варевом.

По настроению ребят чувствовалось, что среди нас нет таких, кто бы прямо стал на сторону Некипелова и разделял его мнение. Уже хотя бы потому, что он своей критикой задел человека, стоявшего вне всякой критики и, как мы были глубоко убеждены, не способного ошибаться. Слова Некипелова выглядели кощунственно, и потому нельзя было не присоединиться к возмущению Антона. Несомненно, вопрос «почему мы отступаем?» все больше не давал покоя. Но никто, подобно Некипелову, не посмел бы высказать такую мысль, какую высказал он. Ибо сама по себе эта мысль противоречила бы той вере в исключительность великого человека, которая жила в нас с той поры, как мы научились кое-что понимать в жизни. И потому во всех случаях, когда речь шла о неудачах наших войск, мы не связывали это с его именем. Ошибаться и допускать просчеты могли все, но только не он. Мы высказывали самые различные предположения о причинах отхода. Но чтобы сказать так, как сказал Некипелов...

После ужина я заступил на дежурство. Лишь стволы ближних деревьев угадывались в темноте. Лес неразличимо слился с ночью. Было очень тихо, даже мои осторожные шаги вспугивали затаившуюся тишину. Временами я останавливался, прислушивался. Совсем рядом спали мои товарищи, и сознание, что они рядом, помогало справиться с тоскливым настроением.

Сколько бы раз я ни дежурил, как бы ни старался думать о войне, о нашем отряде, о предстоящих делах, все равно в какой-то неуловимый момент мысли сменялись думами о Лельке.

Я снова и снова думал о том, как было бы чудесно, если бы Лелька была здесь, в отряде. Вместе с нами она пошла бы взрывать мост, делила бы радость и горе, все было бы ясно и определено.

Я ходил, мысленно говорил с Лелькой, и стало легче.

Была уже полночь — это было видно по звездам, — когда, выйдя из-за угла, я едва не столкнулся с Антоном. Красноватый уголек самокрутки попыхивал у него в зубах.

— Не спится? — спросил я.

— Смотри в оба, — вместо ответа предупредил Антон.

— А что?

— Что, что, — недовольно пробурчал он. — Смоется, подлец, и весь разговор.

— Кто?

— Ты что, глухой? Или ослеп? — И Антон, наклонившись ко мне, прошептал: — Некипелов, вот кто.

— Ты думаешь? — неуверенно спросил я. — Куда же он может сбежать?

— Такие на все способны. А я считал его надежным, притупил бдительность. Хорошо еще, что сам раскололся.

— Волчанский рассказывал, что Некипелов один остался у пушки. И не уходил, пока не кончились снаряды. И утопил затвор. Чтобы немцы из пушки стрелять не могли.

— Волчанский! — рассердился Антон. — Тоже мне, авторитет! Он тебе расскажет, расставляй уши.

Я не стал спорить. Пусть успокоится, тем более что после разговора с Некипеловым мне была понятна его злость и тревога. Спросил только:

Ты что же, твердо решил не брать Некипелова?

— Я не меняю своих решений, — отрезал Антон.

Мы помолчали. К земле, раскалясь добела, неудержимо мчалась падучая звезда. Мчалась так стремительно, словно не могла прожить без земли ни одного мгновения. Но, не долетев, бесследно растаяла в черном небе.

— А надеялась долететь, — сказал я.

— Сейчас не до лирики, — угрюмо откликнулся Антон.

— Что с Галиной? Неужели...

— Кто его знает? — торопливо спросил Антон, не дождавшись, пока я выскажу свое предположение. И тут же в его голосе послышалась другая интонация: — Кто его знает...

— Ты что? Сомневаешься?

— Никому нельзя верить! — вдруг иступленно, громким шепотом, задыхаясь, проговорил он, схватившись руками за ремень моего карабина. — Нельзя, и весь разговор!

Весь день мы ждали Макса, но он так и не приехал. Не вернулась и Галина, хотя по времени ей уже пора было возвратиться. Антон ходил хмурый. Табак у нас вышел, и он до одури накурился сухих березовых листьев.

К вечеру и он не выдержал. Собрал нас и объявил решение: идти на задание. Тем более что именно на эту ночь Макс назначил взрыв моста, а каких-либо сообщений от него о возможных изменениях не поступило. Значит, именно сегодня он увез Шмигеля и его помощников на рыбалку куда-нибудь подальше от города, чтобы отвлечь их.

Мы выслушали Антона молча. Ни слова не промолвил и Некипелов, когда Антон приказал ему выйти из строя и остаться в сторожке. Но в глазах его можно было прочесть тоску.

На задание отправились вчетвером: Антон, Волчапский, Родион и я. Конечно же, пятый участник группы был бы очень кстати, но никто так и не решился вступить за Некипелова.

Пришлось торопиться: путь не близкий, рассвет рано прогонял ночь, а нужно было во что бы то ни стало все закончить в темноте.

Наблюдать за Некипеловым Антон поручил Федору.

Борька проводил нас до озера и долго завистливо смотрел вслед, пока нас не поглотили камышовые заросли.

Солнце уже давно нырнуло в густые, вязкие облака, пошел дождь. Он был какой-то плаксивый, жалобный, не утихая сыпался на деревья, и они тоже приняли сиротливый вид, смирились с тем, что дождь, по всей видимости, наладился до самого утра.

— Порядок, — сказал Антон на одном из коротких привалов. — Луны не будет. Природа за нас!

Идти становилось все труднее. Солнце не везде успело подсушить почву, и мелкий вьедливый дождь норовил размыть тропу. К тому же кроме оружия каждый нес по несколько пачек тола. И если сосны беспрепятственно пропускали нас, то березы все время старались перегордить путь мокрыми ветками. Особенно вредничал осинник. Мелкий и частый, он то и дело досаждал нам.

Все, что ни делает человек впервые в жизни, так или иначе пугает неопределенностью. Кажется, все было у

нас: и взрывчатка, и желание взорвать мост. Не было только опыта, и потому в глубине души каждый спрашивал себя: «Сможем ли?»

Одно обстоятельство играло на руку: подобных диверсий в этих краях, как утверждал Макс, еще не было и немцы чувствовали себя спокойно. Поэтому мост не охранялся.

Антон вел уверенно, будто всю жизнь ходил по этому маршруту. Был он по-прежнему сдержан, неразговорчив, хмур. Больше всего меня удивляло то, что даже чувство к Галине не отразилось на его поведении. А казалось бы, должно было повлиять: ведь оно, это чувство, родилось так внезапно. Как я завидовал его умению сдерживать себя, подчинить волю определенной цели, способности не размагничиваться, какие бы выкрутасы ни выделявала судьба! Как раз тому, чего часто недоставало мне. Завидовал, хотя и понимал, что характер у Антона в чем-то односторонен, по-своему обеднен, что ему не помешала бы, пусть едва уловимая, нотка душевности, мягкости, а может быть, и лиричности.

Мои отношения с Антоном остались прежними, такими же, какими они сложились в свое время на заставе. Только зачем он скрыл от меня свою любовь к Галине? Ведь я с ним всегда был откровенен, порой чуть ли не исповедовался. И вправе был ожидать откровенности и от него.

Я думал о Некипелове. Антон поступил жестоко, но, как мне казалось, справедливо. Правда, после того памятного разговора, когда он ополчился на Некипелова, Волчанский убеждал командира, что Григорий «свой в доску», и предлагал взять его на задание. Антон покосился на него, и Волчанский осекся. Я едва удержался, чтобы не встать на сторону Волчанского, но тут же прикусил язык, подумав о том, что проверять человека, в надежности которого есть сомнения, на таком ответственном задании слишком уж большой и ничем не оправданный риск.

Чем ближе подходили к шоссе, тем больше вспоминал я Лельку. И верилось, что, где бы она ни была — в этих лесах, которым нет ни конца ни края, или где-то под Смоленском, где теперь, как сообщил нам Родион, шли ожесточенные бои, — все равно мы встретимся.

Никогда еще в своей жизни я не взрывал мостов, но очень хотелось, чтобы меня увидела Лелька и поняла, что

нельзя смиряться, нельзя дарить улыбки тем, кто пришел к нам с огнем и мечом.

Лес кончился неожиданно. Шоссе угадывалось по запаху мокрого асфальта и бензина. Теперь Антон намеревался пройти километра два вдоль дороги, чтобы запутать следы. Немного передохнув, мы устремились к мосту. Главное, чтобы рассвет не опередил!

И вот он предстал перед глазами — мост, перекинувший свое железобетонное тело через широкий овраг, по которому в топких берегах почти неслышно тек ручей. Мост смутно прорисовывался в дождливой темноте. Казалось, внизу, под ним, — черная бездонная пропасть: брось камень — и не услышишь ответа.

На опушку леса, в непосредственной близости от моста, мы выходили по одному. Дождь скрадывал осторожные шаги.

Вскоре все уже были вместе и лежали на мокрой земле, вымокшие, разгоряченные утомительной ходьбой. От ручья, от пахнущих гнилыми листьями берегов потянуло пронизывающим холодком. Лежать неподвижно было неприятно, да и в сапогах уже давно хлюпала вода. Скорее бы! Но нужно осмотреться, чтобы действовать наверняка.

К нашей радости, часового не обнаружили. Шоссе было почти пустынно, но незадолго до того, как мы вышли из укрытия, вдруг ожило. Со стороны границы к мосту быстро двигалась колонна машин. Сперва мы увидели расплывчатые, окруженные размытым, желтоватым ореолом пятна автомобильных фар. Свет, исходивший от них, тщетно пытался пробиться через плотную дождевую завесу, потом донесся приглушенный гул моторов. Машины все ближе и ближе — и вот уже мчатся по мосту.

Эх, мост, мост! Неужели тебе все равно, неужели безразлично, кому служишь?

Целая колонна вражеских машин! Сколько их? Одна... три... двенадцать! Что в них? Снаряды? Солдаты? Продукты, которые ждут полевые кухни? Зачем же ты пропустил эти машины, мост?

Каждый из нас заранее знал, что должен делать. Поэтому Антон не произнес ни слова. Он подал условный знак, похожий на криканье дикой утки, и первым начал спускаться в овраг. Выдерживая интервал в несколько шагов, мы последовали за командиром.



В овраге было темно, спускались медленно, на ощупь, скользя по мокрой глине, рискуя свалиться. Через несколько минут почувствовали себя спокойнее: если кто и появится там, наверху, все равно ничего не заподозрит.

Как и в лесу, я шел вслед за Антоном, то и дело хватаясь руками за колючие ветки кустарников. Мы прошли, наверное, шагов сто, как я почувствовал, что спуск кончился и сапоги погрузились в вязкий ил.

Я сделал еще несколько шагов и неожиданно наткнулся на Антона. Он жестом показал мне, что теперь нужно перейти ручей и добраться до каменного быка. Я передал сигнал шедшему сзади Волчанскому. Убедившись, что сигнал принят, Антон шагнул в ручей.

Ручей оказался глубже и шире, чем мы предполагали. Вода сразу же хлынула в голенища сапог. А, бог с ней, это еще не самое страшное. Вскоре мы выбрались на твердую каменистую землю — островок, на котором стояла неуклюжая и громоздкая опора моста.

Наконец-то цель достигнута! Теперь можно пощупать мост собственными руками. Все, за исключением Родиона, оставшегося на берегу ручья, чтобы в случае необходимости предупредить об опасности, выбрались на островок, вытащили из мешков пачки с толом. Прислушались: ничего, кроме монотонного шуршания дождя...

Мы приступили к делу. Антон стал лицом к опоре, я влез на его плечи. Мне предстояло ухватиться руками за верхнюю кромку опоры, забраться на нее и принять тол. Вслед за мной с помощью Волчанского на мост должен был залезть Антон. Он сделает все, что связано с детонирующим устройством.

И тут случилось непредвиденное. Я изо всех сил тянулся к выступу опоры, но тщетно: она оказалась выше, чем мы думали. Сделав несколько безуспешных попыток, я прыгнул вниз. Но очень неудачно: угодил в болото. Раздался громкий всплеск, брызги полетели от меня во все стороны.

Действуя как можно бесшумнее, я вылез из болота. Лицо было залеплено грязью. Противная скользкая жижа стекала за воротник гимнастерки. Я не видел в темноте лиц товарищей, но догадывался, что они готовы сейчас меня избить. И не удивительно: ведь шум мог выдать нас.

Затаив дыхание, вслушивались в темноту. Но кажется, все обошлось благополучно. На мосту не раздалось ни единого звука.

— Эх, — с сожалением прошептал Волчанский, — зря не взяли Некипелова. Он у нас самый высокий.

— Я здесь, — послышался негромкий голос с противоположной стороны опоры.

Я вздрогнул. Голос Некипелова! Как он сюда попал, как посмел нарушить приказ Антона? Как получилось, что мы даже не заметили, когда он проник к мосту, хотя и уши и глаза были, что называется, на взводе? И хотя именно эти вопросы, я убежден, возникли у всех, мы обрадовались. Некипелов сейчас был просто незаменим.

Но как отнесется к нему Антон? Неужели опять разыграет в нем упрямство?

— Разрешите? — прошептал Некипелов, вплотную подойдя к Антону.

Антон молча прижался к стене. Некипелов, такой с виду неуклюжий, даже громоздкий, в два приема очутился на верхней площадке опоры и уже протягивал руки за толком.

Он помог влезть на мост мне, потом мы втащили сюда же Антона.

Когда Антон уже почти завершил работу, послышалось тихое криканье утки: Родион сигнализировал об опасности. Мы притаились. Впереди, у поворота шоссе, мигнули два огонька. Машина! Ревя мотором, она промчалась по мосту.

— Слезайте, — негромко сказал Антон, когда все стихло.

— Разрешите мне, — попросил Некипелов.

— Втереться в доверие хочешь? — прошипел Антон.

— Разрешите, — повторил Некипелов.

Антон протянул ему спички.

Некипелов остался наверху.

Было условлено, что еще до того, как будет подожжен шнур, все участники нашей группы постараются подальше уйти от моста и в укрытии подождут того, кто сделает самое главное...

Выбравшись из оврага, мы залегли в канаве. Дождь совсем утих. Прошло несколько томительных, напряженных минут. Может быть, секунд.

И вот в кромешной тьме, там, где лишь угадывалась опора, вспыхнул крохотный красноватый язычок пламени.

Вспыхнул и тут же погас. Мы затаили дыхание. Там, наверное, зловеще шипел горящий шнур. Но нет, вскоре на мосту снова зажглась свичка и снова погасла.

Каждый раз, как только вспыхивал огонек, мне слышались слова Антона, произнесенные почти с таким же трескучим злорадным шипением, с каким горит шнур: «Втереться в доверие хочешь?»

Казалось, прошла вечность, а мост лежал над черной пастью оврага спокойно и тихо, готовый послушно принять на свою спину новые машины, новые грузы, новых солдат.

— Вот гад, — сказал Антон.

— Ты думаешь... — начал было я, но перебил Волчанский.

— Командир, у него, ей-бо, шнур не загорается. Намок.

— Фантазия, — сердито сказал Антон.

Не загорается шнур! Ну конечно же, не загорается. Видно, Антон не смог уберечь его от настырного дождя. Точно, вот снова беспокойным светлячком вспорхнул в темноте огонек, и снова тишина набатом ударила в уши.

А может, действительно прав Антон и Некипелов лишь делает вид, что пытается поджечь шнур, а сам тянет время и ждет, когда появятся немцы? Неужели чутье не подвело Антона, а мы оказались жалкими, доверчивыми и добренькими слепцами?

Но если и в самом деле не загорается шнур? И Некипелов после того, как спички гаснут одна за другой, его укорачивает? Наверное, останется всего ничего? Что тогда?

Я не успел ответить на этот вопрос. Огненный вихрь и адский грохот прижали к земле.

Мост ахнул и содрогнулся, как живой. Было в этом стоне и горькое, и радостное, чудилось, что он, внезапно вздыбленный и тут же низвергнутый, радуется своему избавлению и в то же время с раздирающей душу тоской прощается с жизнью.

— Здорово! — ошалело воскликнул Волчанский, едва стих шум и грохот взрыва. — Откат нормальный!

И вдруг судорожно схватил Антона за руку:

— Некипелов... Гришка Некипелов!

Мы долго ждали. Он не приходил. Спустились в овраг и, пренебрегая опасностью, включив фонарик, искали его. Увидели развороченную ферму моста, упрямо упер-

пуюся своим овальным носом в заболоченный берег оврага. Но ничто, даже разрушенный мост, не радовало нас. Некипелова так и не нашли. Одну только пилотку нашли...

Надвигался рассвет. Взрыв прокатился по всему лесному массиву, и рассчитывать на то, что немцы будут бездействовать, не приходилось. Мы не могли больше ни минуты задерживаться у моста.

Антон первым двинулся в лес. Я ожидал, что после случившегося он пойдет неровно, тяжело, как ходят люди, взвалившие на свои плечи непосильную тяжесть. Но он шел уверенно, упрugo.

Цепочкой вытянулись мы вслед за ним. Волнение так охватило меня, что я забыл переобуться. В сапогах хлюпала успевшая нагреться вода.

Я шел, а в уши, не переставая, с огненным шипением вползали одни и те же слова: «Втереться в доверие хочешь? Втереться в доверие... Втереться...»

10

Галина все еще не вернулась из города. И то, что она не возвращалась, и то, что из-за какого-то шнура погиб Некипелов, — все создавало обстановку тревоги и уныния. Даже гордость, что трудное задание выполнено, не могла побороть тревоги. К тому же за все это время не поступило никаких вестей от Макса. И хотя Антон даже прикрикивал на нас, нет-нет да и происходили досадные срывы: Волчанский уснул на посту, Федор вернулся с озера без рыбы, я забыл вычистить автомат и в канале ствола появилась сыпь.

Гибель Некипелова сильнее всех переживал Волчанский. Он сник, похудел, и румянец на щеках принял болезненный, какой-то неестественный вид. Уже никто не слышал веселых, порой разухабистых и даже циничных баек, которыми он обычно сыпал у костра, и даже свое излюбленное «ей-бо» произносил теперь не так сочно, как прежде.

Все время мы ожидали внезапного появления немцев. Правда, в то утро, когда кружным путем возвращались в сторожку, снова полил дождь и скрыл наши следы. Антон уверял, что гитлеровцы побоятся сунуться в глубь леса. Но кто знает?..

Я присматривался к Антону. Он, по-видимому, не мучил свою совесть упреками. Такой же сдержанный, невозмутимый, даже о Галине ни разу не вспомнил. Когда ему приходилось стать невольным свидетелем наших разговоров о гибели Некипелова, делал вид, будто к этому не имеет никакого отношения.

Трудно было понять, откуда Антон берет силы. Может, он считал, что в его положении иначе и не должно быть, а может, с первых минут войны подчинил себя мысли, что жертвы неизбежны. Или его захлестнули заботы, которые прибавлялись с каждым днем и от которых он, командир, не имел права отмахнуться.

А забот много. Ведь отряд волею обстоятельств оказался в таком глубоком тылу, что дальше и некуда. Надеяться не на кого! Легко сказать: отряд. Пусть даже маленький, и все равно, каким бы ни был, составляли его живые люди. Их надо кормить — вот тебе и проблема, никто же пока не собирался ставить нас на котловое довольствие. Людей надо одевать — никто не ожидал, что в один прекрасный день появится в сторожке этакий бывалый каптенармус и оденет каждого в полном соответствии с ростовкой и сроками носки. А наши гимнастерки уже прострели множественным разноцветных заплат, ботинки и сапоги нахально «просили каши». Но и это не все. Люди должны быть вооружены. К нам чуть ли не каждый день приходили «окруженцы» и местные жители. Чаще всего у местных кроме доброй суковатой палки, выломанной здесь же, в лесу, ничего из оружия не было.

А воспитание? Бойцов надо было держать в руках, тем более что некоторые на первых порах, как говорится, лезли в чужой монастырь со своим уставом, а паходились и такие, которые рассчитывали на вольготную жизнь, не стесненную железными рамками дисциплины.

Или взять размещение. Надо было где-то жить, а чем больше пополнялся отряд, тем теснее становилась сторожка. Конечно, летом каждый кустик почевать пустит, но нужно было смотреть вперед, помня, что скоро осень, а там и заморозки.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и то, что в отряд могли пробраться предатели, и если хлопать ушами, то произойдет непоправимое.

Трудностей много, и, конечно, никто из нас не стоял в стороне. В меру своих сил и возможностей мы помо-

гали Антопу, но все же главная тяжесть и ответственность лежала на нем.

Что касается питания, то здорово выручала рыба и «подножный корм». Рыбой отряд снабжал Федор, вместе с Борькой наладивший промысел на озере. Он раздобыл в селе сеть, смастерил переметы и никогда не возвращался без добычи. И удивительно — рыба не приедалась. Ее здорово приготавливал Федор. Он заворачивал непотрошеную рыбу в лопухи, клал в горячие угли костра, и через полчаса она запекалась. В ход шли и грибы, и малина, и съедобные травы, вроде гусиного лука и щавеля. Труднее — с хлебом и солью. Хлеб чаще всего заменяли вареной картошкой, а соль доставал Федор в ближних селах.

Особенно сложно было добыть оружие. Впрочем, Антон пытался искать выход и из этого положения.

— Зачем ты пришел к нам? — спрашивал он новичка.

— Чтобы бороться с фашистами, — отвечал тот.

— Чем? Кулаками? Палкой? Или теоретически — кричать «ура»?

— Оружием, — смущался новичок.

— Так, может, ты думаешь, что у нас подземный оружейный завод?

— Да нет...

— Вот и молодец. А сейчас — ауфвидерзеен, и весь разговор, — жестко говорил Антон. — Достань оружие — приходи, гостем будешь.

— Где же я достану?

— Тебе винтовку выдавали? Выдавали. Куда дел? Сумел потерять — сумей и найти.

Бывало, что уходил новичок после такого разговора, скитался где-то несколько дней, а потом возвращался с карабином или немецким автоматом. А бывало, уйдет — и поминай как звали.

Однажды у меня произошла короткая, но острая стычка с Антоном. Да и не могла не произойти.

Мы остались вдвоем у затухающего костра, и я заговорил о том, что меня все время мучило, не давало покоя. Я чувствовал — если не выскажу все Антону, то пойду против своей совести.

— Скажи, неужели у тебя нет души, — начал я. — Не хочу верить в это, мы с тобой друзья, но...

— О чем ты? — оставаясь неподвижным, перебил он, не глядя в мою сторону.

— О Некипелове. И о Галине.

— Прибавь сюда еще и Лельку, — спокойно посоветовал он.

— Да! — взорвался я. — И Лельку! Вспомни, что ты сказал Некипелову там, на мосту! Вспомни!

— Помню.

— И что сказал о Галине. И что сказал мне.

— А что я сказал тебе?

— Что никому нельзя верить!

— Идет война, — медленно, тягуче заговорил Антон, но постепенно голос его окреп. — Гибнут тысячи. И каждый из нас должен, не щадя жизни...

— А если Некипелов не взялся бы поджечь шнур, что тогда?

— Тогда поджег бы я. Или ты. Какая разница? Решил бороться — будь готов ко всему. И к смерти тоже. И весь разговор.

— Нет, не весь! — воскликнул я, негодуя на то, что Антон, прикрываясь правдой, все время уходит от этой самой правды, от того главного, ради чего я и начал разговор. — А твоя болезненная подозрительность? А твое отношение к судьбе Галины?

— Я командир. И не хочу быть беспечным. Не имею права. Мы живем в тылу врага. А что касается Галины, — Антон повысил голос, и видно было, как черный огонь лижет его глаза, — то это мое дело, и только мое!

Он сказал это горячо и таким тоном, будто я пытался отбить у него Галину. И все же он снова ушел, снова ушел...

— Значит, ты считаешь себя правым, — медленно и уже почти спокойно произнес я. — В таком случае не прав я. И потому не могу оставаться в твоём отряде.

— Ты решил твердо?

— Да.

— Хорошо. Выбор у тебя большой. Все четыре стороны света. Тебе дать компас?

— Запомни: ты мне больше не друг!

— Запомню.

Костер трещал, начал стрелять, словно туда сыпанули пороху: Антон подложил сухих еловых веток. Может, он собирался просидеть тут до утра?

Я решил переспать в сторожке, а утром уйти. Не один же отряд, наверное, сформировался в здешних краях.

А может, в конце концов удастся перейти линию фронта.

Казалось, ничто не заставит меня изменить принятое решение. И я ушел бы, если б утром следующего дня в отряд не вернулась Галина.

Она медленно, с трудом брела по тропинке, исхудавшая, почерневшая. Босые ноги были мокры от росы, в кровоподтеках.

— Здравствуйте, — тяжело опускаясь на пенек, произнесла она.

Мы было накинулись с вопросами, но Антон отогнал нас и, поддерживая ее за плечи, бережно повел в сторожку.

— Федор! — крикнул он. — Принеси завтрак! Живо!

Почти все свободные от работы ребята собрались на крыльце. Новенькие тоже успели узнать о том, что Галина пропала, и теперь, когда вернулась, хотели утолить любопытство.

Но на крыльцо вышел один Антон. Все выжидательно повернулись.

— Начать занятия, — распорядился он.

— А как Галина? — тут же высунулся Волчанский.

— Спит.

Лишь к вечеру просочились некоторые подробности о злоключениях Галины. Я терпеливо ждал встречи с ней, надеясь, что она сама все расскажет.

И не ошибся.

11

Совпало так, что за день до того, как Галина появилась в городе, немецкий жандарм на окраине одного из ближних сел задержал девушку. У нее оказались советский паспорт, выданный в Орше, и справка немецкого коменданта о том, что она работает на животноводческой ферме. Девушка заявила, что разыскивает родственников. Документы подозрений не вызвали, и жандарм отпустил ее.

На следующее утро из города примчался офицер гестапо. Он обрушился на жандарма с руганью, назвал его изменником и пригрозил расстрелом. Оказалось, что тот отпустил советскую парашютистку. Всю жандармерию немедленно подняли на ноги, и вечером девушка была схва-



чена в девяти километрах от села, где пыталась переправиться через реку.

В город гестаповец вернулся не один. Девушка, не выдержав пытки, показала место в лесу, где закопала парашют, питание для рации, пистолет, малую саперную лопатку и пакет с большой суммой немецких денег. Как гестаповцы ни издевались над ней, требуя назвать соучастников, она продолжала твердить, что была одна и больше никого не знает. Гестаповцы не поверили и начали рыскать по городу и окрестностям, надеясь обнаружить и выловить всю группу парашютистов.

Обо всем этом Галина, конечно, не знала. После того как Антон, последний раз поцеловав ее, остался у развилки тропинок, она ускорила шаг, боясь оглянуться назад. Галина загадала: оглянусь — будет неудача. А главное — думала, знала, что если хоть мельком посмотрит на Антона, который не спускает с нее глаз, то не сможет уйти.

И она не оглянулась. Антон очень ждал, надеялся, что она напоследок махнет ему рукой, но Галина поборола желание. Надо приучить себя к мысли о том, словно здесь, у развилки, где они расстались, не произошло ничего необычного. Так будет лучше и для него, и для нее. Нет, ей очень не хотелось уходить именно теперь, когда она поняла, что стала для Антона человеком, без которого он не сможет жить. Она увидела в нем натуру целеустремленную, склонную к крайностям. Или любовь, или ненависть — ничего иного, а тем более двойственного он не признавал. И Галина не ошиблась. Антон мог быть равнодушным к девушкам, мог даже открыто проявлять к ним неприязнь или же, напротив, совершенно неожиданно для других, а возможно, и для самого себя влюбиться в одну-единственную. Галина словно закрыла от него весь остальной мир. Она была еще очень молода и неопытна, но уже каким-то особым чутьем осознала, что люди с таким характером встречаются не так уж часто.

Галина шла по лесу, город был еще далеко, и можно было думать не о том, что ей предстояло сделать, а о том, что произошло здесь, в лесу, между ней и Антоном. Она понимала, что вместо радости ее ожидает горечь, которую почти невозможно вытравить из души. Антон был счастлив, целуя ее перед тем как расстаться, это она поняла по его глазам: их влажная чернота словно просвечи-

валась солнцем. И чем счастливее был Антон, чем изумленнее всматривался в ее лицо, ожидая прочесть на нем хотя бы отражение того счастья, которое переполняло его, тем больше ее охватывало щемящее чувство отчаяния, обиды и стыда. Она мысленно поклялась признаться ему во всем, рассказать о своей беде, но он так смотрел, так жадно ласкал и был так откровенно счастлив, что она не посмела сделать этого — не столько из-за себя, сколько из-за него. И то, что она не призналась, сделало ее беду еще более горькой. Только в ту минуту, когда они простились, Галина поняла, что лишь оттянула признание, что неизбежно придет день, когда расскажет ему все, ничего не утаивая.

Лес расступался перед ней. Казалось, не будет ему ни конца ни края. Когда Галина поняла, что теперь уже Антон, как бы ни старался, не сможет увидеть ее, прошла несколько шагов, с трудом отрывая от земли ноги, упала на траву и заплакала.

Давно уже не плакала она так долго и так горько. Никто не мешал ей хоть этим облегчить свои муки, только лес оставался мрачным и молчаливым свидетелем.

Наплакавшись, она медленно поднялась, старательно вытерла подолом платья глаза и лишь теперь увидела, что верхушки худосочных осин уже зовут к себе темноту, слышала настойчивый посвист птицы, словно приглашавшей разделить с ней удачно найденный удобный и приветливый ночлег.

Да, лес жил своей жизнью, и дыхание этой жизни передалось Галине, меняя ее настроение к лучшему и сосредоточивая мысли на том, ради чего она шла в город. Она окинула повеселевшим взглядом тропинку и ускорила шаг.

Антон советовал ей прийти в город не ночью, а утром. Ночью патрули стараются смотреть особенно зорко и слушать особенно чутко, а дневной свет ослабляет подозрительность. Галина согласилась и заранее решила, что если доберется до города раньше, чем кончится ночь, то подождет утра в лесу.

Предстоящая встреча с городом и радовала и страшила. Радовала потому, что это был город ее юности, знакомый до каждого переулка, до каждой скамеечки в парке, до каждого окошка в домах. Здесь она жила с мамой, которая теперь лежала на притулившемся к роще клад-

бище. Отец породнился с лесом и приезжал домой изредка, точно в командировку. После смерти матери он и вовсе «прописался» в лесу и говорил, что каждый раз, когда появляется в городе, заново переживает свое несчастье.

Это чувство передалось и Галине. Город для нее как бы разделился во времени на две половины: ту, которая была связана с мамой, и ту, которая уже существовала без нее. Тогда, при маме, здесь не было гитлеровцев, теперь они пришли сюда. Первое столкновение с ними в том селе, где она раздобыла соль, было для нее трагическим. Не станет ли такой новая встреча? И хотя она заранее решила, что выполнит все, что ей поручили, горечь и страх не исчезали.

Кто знает, если бы накануне по городу не пронеслись слухи о появлении парашютистов, среди которых, как объявили власти, есть и девушки, то вполне вероятно, что все обошлось бы.

Но получилось иначе. Вместе с восходом солнца Галина вошла на широкую, с невысохшими лужицами улицу и у самого рынка, где намеревалась затеряться в пестрой, разноголосой толпе, ее задержал патруль.

Она еще ничего не знала о поимке парашютистки и потому была спокойна, когда старший патруля — широко-скулый, с бесцветными глазами немец — потребовал предъявить документы. Второй патрульный — упитанный ефрейтор — лениво уставился на нее.

— Вы что, плохо выпались? — игриво спросила Галина. — Ну что за удовольствие проверять документы у каждого жителя? Право, вам пора пропустить по стаканчику и хорошенько закусить.

К ее удивлению, старший патруля даже не изменился в лице — оно оставалось таким же каменным и надменным. Галина поняла, что положение становится серьезнее, чем она была склонна считать.

Старший патруля в обычной обстановке, видимо, не стал бы тратить время, а пошел бы подкрепиться и отпустил бы красивую девушку, которая к тому же безбоязненно, даже лукаво смотрела на него. Но он получил приказание не полагаться на собственное чутье и всех мало-мальски подозрительных доставлять для более тщательной проверки в комендатуру. А Галина была для него подозрительной уже хотя бы потому, что напоминала ему ту девушку, которую схватили вчера.

— Парашют?! — вдруг выкрикнул он, уставившись на Галину немигающими глазами, словно проверяя воздействие своих слов.

— Да что вы! — усмехнулась Галина, стараясь сохранить спокойствие. — Учтите, над вами просто посмеются.

— Замолчать, — с легкой досадой в голосе сказал старший патруля, у которого женское многословие всегда вызывало раздражение. — Вы будете показывать свой дом.

— О, конечно! — оживленно воскликнула Галина, радуясь тому, что патруль не сразу поведет в комендатуру, а также внезапно представившейся возможности хоть одним глазочком взглянуть на свое бывшее гнездо.

Дом, в котором они когда-то жили счастливой дружной семьей, был поблизости, но Галина, чтобы оттянуть время, вела патрульных переулками. Она шла впереди немцев беспечной, непринужденной походкой. Платье ее было измято, туфли одеты на босу ногу, и кое-где на крепких, будто точеных, лодыжках виднелись царапины — следы колючих веток.

Еще квартал — и дом, родной дом. И конечно же, соседки — старая учительница, еще в прошлом году вышедшая на пенсию, и ее младшая сестра, всегда тепло относившиеся к их семье, подтвердят, что Галина живет с ними. И патрульные отвяжутся, может быть, даже извинятся.

Еще издали взглянув в ту сторону, где должен был стоять ее дом, Галина остановилась, пораженная. Дома не было! Виднелась куча обгорелого кирпича, высокая печная труба, нелепо вздымавшаяся кверху, и покосившаяся стена, чисто выбеленная с внутренней стороны. И — все!

Немцы нетерпеливо смотрели на нее. И по тому, как она, глядя на развалины дома, тщетно силилась изобразить на своем лице прежнюю улыбку, и по тому, как бросила растерянный взгляд на конвоиров, они поняли, что она или нездешняя, или давно не была в городе. Старший патруля сделался еще более надменным. Он грубо подтолкнул ее в спину и приказал идти быстрее.

Галина повиновалась. Редкие прохожие старались как можно скорее проскользнуть мимо или же переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с немцами.

Комендатура размещалась в большом здании, где до войны был горсовет. Патрульные уже подвели Галину к боковому подъезду, а она так и не успела справиться с волнением. «А может быть, все к лучшему?» — вдруг подумала она, представив на миг, что и слезы, и муки совести, и Антон — все может исчезнуть вместе с ней.

Старший патруля, оставив ее на попечении ефрейтора, ушел, вероятно, докладывать начальству. Не успел он возвратиться, как к центральному подъезду, ступени которого круто обрывались у самого тротуара, подкатила черная длинноносая машина с вместительным громоздким кузовом. Из нее легко, пружиня при ходьбе, вышел офицер, туго перетянутый ремнями. Он щелкнул дверцей заднего сиденья, и оттуда появилась совсем еще юная девушка в новенькой немецкой форме. Ярко-рыжие волосы своенравно выбивались из-под пилотки. Офицер подхватил ее под локоть и мельком взглянул в ту сторону, где стояла Галина. Она сразу узнала немца — это был Шмигель, тот самый офицер, который приезжал с отцом в лесную сторожку. Флегматичный ефрейтор, перехватив взгляд офицера, замер. Но Шмигель уже склонился к ярко-рыжей, бережно и в то же время слишком навязчиво помогая ей взбегать по ступенькам. Она успевала на ходу что-то оживленно говорить ему.

Вернулся старший патруля, и Галину привели к дежурному. Здесь отобрали паспорт, в котором она значилась как Лидия Ивановна Свирина, коротко допросили и привели в крохотную клетушку подвального помещения.

— Я хотел иметь надежду, — на ломаном русском языке предупредил дежурный, — что фрейлейн будет хорошо продумыватьantworten... отвечать. — Он ухмыльнулся, и лицо его сморщилось, как бы уменьшилось в объеме. — Вы будете рассказывать, как это... — он воздел длинные руки кверху и, словно держась за невидимые стропы, изобразил спуск на парашюте. — И где оставляйт свои... — он снова жестами изобразил стрельбу из пистолета и работу на рации.

— Мне мама прыгать не велит, — заставила себя усмехнуться Галина, — понимаете, мама? — И осеклась вдруг, с болью в сердце представив себе маму, ее страдания, если бы она могла увидеть все это.

Дежурный осторожно прикрыл дверь и ушел, а она все еще стояла в полутемной, чем-то напоминающей узкую

коробку камере, не решаясь опуститься на грязный топчан. Она знала, что равнодушие и состояние безразличия к тому, что с ней может произойти, уже овладели ею, но мысль о том, что всего сутки с небольшим остается до ночи, в которую намечено взорвать мост, волновала ее, не давала спириться со своим положением.

«Держись, Галка», — подбадривала она себя словами Антона и присела на край топчана, с сожалением посмотрев на свои модные туфли.

На табуретке в углу она заметила алюминиевый котелок. В нем оказалась жидкость, пахнувшая чем-то мучным, прогорклым, но привередничать не приходилось, и Галина быстро справилась с холодной похлебкой.

В этот день Галину больше не допрашивали, и это удивило. Лишь на другое утро, кое-как скоротав ночь в томительном ожидании, она услышала стук шагов по цементному полу.

«За мной», — решила она и не ошиблась. Все тот же дежурный с неприятной старческой улыбкой повел ее на второй этаж. В просторной светлой комнате стояло несколько столиков, покрытых белоснежными накрахмаленными скатертями. Перед тем как усадить ее за столик, дежурный показал на умывальник с зеркалом и знаками, сопровождаемыми все той же улыбкой, предложил ей умыться. Галина плеснула водой на усталое лицо, не удержавшись, взглянула в зеркало. Дежурный кивнул, ожидая, когда она сядет.

Молодая, густо накрашенная и рано располневшая официантка принесла на подносе тарелку с бифштексом и два стакана черного кофе. Бифштекс она поставила перед Галиной, а кофе чуть поодаль. Галина с удивлением и недоверием посмотрела на дежурного: уж не снится ли ей все это?

— Приятный аппетит, — сказал немец, рассеивая сомнения.

«А почему бы и нет? — подумала Галина. — Не надо удивляться».

Давно уже она не ела такого вкусного блюда, хотя ей было не по себе оттого, что дежурный все время назойливо усмехался, глядя, как она разделяется с бифштексом.

После завтрака дежурный привел ее в служебный кабинет. Когда она остановилась на пороге, ей почудилось, что от двери до массивного стола, к которому услужливо

протянулась длинная ковровая дорожка, придется идти целую вечность. Она даже не сразу заметила сидевшего за столом Шмигеля, подумала только, что когда пойдет по кабинету, то солнце, хлынувшее в широкие окна, ослепит ее, заставит зажмурить глаза.

Так не вязалось все это: утреннее, еще нежаркое солнце — и Шмигель!

Она пошла через кабинет навстречу солнечным потокам походкой человека, не чувствующего за собой никакой вины, и только теперь увидела уже знакомую ей ярко-рыжую немку, сидевшую у стены, там, куда не доставало солнце. Та удивленно и даже приветливо посмотрела на нее. Галина со спокойным достоинством ответила на этот взгляд.

«Спряталась от солнца. А на солнце ее волосы были бы еще более рыжими, что-то вроде пламени лесного пожара», — чисто по-женски подумала Галина и присела на стул.

— Доброе утро, — приветствовал Шмигель, и Галина вспомнила, что в рыбацкой куртке и в длинных, выше колен, резиновых сапогах он выглядел более цветущим и крепким.

— Здравствуйте, — просто ответила она, гордо встряхнув волосами, как бы поправляя прическу. Одновременно успела заметить, что ярко-рыжая придвинулась к маленькому круглому столику, на котором аккуратной стопкой лежала чистая бумага.

— Как вы себя имеете чувствовать? — приветливо глядя на нее, осведомился Шмигель.

— Спасибо. Хотя это и не имеет значения, — усмехнулась Галина, предвидя, что подобные разговоры кончатся вовсе не так, как начинаются.

— О, это имеет значение! — воскликнул Шмигель. — Очень большое значение. Встречают по... как это говорится?

— По одежке, — подсказала Галина.

— Да, по одежке, — тут же подхватил он. — А про-водить...

— По уму, — помогла она.

— По уму! — рассмеялся Шмигель, лукаво взглянув на ярко-рыжую.

Та тоже лукаво и беспечно усмехнулась.

Галина нахмурилась, ей сразу не понравилась рыжая немка.

— Не надо удивляться, — почти ласково проговорил Шмигель. — Я очень хорошо понимал ваше состояние. Вас не обижают наши солдаты?

— Нет, — сказала Галина. — Но почему...

Шмигель остановил ее мягким изящным движением жесткой ладони и продолжил:

— Когда я воевал Франция, то имел неприятность голодать три дня. Три дня, — засмеялся он, подняв указательный палец вверх, — это есть очень мало, когда человек сыт, и очень много, когда желудок ведет себя, как это говорится... нахально. Но меня хорошо выручала молодая крестьянка. О, это была женщина! Таких любил рисовать Рембрандт. Она приносила мне такие... морской рак... как это по-русски?

— Креветки? — подсказала ярко-рыжая, посмотрев не на Шмигеля, а на Галину.

— Да, креветки! — обрадовался Шмигель. — Это было очень приятно и очень питательно. Голодный желудок и креветки — это есть контраст. Кон-траст! — звучно, со вкусом повторил он, словно пробуя это слово на язык и деля его на две самостоятельные части.

Встав из-за стола, он начал ходить вдоль стены, поглядывая то на ярко-рыжую, то на Галину, словно сопоставляя их.

— Женщины и война — это тоже контраст, — сказал он. — Если бы я имел большой власть, то хотел бы издавать закон: девушки не должны приходить на война. Красоту нужно сохранять. Зачем отдавать приказ, чтобы красивая девушка начинала прыгать с самолета? Этот приказ надо отдавать мужчине. Вы хотите соглашаться? Время амазонок уже есть история!

Галина кивнула. Ей хотелось возразить, сказать, что когда в твой дом приходят бандиты, то все, кто живут в нем, защищают его. И кто знает, бывает и так, что даже дети проявят себя при этом вовсе не хуже взрослых. Но она знала, что сейчас, когда Шмигель пытается расположить, стремясь пробудить в ней доверчивость, расслабить волю, ее возражение или протест не только не сыграют своей роли, но и могут оказать гитлеровцу явную помощь. Гневные, полные ненависти слова еще пригодятся. И Галина знала, когда они могут пригодиться!



Шмигель уселся на место и, словно прицеливаясь взглядом, благодушно сказал:

— Теперь я имею желание слушать вас.

— Собственно, мне нечего вам сказать, — как можно искреннее и наивнее, смотря ему прямо в глаза, сказала Галина. — Представьте себе, я утром шла на рынок, и ваш патруль ни с того ни с сего задержал меня. Я даже и предположить не могла, что меня могут арестовать. Мы считали немецких солдат очень культурными... — Она замялась, подбирая слова, и вдруг возмущенно, сама удивляясь своей смелости, воскликнула: — А меня считают парашютисткой! Да я никогда и возле самолета-то не была, а тут...

— О, это звучит очень правдиво, и я не имею права не доверять вам. Но патруль докладывал... Вы понимаете? Если девушка живет в этом городе, то у нее есть дом, как это говорится... голова имеет крыша?

— Крыша над головой? — обрадованно подхватила Галина, все еще не теряя последней надежды выпутаться из этой истории. Ей вспомнилось, как в разговоре с отцом у лесной сторожки Шмигель хвастался своей гуманностью и неодобрительно говорил о жестокости гродненского коменданта.

— Да, да, крыша над головой.

— Поймите меня, я живу у знакомых. Родители давно умерли. А знакомые очень дорожат своей репутацией у немецких властей. И я не хотела, чтобы они видели меня в сопровождении ваших...

— О, я вас очень хорошо начинаю понимать, — закивал Шмигель. — Это переходит в область психологии.

— Совершенно верно, — поддакнула Галина, — вы очень тонко все это понимаете. Я бы даже сказала, в область психологии и политики.

— Вы очень умная девушка. Красивая и умная — это большая редкость. И я люблю это ценить! У вас очень хорошее имя...

— Красивое? — переспросила Галина, решив играть свою роль до конца. — А мне всегда казалось, что у родителей не очень уж хороший вкус.

— Ли-ди-я, — нараспев протянул Шмигель, и Галина увидела, как он небрежно, будто его мало интересует, листает ее паспорт. — Лидия!

Он еще добрее посмотрел и улыбнулся. Она не заметила, как Шмигель нажал кнопку, затерявшуюся между телефонами на приставном столике. Дверь тут же широко распахнулась, и два дюжих солдата втолкнули в кабинет девочку в изодранном платье, с обезумевшим лицом. Она уставилась на Галину, словно давно искала ее и наконец нашла, и, не ожидая вопросов, взвизгнула:

— Она! Она! На парашюте! И меня... Меня закопала! Она!

Шмигель брезгливо махнул рукой. Девчонку вытолкнули из кабинета. Пытаясь вырваться, она беспрерывно, с нарастающим визгом выкрикивала одно и то же слово:

— Она! Она! Она!

— Ли-дия, — ласково протянул Шмигель. — Я очень хотел доверять вам, Лидия. Красота не может проживать без правды. — Он еще раз повторил эту фразу, любуясь своей находкой. — Мне очень хотелось поговорить с вами, как это... как человек с человеком. Но я обманывал свои надежды. До свиданья, Лидия, — заключил он.

— До свиданья, — поняв, что Шмигель не поверил ни единому ее слову, сказала Галина. — Но мне даже обидно, что вы посчитали меня какой-то лгуньей. Неужели эта сумасшедшая, которую я вижу первый раз...

— Не надо, Лидия, — мягко прервал ее Шмигель. — У меня есть очень много работы.

Галина встала. Сейчас ее схватят... и конец. А там ее ждут. Антон, ребята. Она дала слово, что справится. Справилась! Хорошо еще, если сразу прикончат. А если пытки? Что же, ты знала, на что шла... Лидия.

Галина не помнила, как ее подвели к машине, открыли дверцу. Она села, но конвоир продолжал стоять навтыжку: он уже видел Шмигеля и ярко-рыжую.

Шмигель сел рядом с ней, а за руль, к удивлению Галины, уселась ярко-рыжая.

Машина, несмотря на кажущуюся громоздкость, стремительно понеслась от центра к окраине. Промелькнули последние домики окраины, машина круто свернула к лесу. Отчаянная девка, видать, эта ярко-рыжая бестия, с такой скоростью водит машину. Родятся же такие на свет!

Лес разомлел на солнце. Сосны и березы дремали.

— Очень красивый лес! Он напоминает полотно великого Шишкина! — мечтательно воскликнул Шмигель.

Он бережно взял Галину за талию и приник к окну, как бы приглашая разделить его восхищение.

Ярко-рыжая что-то сказала, и он тут же опустил руку и даже чуть отодвинулся от Галины. Немка усмехнулась и сильнее нажала ногой, обутой в замшевый сапожок, на аксельатор.

Машина на бешеной скорости пронеслась по шоссе и вдруг, будто натолкнувшись на невидимое препятствие, остановилась.

Шмигель вылез из машины первым, пальцем поманил к себе Галину. Ярко-рыжая заглушила мотор и подошла к ним. Шмигель махнул рукой, показывая туда, где лес становился реже, и принялся вынимать из багажника спиннинг и корзинку с продуктами.

Галина и ярко-рыжая углубились в лес.

— Галя, — тихо сказала по-русски ярко-рыжая, не повернув к ней лица. — Падай после первого выстрела. Запомни: после первого выстрела.

Галина вздрогнула: не ослышалась ли? Было такое ощущение, будто кто-то невидимый, стоящий за стволом дерева, произнес эти слова. Она хотела переспросить ярко-рыжую, узнать, что все это значит, но Шмигель уже нагонял их.

— Здесь, — сказал Шмигель, останавливаясь и бросая беспокойные взгляды на шоссе.

Он ловко раскупорил бутылку с вином, наполнил два стакана.

«Откуда, откуда она знает мое имя?» — спрашивала себя Галина.

Шмигель и ярко-рыжая выпили.

— Ищи, Лидия, ищи, — тоном, каким обычно обращаются к собачонке, сказал Шмигель. — Ищи парашют, рация, пистолет. Ищи.

И он неопределенно махнул рукой.

Галина медленно побрела прочь, опустив голову, пытаясь осмыслить слова, сказанные ярко-рыжей. «Падай после первого выстрела». Ишь, красotka, позабавиться хочешь?

Еще шаг — и еще. Жива! Еще одна сосна простилась с тобой, а ты все еще жива. Простилась береза, а ты все еще дышишь. Солнце слепит глаза, а сейчас ты ослепнешь навеки...

— Прекрасная мишень! — как во сне донеслось до нее восклицание ярко-рыжей.

Сейчас прозвучит выстрел. Может, она держит пари, что уложит эту упрямицу с первого выстрела. А потом они разопьют вино. Но это уже ей безразлично. Не имеет значения...

И вот он, выстрел. Знакомый и незнакомый. Страшный и желанный...

Выстрел! Как раз в тот миг, когда она хотела сделать еще один шаг вперед. «Падай после первого выстрела», — сказала ярко-рыжая. Падай? А что, если и правда упасть?

И Галина, качнувшись, рухнула на землю. Лицом вперед. Те секунды, в которые она раздумывала, падать или не падать, верить или не верить, придали ей тот естественный вид, с которым обычно падает на землю человек, сраженный меткой пулей.

— Победа! — радостно воскликнула ярко-рыжая.

Галина лежала недвижимо. Она слышала громкий смех, веселый разговор на немецком языке. Потом все стихло, потом взревел мотор, и колеса мягко зашуршали по шоссе, оставляя на память лесу тихое, дрожащее эхо.

Галина приоткрыла глаза, приподнялась. Небо завлакивало тучами, и не верилось, что в тот момент, когда она падала, весь лес утопал в щедром солнечном море.

Чудес на свете не бывает. И потому, поняв, что Шмигель и ярко-рыжая действительно уехали, встала и помчалась в лес, подальше от шоссе. Но не сразу в отряд. Кто знает, может, за ней наблюдают? Не страшно погибнуть одной, страшно, если по следу враги нагрянут в сторожку.

Она не знала, что приближался тот дождливый вечер, в который Антон поведет свою группу к мосту. Она скиталась по лесу и, убедившись, что за ней никто не идет, вернулась в отряд.

12

Галина умолкла, а я сидел, уставившись на нее, ожидая, что она еще что-то расскажет. Может, она оставила напоследок самое главное, самое решающее? Один и тот же вопрос не давал мне покоя, я знал, что он все равно сорвется с языка, но оставался немым, будто кто-то взял да и загипнотизировал меня.

Но Галина больше ничего не добавила. И тогда, преодолев оцепенение, я тихо, заранее боясь услышать тот ответ, который уже звучал в моих ушах, спросил:

— Как ее зовут?

— О ком ты? — встрепенулась Галина.

— О ней, — сказал я таким тоном, что она не могла меня не понять.

— Подожди, Шмигель один раз как-то ее назвал. Ах да, вспомнила — Лелькой. Он произнес это очень смешно, без мягкого знака: Лелка. Самое настоящее русское имя. А я почему-то приняла ее за немку... Что с тобой? — испуганно воскликнула Галина, взглянув на меня. — Ты так побледнел, Алексей!

Последние слова я едва расслышал. Галина удалялась от меня и исчезла в густом тумане. Потом я увидел, что она стоит на высокой скале и колышется, как невесомая. Я вскрикнул, стремясь предупредить об опасности, и потерял сознание.

Очнулся на полу. Легкий ветерок гулял по моему лицу — это Галина обвевала его косынкой. Воротник гимнастерки был расстегнут, и на груди еще не успели высохнуть струйки воды, которую, наверное, плеснула Галина.

— Алеша, — ласково сказала она. Я изумленно посмотрел на нее: так могла произносить мое имя только та, которую отныне я должен был возненавидеть.

— Красная девушка, — раздался укоризненный голос Антона. — Фома неверующий. Учись смотреть правде в глаза, и весь разговор.

Мне хотелось закричать, остановить его, сказать, что я все понял, все знаю, но только не надо этих слов, не надо!

Я встал и подошел к раскрытому окошку. Кружилась голова.

— Но почему... почему она отпустила тебя? Почему?

Галина не успела ответить, опередил Антон:

— Наивно, Лешка. Предельно наивно. Почему отпустила? А на всякий случай. Красивый жест, и весь разговор. Авось, мол, при расплате пригодится. С перспективой живет женщина. Надеется долго прожить.

Из всей этой фразы меня особенно резануло слово «женщина». Женщина! Я-то хорошо понимал, почему он назвал ее женщиной!

Шатаясь, я вышел из сторожки. Ребята удивленно

смотрели мне вслед. Я шел, не веря своим глазам: лес, тот самый лес, который всегда поражал меня своим могучим спокойствием, величием и красотой, стоял сейчас призмивший, жалкий, будто провинился в чем-то перед небом и людьми.

— Ненавижу, — шептал я, вслушиваясь в страшное слово, — ненавижу, ненавижу...

И чудилось, лес повторяет это слово вслед за мной зловещим шепотом.

Не помню, как я очутился на берегу озера. Но даже тихая водная гладь, по которой едва заметно плыли легкие, беззаботные облака, не подействовала успокаивающе. Облака превращались в Лелькино лицо. В новенькой, чистенькой, плотно облегающей тонкую изящную фигурку немецкой военной форме, подчеркивавшей бедра и стремительную линию ног, она... улыбалась! Потом она промчалась на велосипеде, положив ноги на руль. Потом скатилась по лестнице общежития, ошалело стуча в сковородку. Потом подскочила ко мне и приподнялась на носках, чтобы поцеловать... И все в той же чистенькой, изящной немецкой военной форме, в которой целовала Шмигеля!

«Ненавижу!» — хотелось закричать во весь голос, но я окаменел от сознания той простой истины, что мне никто не может помочь в беде, точившей душу с первого дня войны, с первых слов раненого Антона. И все же чувство любви боролось с гневом. Гнев опалил чувство, но оно не слабело. И это еще сильнее озлобляло меня.

Не знаю, сколько бы я просидел здесь, если бы вдруг, очнувшись от горьких дум, не увидел, как справа вздрогнули зеленоватые метелки камыша. Кто-то пробирался, прокладывая дорогу через заросли.

Я схватился за пистолет и замер. Первым из камыша вынырнул Борька. За спиной у него был приторочен солдатский вещмешок. В нем что-то шевелилось и вздрагивало, вероятно живая рыба. Выскочив на открытое место, Борька остановился, пропуская незнакомого человека. Незнакомец был молод, в больших глазах не было ни испуга, ни растерянности. Только на крутоскулом бронзовом лице с прямым подбородком застыло печальное выражение. Казалось, он шел, с интересом разглядывая и дрожащие метелки камыша, и длинную тень от березы, и облака, очень высоко плывшие над землей.

Следом за ним с горделивым видом шел Федор. Он весь светился предчувствием чего-то радостного и приятного, даже не горбился, как обычно. В левой руке (он был левша) Федор держал револьвер.

Я поднялся из своей засады. Федор отпрянул назад, но, узнав меня, успокоился и, смеясь своими разбойными цыганскими глазами, показал толстым пальцем на незнакомца:

— Видал, какого угря зацепил? Чистокровный фриц! А заливаает, мол, свой, Гитлер капут, битте-дритте и так далее.

— Немец? — удивился я.

Человек поспешно, но без подобострастия кивнул, подтверждая слова Федора. Что-то русское, добродушное было в его лице, к тому же вполне русский вид придавала ему серая косоворотка, заправленная в черные брюки. Одежда на нем была не новая, и сразу видно — с чужого плеча, но чистая, аккуратно залатанная.

— Кто вы такой? — спросил я по-немецки.

— А он и по-русски петрит, — надулся Федор. Видимо, он испугался, что я, чего доброго, вздумаю посягнуть на его пленного.

— Ну, води его к Антону и разбирайся.

— Пошли с нами, — снова повеселев, доброжелательно предложил Федор.

«Вот так и попробуй уйти из отряда, — подумал я, присоединяясь к ним, — то одно, то другое».

И, приближаясь к сторожке, вдруг с особой остротой понял, что, как бы то ни было, какие бы испытания ни пришлось пережить, не смогу уйти отсюда. Не потому, что боюсь, а потому, что просто-напросто пропаду без людей, с которыми делил и радость, и беду, и смех, и печаль.

Антон не удивился моему возвращению и тут же попросил меня взять на себя роль переводчика. Но переводить ничего не пришлось: немец отлично говорил по-русски, без акцента, даже умел передавать особенности местного говора.

Внимательно посмотрев на немца, я вздрогнул: неужели тот, неужели?! Тот, что лежал у ручья? И ты еще сомневаешься? Смотри же, смотри: синеватый шрам у виска, припухлые губы... Рудольф! Я хотел тут же сказать об этом Антону, но спохватился.

Антон допрашивал долго, с пристрастием, пытался ловить на слове, задавал каверзные вопросы, стараясь уличить во лжи. Но немец говорил искренне, просто, без нажима на смягчающие обстоятельства, точно для него не существовало никакой угрозы. «Хотите верьте, хотите нет, — говорил он всем своим видом, — от того, какую вы займете по отношению ко мне позицию, то, что я вам рассказываю, не перестанет быть правдой».

А рассказал он вот что.

В ночь на 22 июня Рудольф сидел в укрытии на берегу реки. Оставались считанные часы до атаки. Он волновался и, чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей, решил написать хотя бы небольшое письмо Эрне. Он писал, думая, что, возможно, на рассвете его уже не будет в живых. Это было трудное письмо, и он не столько писал, сколько обдумывал то, что хотелось ему написать. Он не знал, как лучше объяснить Эрне свое решение. Когда его призвали в армию, она мечтала, что он станет человеком, совершающим подвиги. Но она должна знать, что он видит героизм совсем в другом. Письма так и не получилось — всего несколько несвязных, скомканных фраз. Может, и к лучшему — все равно оно не дойдет до адресата.

Рудольф сунул начатое письмо в карман, продолжал мысленно говорить с Эрной. А по цепи уже передавали сигнал, означавший готовность номер один...

Рудольфу не повезло. Рядом с ним вслед за танком бежал долговязый, часто без всякой причины ржущий как жеребец ефрейтор Фишер. Рудольф стрелял из автомата, стараясь не делать прицельных выстрелов. И зоркий глаз Фишера не прошел мимо этого.

— Ты что, напустил в штаны? — смеясь, рывкнул он. — У тебя дрожат руки! Смелее, тебя ждет Москва!

Рудольф знал повадки Фишера: если тот рычал, перемежая свои слова рокочущим смехом, значит, жди подвоха. В такие минуты он мог свернуть челюсть провинившемуся солдату.

Хотелось приотстать от Фишера, но тот сразу же разгадал его маневр. А может, почувствовал неладное: он был на редкость проницательным. Скупой жест, едва приметное новое выражение на лице солдата — и Фишер почти безошибочно мог прочесть мысли.

И все-таки Рудольфу удалось оторваться от Фишера: тот занялся молоденьким щуплым солдатом, дольше поло-



женного времени прижимавшимся к земле. Все время: и когда советская пограничная застава ответила ожесточенным огнем и они вынуждены были залечь и когда снова пошли в атаку и снова залегли, ожидая подхода основных сил, — Рудольф делал вид, что стреляет.

Потом, к середине дня, обошли растерзанную заставу. В лесу, вблизи ручья, Рудольф попытался скрыться. Но Фишер выстрелил ему в спину.

Рудольф очнулся вечером. Где ползком, где хватаясь руками за стволы деревьев добрался до села. Когда он ночью зашел в домик на самой окраине, молодая хозяйка встретила его без испуга, внимательно и придирчиво, как новую покупку, осмотрела с ног до головы. Он упросил ее никому не говорить о себе, а главное — не выдавать немцам, если появятся в селе. Хозяйка дала ему рубашку и брюки, он переоделся и решил остаться в этом доме.

Все было ему здесь непривычно. И колыбельная, которую монотонно, в нос напевала хозяйка, мерно раскачивая люльку, и судорожные вскрики ребенка, и керосиновая лампа на покрытом обшарпанной клеенкой столе.

Он не помнил, как уснул. И в тот же момент услышал тревожный, настойчивый шепот:

— Укачала. А ты не дрыхни. Ще выпышься.

Она легла рядом с ним, пышнотелая, и все шептала что-то, но он не разобрал что. У него ныла рана, он едва не задохнулся от ее объятий.

Хозяйка так и не ушла в эту ночь, и ему было неприятно, что она не уходила, и время от времени, когда ребенок капризно вскрикивал во сне, коротко бросала:

— Вот зануда... Весь в батьку.

Так и жил он у нее, с каждым днем теряя надежду на осуществление своего плана. Было противно на душе, и он забывался, с жадностью берясь то за одну, то за другую работу. Отремонтировал всю обувь, какая была в доме, починил полы.

Однажды вечером хозяйка пришла навеселе, по комнате разнесся тяжелый запах самогона. Хитровато ухмыляясь, она подмигнула ему и увела в другую половину дома.

— Сегодня лягай тут. До мене прийдут гости.

И, перехватив его удивленный взгляд, поспешно добавила:

— Да ты не горюй. Тебя не забуду.

Украдкой выглянув в окно, он увидел высокого громоздкого мужчину с повязкой полица на рукаве. Был он длинноносый, большеротый, с оспинками на впалых щеках.

Из соседней комнаты долго слышался глухой перезвон стаканов, незнакомая ему тягучая песня, от которой хотелось бежать, как от своей гибели. Песню сменило ритмичное покачивание люльки, противное повизгивание кровати и, наконец, клопочущий, захлебывающийся храп.

Потом по полу почти неслышно прошли босые ноги, и хозяйка забралась к нему под одеяло. Была она потная, скользкая, разморенная, и он с отвращением оттолкнул ее.

— Ты що? — возмутилась хозяйка, дохнув на него перегаром. — Ишь, який нервозный... Ты хто мині — чоловік?

Он встал, оделся.

Ты що, тикаєшь? — равнодушно спросила она, зевнув. — Ну и греб с тобой. На мий вик мужиков хватить. Тильки в окно вылезай. А то вдруг проснется. Одежу бы надо у тебя одибрать. Харчи отработал, ничего не скажешь, а одежду — ни, — она ворчливо хихикнула.

Он уже встал на подоконник, приготовился прыгнуть. Ночь выдалась светлая, лунная, идти по улице, хотя и безлюдной, было опасно. Но он решил, что больше не останется здесь.

— Чекай, — сказала хозяйка, придерживав его пышной мягкой рукой. — Хочешь, я отведу тебя до Ливенки? Там у мене є подружка. И тож вдова. Ядреная баба, жалковать не будешь.

Он отшатнулся: в лунном свете ее чересчур белое тело напомнило ему мертвеца.

— Тебе все равно кто: немец, полицай, красноармеец? — спросил он.

— А що? — сыто зевнула хозяйка и потянулась всем телом. — Нам, бабам, треба, щоб був мужик. И чого ты такой вумный?

Так они и расстались — не простившись...

Зачем он рассказывает все эти подробности? Он хочет рассказать все, он ничего не утаит: ни хорошего, ни плохого. Мне чудилось, что Антон сейчас скажет свое: «Втереться в доверие хочешь?» Но он молчал, и немец воспринял это молчание как разрешение продолжать рассказ.

Выслушав немца, Антон приказал вывести его из сторожки и что-то шепнул Федору на ухо. Тот просиял.

— Ловкач, — сказал Антон, когда немца увели. — Ловкач и шпион. Но нас не проведешь.

— Послушай, — сбивчиво и возбужденно заговорил я. — Это он, тот самый. — И я полез в карман за письмом и фотокарточкой.

— Что ты мелешь? — удивился Антон.

— Тот самый... У ручья. Я поил тебя из его каски. И шоколад, помнишь? Он был почти мертв. А потом исчез. Я хотел...

— Ну и что же? — спросил Антон, когда я перевел текст письма. Он уже давно, еще до того, как я прочитал письмо, определил свое отношение к немцу, и теперь уже ничто не могло понудить его изменить это отношение. — Я знаю только одно: он, немец, пошел воевать против нас. Тот, кто против фашистов, тот борется в подполье, а этот...

— Твое решение?

— К стенке, и весь разговор. Я уже распорядился.

— А если он говорит правду?

— Ты уже клюнул на удочку?

Мне трудно было убеждать Антона, а тем более заставить его поверить этому немцу, но я продолжал доказывать свое, просить, чтобы он отменил свое приказание.

— Ты что? — возмущился Антон. — Или нам больше нечего делать, как только возиться с этим фрицем?

— Это он, он, послушай, — твердил я.

— Ну и что же, что он? Ты или неисправимый фантазер, или сумасшедший, — разозлился Антон.

— Прикажи вернуть его.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — наконец согласился Антон.

Я выскочил из сторожки.

— Немца — к командиру!

И вот он снова стоял перед нами.

— Скажите, как зовут вашу невесту? — спросил я.

Он удивленно и в то же время обрадованно взглянул на меня, как смотрят люди, которым совершенно неожиданно сказали о самом дорогом.

— Эрна.

— Когда вы в последний раз писали ей письмо?

— Это было за полчаса до перехода советской границы.

— Вы помните, о чем писали?  
— Каждое слово.  
— Если это не секрет...  
— Нет, нет, — и немец тут же повторил слово в слово текст письма, которое я передал Антону.

Я протянул немцу фотографию девушки.

— Эрна! — воскликнул он.

— Ну хорошо, — насунился Антон. — Какую же цель ты поставил перед собой?

— Разрешите остаться у вас.

— А тебе известно, где сейчас немцы?

— Точно не знаю, — ответил Рудольф.

— А примерно?

— Слышал от хозяйки, что за Смоленском.

— Брешет она, твоя хозяйка. Ну, предположим, что не брешет, — после паузы сказал Антон. — Чего ж ты к нам решил пристроиться?

— Это очень сложный вопрос, — ответил Рудольф.

— А что ему, — боясь, что не успеет вставить слово прежде Антона, разулыбился Федор. — На партизанских харчах задницу откормит — и тютю, битте-дритте!

— Это очень сложный вопрос, — не обратив внимания на слова Федора, повторил Рудольф. — Я не сразу решился. Тем более что это связано... Не знаю, как лучше объяснить. Мой поступок может не одобрить Эрна. А для меня она самый дорогой человек.

— Эрна! — передразнил Федор, видимо озлобленный, что немец, которого он самолично взял в плен и привел в отряд, пропускает мимо ушей его слова. — Ты, битте-дритте, тут сопли не распускай, не разжалобишь. Отвечай командиру по существу!

— Слушаюсь! — вытянулся Рудольф. Даже в сугубо гражданской одежде он оставался военным, приученным к суровому и жестокому повиновению. — Я буду отвечать на поставленные вопросы. Перед тем как идти в бой, я много думал. Колебался. Все-таки хочется жить. Но не как рабу. Я знал, что меня ждет: или немецкая, или русская пуля. И я не пришел бы к вам. Я бы тоже был сейчас за Смоленском. Но все гораздо сложнее. А если сказать просто и коротко — когда мы перешли границу, я не верил в победу.

— А сейчас веришь? — спросил Антон.

— Не верю, — сказал Рудольф.

— Это потому, что ты у нас в плену, — сказал Антон. — И с какой стати мы должны брать твои слова на веру?

— Не верите — расстреляйте, — спокойно ответил Рудольф.

Ответ, кажется, обезоружил Антона. Он подозревал Федора и Волчанского. Федор подошел, и на лице его было написано: «Приказывай, командир, я выполню любое твое приказание».

— Накормить, — распорядился Антон. — Прежний приказ отменяю. Но... — он не договорил. Федор понял это «но» и выразительной мимикой дал понять, что не спустит глаз с немца.

— И все же в отряде ему не место, — сказал Антон, когда мы остались вдвоем. — Я не хочу, чтобы нам в спину...

— Проверим на деле, — предложил я.

Рисковать? Не намерен, — отрезал Антон.

— А Некипелов?

Я знал, что он не простит мне этого напоминания. И все же напомнил.

Антон ничего не ответил.

И лишь на другой день объявил мне:

— Вот что. Под твою личную ответственность. И если этот фриц... — он не договорил начатую фразу.

— Хорошо. Под мою ответственность.

Мне хотелось смягчить тон нашего разговора. Но Антон лишь сильнее нахмурился. Брови его резко сомкнулись.

Как бы то ни было, Рудольф остался в отряде. Я старался почти все время быть с ним. Мне даже не приходилось вызывать его на откровенность. Он и без вопросов делился со мной своими думами, сомнениями, желаниями. Оказалось, что он хорошо знает радиодело. Но у нас не было радики, и мы чувствовали себя отрезанными от всего мира. Макс обещал прислать радику при первой возможности, но сделать этого ему не удавалось. А нам ведь очень важно было не только самим знать вести с фронта, но и распространять их среди местных жителей.

— А что, если отбить радику у какого-нибудь немецкого обоза? — спросил я как-то Рудольфа.

— Это очень хорошая идея! — воскликнул он. — Я давно хотел предложить такой план. Но...

— Что «но»?

— Вы могли подумать, что я специально хочу... — он

не решился произнести то, что думал, и вдруг воскликнул: — Попросите командира, товарищ Алексей! У нас будет рация.

Я обещал поговорить с Антоном. Самым главным доказательством честности Рудольфа было то, что, зная об успешном наступлении немцев, он не принял никаких мер, чтобы вернуться к ним. Больше того, он искал партизан и, волею обстоятельств попав в отряд, хотел, чтобы его проверили, а проверив, доверяли.

Нельзя было не заметить, что Рудольф с беспощадностью к самому себе переживал страшную вину своих соотечественников, как свою собственную вину. Не ожидая приказаний, первым бросался выполнять срочную работу. При этом, конечно же, понимал, что подчеркнутая старательность может вызвать совершенно естественную в подобных обстоятельствах подозрительность.

Выслушав меня, Антон сказал, как всегда, коротко и предельно ясно:

— Разве ты забыл: под твою ответственность. Если что — не посматривай, что ты...

Он не произнес слова «друг», и это вновь сохранило ту незримую, но довольно плотную полосу отчуждения, которая с некоторых пор возникла между нами.

К разработке операции по нападению на немецкий обоз я подключил и Волчанского. Он любил поговорить, но отличался удивительной способностью выдвигать смелые, порой казавшиеся несбыточными идеи и горячо, до самозабвения, отстаивать их. Зуд говоруна он обрушил на Рудольфа, мотивируя это желанием, как он выражался, познать душу немецкого молодого человека сороковых годов. Ему очень нравился философский склад мышления Рудольфа. Видимо, в какой-то степени Рудольф заменил ему Некипелова, хотя немца ни разу не удалось вывести из себя.

Больше всего Волчанского интересовало, как это немцы могли пойти за Гитлером, чем объяснить зверства фашистских войск.

— Ну ты, ей-бо, сам пойми, — горячился Волчанский. — Ну, фашисты зверствуют, это понятно. Но ведь в армии — трудовой народ! Он-то что думает?

— Гитлер очень много сделал, чтобы связать весь народ общностью преступлений, — сказал Рудольф. — Немцам внушали: если это не сделаешь ты, то это сделает

кто-нибудь другой. Богатство и власть развращают. Они не только одурманивают людей, но и уродуют души.

— Значит, всех удалось развратить? А где же, ей-бо, рабочие? Мы же надеялись — немецкий пролетариат ударит Гитлеру в спину. А фюрер, ей-бо, оседлал этих пролетариев и поскакал. Скажешь, не так?

— Тех, кто пытался сбросить хомут, нет в живых. Их было много. И они в могилах или в концлагерях. В Германии вы своими глазами могли бы увидеть... Это... — Рудольф долго искал подходящее сравнение, — как большая тюрьма. Человек хочет дышать и вдруг чувствует, что еще немного — и кончится воздух. В Германии бояться не только говорить, но и мыслить! А тот, кто мыслил вслух, — о, это были мысли для показа, это была шизофрения мысли! У Эрны отец — фашист. Он сказал, что если она не отвергнет меня, то он донесет в гестапо, не пожалеет и родную дочь. «Мой долг», — с гордостью подчеркивал он. Разве это жизнь?

Но как Рудольф ни старался, его доводы не убеждали Волчанского. Рудольф и сам понимал, что его объяснения не исчерпывают сложной, противоречивой и запутанной проблемы и что потребуется время, которое, отодвинув от нас войну, даст возможность объективно разобраться во всем.

— Самый страшный вопрос для меня, — признавался Рудольф, — как мы, немцы, будем жить после войны? Большую совесть не сможет вылечить даже время.

Но, по правде сказать, при всей остроте этих вопросов нас в те дни больше волновали текущие дела, и особенно рация. И мы ее добыли с помощью Рудольфа.

Переодевшись в форму немецкого унтера, он вышел с автоматом на шоссе и, когда головная повозка поравнялась с ним, остановил ее. Переговорив с возницей, он подал условный сигнал. Мы открыли огонь по повозкам, сгрудившимся на шоссе. Охрана оказалась немногочисленной, и мы быстро справились с ней.

Трофеи были богатые. Кроме оружия, патронов, продуктов — рация с полным запасом питания.

Все сошло благополучно. Никто из нас не получил даже царапины. А ведь обычно после таких вылазок недосчитывались двух-трех человек.

Да, нам повезло. А главное — Рудольф выдержал испытание.

Вскоре после того, как мы захватили рацию, ко мне прибежал Федор и, глотая слова, крикнул:

— Там... с Галиной беда!

— Что? — вскочил я. — Говори толком!

Но он ничего не ответил и потащил меня за рукав.

Галину мы застали в сторожке. Лицо ее было бледное, обескровленное. Вначале я даже не узнал ее. Изможденная, слинявшая, она мельком взглянула на меня и отвернулась к стене. У каждого человека бывает такое состояние, когда он хочет остаться в одиночестве и когда присутствие даже близких раздражает, становится тягостным и обременительным.

Наверное, такое же состояние было и у Галины.

Единственным человеком, мало-мальски разбиравшимся в медицине, была сама Галина. Она перевязывала раненых, ухаживала за ними. С лекарствами у нас было, мягко говоря, туго, и она варила какие-то настойки из трав, поила ослабевших от потери крови бойцов, прикладывала к ранам подорожник, стирала использованные бинты.

И вот теперь, когда самой Галине понадобилась помощь, оказать ее было некому.

— Что с тобой? — спросил я, присев на край топчана.

Галина не шелохнулась.

— Что случилось?

— Не имеет значения, — едва шевеля губами, ответила она.

Мы стояли, не зная, что предпринять.

— Антон... вернулся? — вдруг прошептала Галина.

— Нет, — сказал Федор, — послезавтра приедет, не раньше.

Антон два дня назад уехал на встречу с Максом в условленное место, километров за двадцать от нашей стоянки. Сразу же после отъезда Галина отпросилась у Федора, оставшегося за Антона, сходить в село. Федор, как всегда, масляно ухмыльнулся, так что углы его рта полезли кверху и губы стали очень похожими на подкову, и почти ласково сказал:

— Прошу действовать с полной свободой, Галина Максимовна. — Он называл ее по имени-отчеству, как бы подчеркивая, что именно так и надо обращаться к девушке, к которой равнодушен командир. — Но не забывайте



об осторожности. Попутного вам ветерочка, Галина Максимовна.

А когда она отошла на такое расстояние, что не могла его услышать, жадно проглотил слюну и сказал:

— Ну и куропаточка... А командир наш — собственник. Нет, чтобы такое солнышко каждому посветило.

Впервые я слышал, чтобы Федор говорил с таким явным цинизмом и так отзывался об Антоне. С ходу поняв мое настроение, он заискивающе протянул:

— Да ты не бери, не бери на веру-то. Иной раз взболтнешь хреновину. А тут еще с голодухи готов на стенку полезть.

И, видя, что меня не очень-то охладило его разъяснение, без обиняков попросил:

— Ты, Алексей, того... Не говори командиру. Пусть между нами. Он в нее втрескался по уши, шкуру с меня спустит, ежели что. Сам понимаешь. Пуцай владеет единолично. Совет им да любовь.

Я сплюнул и отошел от Федора. Как это иногда бывает: думаешь о человеке одно и мнение уже сложится твердое, вроде бы окончательное, а он возьми да и покажи себя совсем с другой стороны. Или так оно должно быть? И нечему тут удивляться?

Так я размышлял тогда. А сейчас мне было не до размышлений.

— Алексей, — позвала Галина.

— Сбегаю за спиртом, — предложил Федор. — Там у меня есть маленько. Может, отойдет.

— Алексей, — сказала Галина, почувствовав, что я стою рядом и смотрю на нее. — От тебя мне скрывать нечего. Да теперь и не имеет значения. Вернется Антон, пусть на меня не обижается.

Мне было неприятно, что она заговорила об Антоне. Дружба наша с ним пошла, что называется, наперекосяк.

Галине было совсем плохо. Она еще дышала, говорила, смотрела на меня, но вся уже словно таяла, уходила в небытие. И когда я осознал это, мне стало страшно.

— Ты не осуждай его, — снова заговорила она. — Его можно понять. Так его воспитали. Он честный. И сам верит, что поступает как надо. Это же не так просто, Алексей...

— Не будем об этом, — пытался остановить я. — Лучше скажи, чем тебе помочь. Что случилось?

— Уже поздно, — с облегчением сказала Галина. — А Антону скажи, пусть простит. Он очень хотел ребенка. Очень ждал. Но я не могла... Один ты знаешь, почему я не могла. Не говори Антону, прошу тебя. Он не выдержит... Ты не скажешь, нет?

— Что ты, что ты! Об этом никто никогда не узнает.

Спасибо, — она коснулась моей руки холодными, странно потвердевшими пальцами. — И еще, — уже едва слышно сказала она, — так мне и надо... Некипелов погиб. Это я... я виновата...

Галина умолкла. Я понял, что теперь она уже не произнесет ни звука.

— Федор! — крикнул я. — Федор!

...Два дня мы ждали возвращения Антона, пытались связаться с Максом, но безуспешно. А когда Антон на третью ночь появился в отряде, над могилой Галины стоял фанерный столбик со звездочкой, вырезанной из жести.

Весь остаток ночи Антон пробыл у могилы. А утром, еще более суровый и жесткий, выстроил нас и рассказал о новой задаче, поставленной Максом, — готовиться к слиянию мелких отрядов в одно соединение.

Когда я заговорил с Антоном о Галине, он жестом руки остановил меня:

— Не трави душу...

И я увидел, что передо мной сидит такой же человек, как и все, человек, понимающий, что если он не задушит в себе отчаяние, то отчаяние задушит его.

Шли дни. Незаметно в леса прокралась осень. Перво-наперво она взялась выдувать тепло, сеяла холодным дождем, сыпала на окоченевшую траву сухую изморозь. Потом прошлась по березам и осинам, щедро мазнула где красной, где желтой, где оранжевой краской, начала срывать еще непослушные листья. Небо опускалось над сторожкой все ниже и ниже.

Антон отдал распоряжение рыть землянки, и люди обрадовались хотя бы временной возможности сменить винтовку на лопату и топор, забыть о взрывчатке, о ночных, всегда связанных с риском для жизни вылазках. Работа шла споро, благо что строительный материал был под рукой.

И все бы, вероятно, так и шло, если бы не новый случай. Он перевернул всю мою душу.

После удачной вылазки, закончившейся захватом радиции, Антон несколько изменил свое отношение к Рудольфу. То влияние, которое мы с Волчанским оказывали на него, тоже не прошло даром. И вот Волчанскому пришла идея: активнее использовать Рудольфа, особенно в опасных операциях. В самом деле, ведь Рудольф — немец. Одень его в гитлеровскую форму — и он сможет выполнять такие задания, что вряд ли кому и во сне приснится.

И вот, после того как Родион сообщил, что Шмигель, получивший, видимо, нагоняй от начальства за то, что чуть ли не под носом у него действуют партизаны, начал все чаще прибегать к расстрелам мирных граждан, было решено его убрать.

На этом особенно настаивал Антон. Вероятно, если бы была возможность доложить наш замысел Макс, то вряд ли он дал бы добро. Мы совсем не учли того, что Макс пользуется доверием Шмигеля и использует это в интересах партизан. И еще неизвестно, как сложатся у Макса отношения с преемником Шмигеля.

Но Макс был занят формированием новых отрядов и не подавал никаких вестей. Антон спешно разработал план ликвидации Шмигеля. Этот план был прост, хотя, как и любые подобные планы, связан с риском.

Родион, которого Макс в свое время представил Шмигелю как одного из своих верных и надежных помощников, организует очередной выезд на рыбалку. Ввиду того что после нескольких операций, проведенных партизанами, Шмигель наострил уши и потому будет осторожен, Родион предложит половить рыбу близ города. У Родиона, чтобы не вызывать никаких подозрений, оружия не будет, он возьмет лишь рыболовные снасти. В условленное время к месту рыбалки на немецком мотоцикле (к тому времени был у нас такой трофей) примчатся Рудольф и Волчанский, переодетые в немецкую форму. И тот и другой будут вооружены автоматами. Неожиданный приезд «связных» вряд ли удивит или обеспокоит Шмигеля. Скорее всего, он просто-напросто выругается, проклиная всех, кто посмел помешать рыбалке. Рудольф доложит ему по всем правилам и вручит пакет. И в тот момент, когда Шмигель начнет вскрывать его, Рудольф вскинет автомат,

Волчанский возьмет на мушку телохранителя. У Родиона на всякий случай окажется в руках весло. Если удастся — гитлеровцев брать живьем.

Сперва намечалось, что с Рудольфом поеду я. Но в последний момент Антон передумал.

— А вдруг Шмигель возьмет на рыбалку и ее?

Я поблбднел. Антон угадал мои мысли.

— Ну и что же? — как можно спокойнее ответил я вопросом на вопрос.

— Тут моих разъяснений не требуется. Вариант первый: она еще издали узнает тебя и раньше времени пачнет бить тревогу. Вариант второй: твои чувства берут верх над разумом. И вместо того чтобы действовать решительно и смело, ты, сентиментальная твоя душа...

— Хватит, Антон! Неужели ты не понимаешь, что я ее ненавижу?

— От любви до ненависти один шаг, — усмехнулся Антон. — Но значит, и от ненависти до любви тоже?

— Разреши.

— Поедет Волчанский.

После разговора с Антоном я долго бродил по лесу, пытаюсь утихомирить взвинченные нервы. «Ненавижу?» — спрашивал себя и спешил ответить: «Ненавижу». Боялся, что, если не отвечу немедленно, в тот же миг, чувство ненависти начнет остывать. И все же надежда на то, что Лелька служит не немцам, а нашим, все время теплой волной окатывала сердце. Не случайно же она отпустила Галину! Но снова и снова лезли в уши слова Антона: «Втереться в доверие...»

В операции я не участвовал. И кажется, не пожалел об этом. Шмигель действительно взял с собой на рыбалку и Лельку.

Как это часто бывает, жизнь внесла в планы свои поправки. Шмигель почему-то заподозрил неладное и, едва Рудольф протянул ему пакет, схватился за пистолет и с криком «Партизаны!» пытался выстрелить. Рудольф короткой очередью опередил его. Волчанский, чувствуя, что медлить нельзя, уложил солдата, сопровождавшего Шмигеля. Лельку втолкнули в машину. Она, как рассказывал Волчанский, была удивительно спокойна. Родион сел на мотоцикл. Отъехали от места рыбалки километров десять, сбросили машину в овраг, до темноты отсиживались в лесу, а потом вернулись в отряд.

Я не был очевидцем их возвращения. Нервное потрясение было настолько велико, что я свалился и пролежал несколько дней, то и дело теряя сознание: контузия вновь напомнила о себе.

14

Когда Лельку выводили на прогулку — а это было один раз в день, обычно утром, — я старался под разными предлогами уходить из сторожки, чтобы не видеть ее. И если бы не уходил, то уверен, что не смог бы побороть свое искушение взглянуть на нее хоть издали.

Надо отдать должное Антону — он никому не рассказывал о наших взаимоотношениях. И все же мне не было от этого легче. Каждый день я просил его отправить меня на задание, но как раз в этот период немцы начали предпринимать карательные экспедиции против партизан, и Макс дал указание временно прекратить активные действия, выждать. Поэтому Антон лишь вздергивал плечами в ответ на мои настойчивые требования. Он осунулся и стал еще более молчаливым и замкнутым. И без того черные глаза пугали своей угрюмостью.

Но вот однажды он вызвал меня. Я смекнул, что это неспроста.

— Пойдешь на второй пост, — сказал он, отвернувшись к окну.

Лучше было бы, если бы он размахнулся и съездил мне по морде. Куда лучше: вторым постом называли маленькую мрачную землянку, в которой обычно содержались пленные.

А теперь в этой землянке сидела Лелька.

— Ты... — только и вымолвил я.

— Это — приказ, — сказал Антон, не обращая внимания на мое волнение. — Послезавтра придет самолет от Макса. «Кукурузник». Ее, — он избегал называть Лельку по имени, — приказано отправить. Под конвоем.

И, вероятно давая понять, что он, Антон Снегирь, специально назначает меня на этот пост, добавил:

— Испытания закаляют.

Пошатываясь, я вышел из комнаты. Стояли первые морозы, воздух в лесу был чистый и сухой, но мне казалось, что я вот-вот задохнусь.

Темнело рано. В пять часов вечера сторожка и землянки утонули в густых сумерках.

Я заступил на пост в шесть.

Не знаю, можно ли, обладая даже самым изощренным умом, придумать для меня более тяжкое испытание. Я ходил вокруг землянки, нахохлившись, забыв обо всем на свете, кроме одного: за дверью сидит Лелька. Та самая Лелька. Та самая?..

Она, конечно, не знает, что я рядом, не знает и того, что нахожусь в отряде. Я боялся этой встречи. Но теперь... Ведь послезавтра, как сказал Антон, она улетит. И доведется ли когда-нибудь еще встретиться с ней? Ты же должен знать правду, должен! И не исключено, что Антон решил создать тебе условия для этой последней встречи.

Я дождался полуночи. Стараясь не греметь ключом, открыл дверь и по ступенькам сошел в непроницаемый мрак. Потерял счет минутам. Не смея шевельнуться, стоял у самого входа.

Было тихо. И вдруг в тишине послышалось негромкое дыхание.

Что ж, буду слушать, как она дышит. И больше мне ничего не надо. Буду стоять и слушать, пока в лес сквозь голые деревья не прокрадется рассвет.

Кажется, она спит? Возможно, уж слишком ровное дыхание. Что снится ей? И как она может спать? Как она может спать после всего, что произошло? Или спит ее совесть?

Она спит и не знает, что ты стоишь здесь и слушаешь. И не чувствует, как из приоткрытой двери, ластясь к полу, вползает морозный воздух.

А может, не спит? И ломает голову, кто это вошел в землянку? И не знает, что я слушаю, как она дышит?

Мне ничего не стоило направить в темноту луч трофейного сигнального фонарика. Даже по выбору: красным или зеленым светом. Или обычным, белым. Но тогда я не выдержу и начну говорить. И тогда уже не услышу ее дыхания. Неужели оно одинаково — и у преступника, и у героя?

Но большой палец правой руки уже помимо воли сдвигал рычажок переключателя.

Свет!

Невероятно, но это случилось: синеватый, вздрагивающий сноп лучей выхватил из мрака лицо!

На меня смотрели, на миг зажмурясь от резкого света, ее глаза!

Она исхудала, повзрослела, но глаза не померкли, не потускнели. Я застыл, словно немой. Как хорошо, что она не видит меня, ведь я скрыт, надежно скрыт темпотой!

— Алеша...

— Ты... узнала?

— Алеша!

— Тебе холодно? Ты ела сегодня?

И это — вместо того чтобы обрушить проклятия!

Она улыбнулась. И меня взорвало: наверное, такую же улыбку дарила Генриху. И Шмигелю. И вообще — всем этим гадам. И может, не только им... Так будь же ты проклята!

Я выключил фонарик. Все исчезло. Сон? Видение? Или схожу с ума? Нет, она сидит живая, невозмутимая, сидит на охавке сосновых веток. Пахнет хвоей. Очень давно, может быть сто лет назад, вот так же пахли хвоей ее волосы, когда она забралась ко мне на вышку. Больше всего меня удивляло то, что рыжие волосы могут пахнуть хвоей.

Я снова передвинул рычажок. Пусть ответит на мои вопросы не в темноте, а при ярком свете.

— Как ты могла?

Она молчала.

— Как ты смела?!

— Алеша...

— Нет, ты скажешь. Скажешь!

— Уходи, — заплакала Лелька.

— Перестань! — И чем больше она плакала, тем сильнее закипала во мне злость. — Теперь тебе уже никто не поможет. Тебя отправят, — вдруг выпалил я, понимая, что не имею права говорить об этом. — Под конвоем. И это наша последняя встреча. И если ты даже не пытаешься оправдаться, значит...

Сейчас она скажет, что ее специально оставили в тылу врага, что так было нужно, что она сделала все, что могла. Я очень ждал этих слов. Как приговоренный к смерти ждет, что в последний момент его спасет какое-то чудо...

Еще мгновение — и я бы ушел. Но вдруг подумал о том, что, сколько знал Лельку, никогда не видел ее пла-

чущей. Мне стало жаль ее, но тут же возмущение вытеснило жалость. Слезы! Обычная женская уловка! Растопить лед в сердце, вызвать сочувствие. «Что слезы женщины? Вода...»

— Прощай, — сказал я.

— Алеша!

Я молчал.

— Алеша...

— Здесь нет Алеши. И нет Лельки.

— И все-таки у меня есть одно желание, — сказала она.

— Какое?

— Ты можешь вывести меня на прогулку?

— Могу, — сказал я, забыв о том, что нарушу обязанности часового.

Но отказаться от своего обещания я уже не мог. Да и велик ли будет мой проступок, коль прогулка разрешена ей официально?

Мы вышли из землянки. Перед тем как уйти, я навесил на дверь замок. Тот, кто, неровен час, вздумает подойти сюда, поймет, что арестованная на месте.

Темнота была густая, вязкая, лишь снег немощно подсвечивал эту темноту снизу, и потому можно было различить корневища деревьев. Мы пошли по тропке с едва приметными вмятинами следов.

Днем была оттепель, с голых деревьев текло, и к вечеру на снегу образовалась плотная корка. Она с хрустом оседала под тяжестью ног. Ветер утих, и ночь стояла спокойная, утомленная.

Мы шли молча. Она была в телогрейке, на голове — шерстяной платок. Кто-то уже успел о ней позаботиться.

Мы не знали, куда идем. Хотелось раствориться в ночи, чтобы потом, на рассвете, встретиться и чтобы каждый из нас оказался таким же, каким был прежде.

Я остановился первым. Она, вероятно, восприняла это как нежелание уходить слишком далеко от землянки.

— Еще семь шагов, — попросила она. — Я, дурная, верю в приметы. Древние римляне считали эту цифру счастливой.

Я выполнил ее желание. Деревья спали. Она прислонилась к стволу, и я не услышал, а почувствовал, как в ее груди часто и тревожно бьется сердце. И от этого мое сердце тоже застучало сильнее, порывистее.



— Самое страшное, — сказала она без грусти, — это то, что мы уже никогда не станем прежними.

— Почему?

— Война... Она так и будет стоять между нами...

— Но ты же... не случайно? Я знаю, знаю, тебе нельзя никому говорить об этом. Даже мне. Это правильно, это так и надо, и я понимаю. Но тебя же специально... Ну, я не прошу отвечать на этот вопрос. Не отвечай, но ты же отпустила Галину. Хотя ты очень рисковала. И наверное, не только это. Ты не рассказывай, это нельзя, разве я глупец? Я все понимаю...

Я говорил и говорил, боясь, что она опровергнет мои предположения, и мне хотелось лишь одного: чтобы она хотя бы намеком, кивком головы подтвердила то, о чем думаю я.

— Запомни, Алеша, — все так же тихо и спокойно сказала она. — Никто, — она выделила это слово, — никто меня не оставлял у немцев. Я сама осталась. Антон не соврал тебе. В немецкой газете есть снимок.

— Значит, — медленно произнес я, отшатнувшись от нее.

— Да, — сказала она еще тверже, — все это правда. Я стиснул автомат руками.

— Я ко всему готова, — сказала она. — И знаешь, Алеша... Даже там мне не было так страшно, как здесь.

— Но почему? — не выдержал я.

— Каждый может ткнуть в меня пальцем и сказать...

— Молчи! — воскликнул я.

— Спасибо, — прошептала она и неожиданно стремительно подошла ко мне, прикоснулась губами к моим губам. Я вздрогнул: мне почудилось, что это вовсе не Лелька целует меня.

Мы вернулись в землянку.

— Прощай, — сказала она. — И знаешь...

Я почувствовал, что в душе у нее идет борьба: сказать или не сказать?

Я терпеливо ждал.

— И знаешь, — повторила она волнуясь, — все-таки Лелька осталась Лелькой.

— Это правда? — спросил я.

— Не надо вопросов, Алеша.

— Нет, скажи, скажи, ты не можешь оставлять меня так... Ты не смеешь, слышишь?

— Я все сказала, — еще тише проговорила она. — Хочешь, повторю: Лелька осталась Лелькой.

Я стиснул ее в своих объятиях и стремительно вышел из землянки. Совсем рядом скрипнул снег, будто кто-то отпрянул от двери.

— Стой! — крикнул я. — Стрелять буду!

Эхо медленно вернуло мне обрывки слов. Я стремительно обогнул землянку. Там никого не было. «Начинаются галлюцинации», — испугался я и, пошатнувшись, прислонился спиной к дереву.

Небо стало совсем черным, непроницаемым. До рассвета было еще далеко.

Как же так? — думал я, стараясь разобраться в путанице мыслей, отделить истину от всего наносного. Значит, она приехала на заставу с заданием остаться у немцев, если начнется война. Но откровенно об этом сказать не может. И слова «Лелька осталась Лелькой» заменяют то, чего она не имеет права сказать. Но почему ее в таком случае отправляют под конвоем к Максусу? Чтобы никто не мог догадаться? Она — разведчица? А если все эти намеки — просто желание выглядеть в моих глазах лучше, чем она есть на самом деле? И можно ли верить ей? Можно ли? «Никому нельзя верить, и весь разговор!» — вспомнились мне слова Антона.

И вдруг мне стало страшно при мысли о том, что эти слова победят меня.

15

Площадку для посадки самолета мы готовили ночью. Нужно было обеспечить полную конспирацию. В противном случае Макс пообещал поснимать нам головы. Да мы и сами понимали, какой урон понесли бы партизаны, потеряв самолет.

Работа была трудная. Мы расчищали тяжелый, разбухший от влаги снег, рубили кустарник, а потом, прицепив за постромки огромное бревно, впрягли двух лошадей и этим нехитрым, малопроизводительным способом разравнивали посадочную полосу. Когда все было готово, сложили большие кучи сухих веток для сигнальных костров.

Управились лишь к утру.

Я рвался в расположение лагеря, забыв об усталости, не теряя надежды, что Антон поручит мне сопровождать

Лельку к самолету. Тогда появится возможность поговорить с ней еще раз. Но оказалось, что у него были другие намерения.

— Останешься в одеплении, — приказал он. — Старший — Федор. Задача — ни одна живая душа не должна проникнуть в зону посадочной площадки.

И тут же добавил:

— Что подделаешь? Людей раз-два — и обчелся.

Рассветало, начало подмораживать. Антон поглубже потянул шапку из заячьего меха — подарок Федора — и пошел к саням, сутулый, неприкаянный и жалкий.

У саней он постоял, не решаясь сесть, и вдруг скорым, но нетвердым шагом вернулся ко мне.

— Алексей, — он давно так не называл меня. — Ты не думай... Правда — она жестокая. Она загрызть может. А щадить нельзя. Ни сердце, ни душу. Мы с тобой что? Меня не будет, тебя не будет, а государство наше будет, жизнь будет.

— Это верно, — сказал я, все еще толком не понимая, к чему он клонит. — Только я человеком родился, а не муравьем. А насчет правды — так она у тебя своя, снежиревская. Слов нет, ты и жизнь отдашь за нашу победу. Только от твоей правды она горчить будет, да еще как!

Вот ты как обо мне... — в раздумье проговорил он, глядя мимо. — А ты читал товарища Сталина? — проникновенно спросил он, и брови его судорожно слились в одну линию.

Антон и раньше в упор ставил этот вопрос всем, кто в чем-то сомневался или не разделял его точку зрения. Он знал, как магически действует такой вопрос. Но, как и всегда, он задавал его обособленно от всего, о чем вел речь, не заботясь о логической последовательности своих мыслей.

— Товарища Сталина я читал. Он пишет, что человека надо выращивать, как садовник выращивает дерево. А ты Некипелова...

— Ты мне и Некипелова навесил? — ожесточенно подхватил он. — А я бдительность выше всего ставлю. Вот приведи он тогда немцев к мосту? Каюк нашему отряду. Ты за Рудольфа вступился? Так цыплят, браток, по осени считают. Капиталистическое окружение еще и не такие коники выбрасывает. Затаится такой Рудольф, своим до самых печенок прикинется, а потом нож в спину — и точ-

ка. А про эту, — с ударением произнес он, — и говорить нечего. Немецкая подстилка...

— Убью! — взревел я.

— Убей, — на его сумрачном лице появилось страшное, отрешенное выражение. — Стреляй, Лешка, ты меня спас, ты меня и на тот свет имеешь право списать. А то, — он неожиданно старчески сморщился, и мне показалось, что глаза его подернулись влажным туманом, — в бою пуля не берет, и весь разговор. Как заколдованный...

И он, втянув голову в плечи, пошел к саям.

Странное впечатление произвели на меня слова Антона. Они вызывали досаду и своей незавершенностью, и тем, что он, как мне казалось, вернулся ко мне, чтобы сказать совсем не то, что сказал, чтобы оправдать свою жестокость и, может, даже в какой-то степени раскаяться.

И то, что он так и не раскаялся, и то, что оставил меня в оцеплении, чтобы я не смог сопровождать Лельку, — все это вызвало во мне желание продолжить с ним разговор начистоту. Но я обязан был подчиниться приказу, решив, что, вернувшись в отряд, не смогу промолчать, как это бывало раньше, ничем не смогу утихомирить свое возмущение.

Да, я возвращусь в сторожку, когда Лелька уже улетит. Самолет исчезнет, растворится в ночи, и вместе с ним исчезнет, может быть, навсегда Лелька.

Что ж, тем с большим сознанием своей правоты я швырну в лицо Антона беспощадные слова:

— Ты знаешь, кто ты?.. С тобой страшно жить под одной крышей! Под одним небом!

День прошел в нетерпеливом ожидании ночи. Мы проголодались, замерзли. Одежда наша никак не подходила для наступивших холодов. О валенках приходилось только мечтать, обладатели поношенных телогреек или солдатских шинелей типа «б/у» вызывали острую зависть у тех, кто кутался в старую куртку или в кусок байкового одеяла. Все с надеждой ждали самолет: Макс обещал подкинуть нам обмундирование, взрывчатку, боеприпасы и продукты.

Время тянулось медленно. Неожиданно ко мне подошел Федор. Я обрадовался: появилась возможность поговорить, согреться крепким словом, горькой шуткой. Федор держался молодцом, он весь сиял, будто в предвидении чего-то радостного.

Со мной же своей радостью не делился. Спросив, не хочу ли я закурить, и получив отрицательный ответ, он вдруг дружеским, доверительным тоном спросил:

— Хороша небось рыжуха-то?

И не успел я очухаться от этого вопроса, не успел подумать, что ему ответить, как он зашагал дальше — весело и уверенно.

Я не мог оставаться в одиночестве и пошел к Волчанскому. Южанин, степняк, он люто ненавидел зиму и чертыхался, если кто-либо из бойцов расхваливал леса. Он не мог без дрожи смотреть, как северяне, считавшие здешние морозы детскими, умываются снегом.

Когда я подошел к Волчанскому, тот прыгал, с размаху хлопал себя по туловищу ладонями, тщетно пытаясь согреться. Завидев меня, он остановился, сконфуженно постучал одним ботинком о другой и сразу же заворчал:

— Мороз и солнце! Чудной оп, этот Пушкип, ей-бо! Осень любил, зимой восторгался. Меняю двадцать зим на одно лето!

— Эх ты, мерзляк, — сказал я. — Ты бы на Федора посмотрел — орел.

— Федор для меня не пример, — продолжая подпрыгивать, ответил Волчанский. — У него грудь орлиная, а душа куриная.

«Верно!» — хотелось мне поддержать, но я промолчал. У меня в голове были Лелька, Антон, самолет, слова Федора, сказанные с явным намеком. Поняв, что у меня плохое настроение, Волчанский, ничуть не огорчившись, принялся сообщать самые последние новости. Вообще, он был неистощимым источником информации.

— Скоро укрупнимся и Антона — по шапке. Макс его, кажется, раскусил. Он ему такой разгон дал за Шмигеля! Лезет, ей-бо, напролом. И убежден, что прав. Где-то я читал: если достоинства человека проявляются не тогда, когда надо, и не там, где надо, они становятся недостатками.

— Не будем обсуждать командира, — сказал я. — Да еще за глаза.

— Да как он мог поставить тебя охранять эту выд-ру? — не унимался Волчанский. — Это же, ей-бо, инквизиция!

«Неужели и он все знает?» — насторожился я.

— Ты же мог ее укокошить! — продолжал Волчанский. — А она красивая, рыжая сука. Сам Макс приказал ее в штаб доставить. Она, ей-бо, птица большого полета!

— Откуда ты взял?

— А может, она по спецзаданию, а? — наседал он.

— Она служила у немцев, — сказал я. — Вот и все, что я знаю. И точка, Волчанский.

Даже такой разговор о Лельке согрел меня. Я все еще ждал избавления. Вдруг Антон пришлет за мной. Но нет, к вечеру нам привезли термос с супом, ездовой ничего не сказал, и сани тут же укатили обратно.

Около полуночи на посадочной площадке вспыхнули костры, и вскоре позади нас, над головами, послышалось негромкое, ворчливое подвывание мотора. Казалось, самолет недоволен тем, что никак не может отыскать то место, которое мы ему подготовили, и с возрастающей обидой кружится над лесом. Но это продолжалось недолго. Неожиданно моторы взревели совсем рядом, резкий гул ударил в уши, самолет пронесся над деревьями и сгинул там, внизу, где зазывно горели костры.

Сел! Значит, сани уже примчали туда Лельку, и она, наверное кутаясь в платок, стоит неподалеку от самолета, ожидая, когда наши ребята закончат разгрузку. Она смотрит в темноту, розоватые отсветы пламени, прыгая, то зажигают ее глаза, то гасят их.

Лелька, Лелька! Сколько бы ты ни вглядывалась в ребят, спующих у самолета, ты не увидишь меня среди них. Что ты сейчас думаешь, Лелька? Неужели поверишь в смутное предчувствие того, что я не пришел, чтобы легче было вытравить тебя из своего сердца? Или решила, что Антон расправился со мной, узнав о том, как я вел себя в ту памятную ночь? О чем ты сейчас думаешь, Лелька?..

Я находился примерно в полукилометре от посадочной площадки готовый в любую минуту сигнальной ракетой предупредить об опасности. Мне чудилось, будто отсюда, из хмурых голых кустов, видно все, что происходит сейчас у самолета.

Из рук в руки ребята передают тяжелые тюки, свертки, ящики. Неуклюжий, в громоздкой одежде летчик негромко разговаривает с Антоном, стараясь как можно подробнее передать ему инструкции Макса. Потом говорит Антон. О Лельке, о том, наверное, что ее нужно надежно охранять, что она... Летчик время от времени с

возрастающим интересом поглядывает на Лельку, по-прежнему зябко кутающуюся в платок.

Вот она в самолете. В кабине темно и холодно, почти так же, как в лесу. Призрачно мерцают огоньки приборов напротив пилота. В костры подброшены сучья. Секунды обгоняют друг друга.

Внимание! Он уже мчится по взлетной полосе, этот неказистый «кукурузник». Снег языками белого пламени змеится из-под колес, натужно ревет мотор, стучит Лелькино сердце.

И вот уже у тех, кто стоял там, на поляне, остается лишь память о самолете, да лес неохотно гудит, стараясь приглушить свирепые звуки.

Напрасно ты смотришь в небо, Лешка, напрасно! Все равно ты ничего не увидишь!

Ни самолета, ни Лелькиных глаз...

16

Кончался ноябрь 1941 года.

Голый ствол березы возле сторожки служил нам своеобразным календарем. Каждое утро Борька делал на стволе новую зарубку.

Чем ближе эти зарубки подбирались к поперечной черте, условно обозначающей новый месяц, тем все больше черных бед обрушивалось на наш отряд.

Сбежал Федор. Никто и предположить не мог, что он подался к немцам. Его искали в лесу, думая, что он заблудился и замерз. Но никаких сомнений не осталось после того, как Волчанский обнаружил в вещмешке Федора записку: «Немец уже в Москве. Не поминайте лихом».

Антон ходил подавленный, потрясенный, непонимающе, удивленно смотрел на каждого, с кем встречался. А столкнувшись возле землянки со мной, сказал:

— А ты говоришь — верить!

Я промолчал. Бегство Федора было и для меня неожиданностью. Правда, я его недолюбливал, но, скорее всего, из-за того, что им восхищался Антон. Ему очень нравились его сметка, хитрость, исполнительность, хозяйственность. Но я доверял ему, как и всем остальным. И теперь ломал голову: как же во всем этом разобраться?

— Ты накаркал, — сказал я Волчанскому. — Теперь уж обязательно придется менять стоянку. Вдруг Федор у немцев.

— Моллюск этот Федор, — разозлился Волчанский. — А я с ним часы махнул, баш на баш. Теперь, ей-бо, хоть выбрасывай.

Особенно переживал Борька. Это было первое в его жизни разочарование в человеке, к которому он так доверчиво привязался. Борька ходил и говорил чуть ли не каждому бойцу:

— Какой гад, а?

В первый день декабря я зашел в землянку к Рудольфу. Вообще-то Антон запрещал крутиться возле рации, и Рудольф точно выполнял его требование, запирая дверь на засов от любопытных. Но для меня он всегда делал исключение. К Рудольфу был приставлен Волчанский. Таким образом Антон как бы убивал двух зайцев: обеспечивал контроль за немцем и давал Волчанскому возможность изучить рацию.

Рудольф сидел с наушниками, как всегда, спокойный и невозмутимый.

— Есть новости? — спросил я.

— Послушай, — Рудольф протянул мне наушники.

Наушники долго молчали, а потом откуда-то издалека до меня донесся простуженный голос диктора, говорившего по-русски, но с английским акцентом:

«В осведомленных кругах считают, что судьба русской столицы предрешена. Подмосковные заснеженные леса стали для отборных частей Гитлера трамплином для последнего прыжка на Москву. Наш корреспондент передает, что немецкие генералы рассматривают эту твердую большевизма в обыкновенный бинокль системы Цейса...»

— Брехня! — воскликнул я, сбрасывая наушники.

— К сожалению, то, что они у самой Москвы, — правда, — сказал Рудольф. — Сегодня я принял очень тревожную сводку Совинформбюро.

— Антон уже знает?

— Знает, — сказал Волчанский. — Я ему час назад докладывал.

— Ну и как он?

— Молчит. Сказал только, чтобы пока не сообщать личному составу.



— Послушай, — снова протянул мне наушники Рудольф.

Сначала я не поверил своим ушам. В снежной ночи звучал высокий и красивый женский голос:

Дорогая моя столица,  
Золотая моя Москва!..

Я впервые слышал эту песню, и мне казалось, что ее поет Лелька, поет, чтобы я знал, что она жива и помнит обо мне.

И еще я сказал себе, что люди, в чьих сердцах живет такая проникновенная и нежная любовь к своей земле, не сдадут Москву.

Я вышел из землянки и направился к Антону. Как бы там ни было, а сейчас ему, конечно же, тяжело, и, может быть, он терзается в одиночестве, ждет совета, сочувствия.

В комнатухе, где раньше жила Галина и где после ее смерти поселился Антон, было темновато, нетоплено, тихо. Я пошире распахнул дверь.

Антон лежал на полу, запрокинув голову, совсем так, как тогда, когда я притащил его, тяжелораненого, в лес и попл водой из каски Рудольфа. Рядом валялся, казалось, еще дымящийся пистолет.

Мне вспомнились один из рассказов Макса о странных явлениях, происходящих порой с лесом. Стойт, казалось бы, незыблемо дерево-великан, злые бури разбиваются о его стойкость, и вдруг приходит момент, когда слабый всплеск ветра повергает его на землю.

Я помчался к радистам. Но не успел добежать до землянки — столкнулся с Волчанским. Мы едва не сшибли друг друга с ног.

— Бегу доложить Антону, — захлебываясь, проговорил Волчанский, не дав мне раскрыть рта. — Макс приказал уходить. Немцы начнут сегодня прочесывать лес. Этот Федор, ей-бо, каракатица, осьминог копченый...

— Антон застрелился, — сказал я, чувствуя, что сейчас, как никогда, нужна железная твердость.

— Застрелился?! Как же теперь... — Волчанский захлебывался, слова застревали у него в горле.

— Не паникуй.

Мы вошли в сторожку, положили Антона на топчан. Я вытащил из его кармана красноармейскую книжку и какие-то бумаги.

— Собери отряд, — приказал я Волчанскому. Он кинулся выполнять приказание.

Тем временем я попытался связаться с Максом, чтобы доложить о чрезвычайном происшествии в отряде. Но Макс не отвечал на наши вызовы. Рудольф нервничал, виновато поглядывал на меня.

Волчанский построил отряд. Я подошел к настороженным бойцам, чувствуя, что взвалил на свои плечи суровую, нелегкую ношу.

— Антон Снегирь покончил с собой, — решив ничего и никогда не скрывать от людей, сказал я и сам удивился тому, что сумел спокойно произнести эти слова. — Командование отрядом временно беру на себя. На сборы — десять минут. Уходим на новое место. Иначе нас опередят немцы.

Антона мы похоронили быстро, тихо, без ружейного салюта. Не стреляли, чтобы не слышали немцы. Речей тоже не было. Лишь Волчанский промолвил грустно:

— Ну вот, ей-бо...

И неожиданно затрясся от рыданий.

Еще несколько минут — и сторожка, приютившая нас, ставшая для нас родной, осталась позади. А в той стороне, где было шоссе, уже слышался отдаленный лай овчарок, играли редкие всполохи осветительных ракет.

Мы знали, что отряду придется хлебнуть горя.

Знали, что придется столкнуться с немцами.

Знали, что впереди нас, наверное, ждет бой.

И что он, конечно, будет нелегким. И на помощь рассчитывать не придется. Тут к тебе никто не поспешит ни с правого, ни с левого фланга.

Но разве тем, кто стоит под Москвой, легче?..

Мы шли, и сторожка отдалялась от нас все дальше и дальше, притихшая, брошенная. Помнится, собрались мы в нее, сомневающиеся, растерянные, с еще не исчезнувшей надеждой на то, что скоро эти леса взорвет, разбудит родное «ура». И что мы тоже попросимся в строй, хотя бы на самый левый фланг. Теперь ожиданиям пришел конец. Теперь ясно: воевать придется долго и трудно. Значит, как сказал Максим Петухов, будем разжигать партизанское пламя. В это пламя добавим свою искорку и мы.

Максим Петухов... Удивительно! За все время он так и не смог выбраться к нам. Может, были дела поважнее. А может, так надо было. Даже на могилу дочери не при-

ехал. А когда Антон позвал его, Макс сказал глухо, выдавливая из себя каждое слово:

— Освободим землю — приеду...

Сильной воли человек! И хотя ни разу мы не видели его в своем отряде, стоило услышать: «Макс приказал», «Макс недоволен», «Макс одобрил», как на сердце становилось спокойнее, мы обретали уверенность, чувствовали, что наш партизанский островок накрепко связан с родным материком.

А сторожка позади. И уже не разглядишь ее отсюда, хоть заберись на самое высокое дерево. Шире шаг, хмурые парни. Слышите, как овчарки, натянув поводки, устремились по нашим следам? Слышите?

А там, где осталось наше жилье, грубая, сколоченная из горбылей дверь тяжело и надрывно вздыхает от порывов ветра. И землянка, в которой сидела Лелька, пуста.

Где ты сейчас, Лелька?

Как мы выросли, как повзрослели! В сущности, много ли прошло времени с той поры, как мы, беспечные студенты, мчались сломя голову на лекцию или на танцульки? Как Яшка Жемчужников, проглотив пилюлю, пригрозил: «Мы ничего не забудем...» Кто знает, может, и припомнит. Дорога жизни и бесконечно широка и бесконечно узка — люди и теряют на ней друг друга, и сталкиваются так неожиданно, что иной раз диву даешься.

Да, прожито немало, пережито много. Считать по дням, по календарным листочкам — прошло чуть побольше семестра в институте. Но зачетов и экзаменов за «семестр» сдано порядочно. Пожалуй, на кандидатскую степень потянет. Правда, одни экзамены сданы на пятерку, на других мы провалились. Не удивительно.

Главный экзамен, как всегда, впереди.

Эй ты, философ! Совсем забыл про бумаги, найденные в кармане у Антона. Читай же их! Кто знает, придется ли прочитать потом, когда столкнемся с карателями?

Я вынул листки и, сойдя на обочину, включил фонарик. Мимо проходили бойцы. Проехала повозка, на которой сидел Борька. Никого не удивляло, что я остановился. Значит, так надо. Может, командир сверяет путь по карте?

Прочитать написанное на листках было минутным делом. На одном из них рукой Антона угловатыми разма-

пистыми буквами было написано начало приказа по отряду:

«За грубое нарушение обязанностей часового и преступную связь с арестованной бойца отряда Стрельбицкого Алексея...»

Приказ обрывался. Почему же он его не дописал? Помешали? Передумал? Так и не смог определить мне меру наказания? Или решил ту пулю, что предназначалась мне, оставить себе?..

Второй листок — вырезка из немецкой газеты. Что такое?! Тот самый фотоснимок, о котором говорила Лелька? Она стоит во весь рост, без пилотки и улыбается, едва приметно, но улыбается! А возле нее — немец, хохочущий, самоуверенный.

Первым желанием было в клочья разорвать эту вырезку. Разорвать, иначе Лелькина улыбка будет преследовать меня всю жизнь. И вдруг на обороте я увидел слова, написанные ее почерком прямо по строкам немецкого текста:

«Мы верны тебе, Родина. Как солнце дню, как железо магниту, как земля своему эпицентру».

И как бы перечеркивая эти слова, стоял большой вопросительный знак. Рука Антона! Почему же эта вырезка очутилась у него? Несомненно, Лелька надеялась передать ее мне. Но...

Я еще раз прочитал взволновавшие меня строки. «Как солнце дню...» Чьи это слова? Лелькины? Или их сказал какой-нибудь древний мудрец?

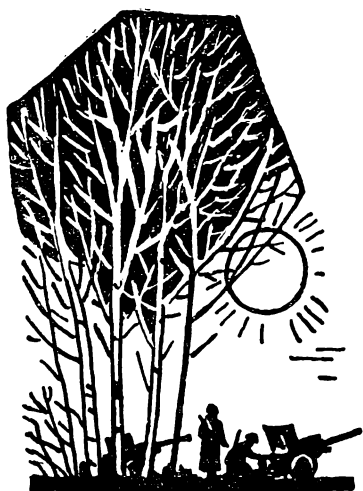
Не имеет значения, как любила говорить Галина.

Да, это не имеет значения.

Главное — Лелька осталась Лелькой.

И каждый остался самим собой.





ЮНОСТЬ  
УХОДИТ  
В БОЙ



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**Т**О место, на котором стояла батарея в туманное утро, пришлось Валерию не по душе. Он и сам толком не знал почему. Тяжелые предчувствия одолевали его с самого рассвета.

Валерий сидел на пеньке. Молчаливый и хмурый наводчик Малушкин, неторопливо оглядевшись вокруг, сказал:

— Славное место. Березы-то как в Сибири.

Бронебойщик Синицын, сбиваясь и путаясь, противореча самому себе, заспорил:

— Это ты, стало быть, зря, Пантелеймон Иванович. Ну, не зря, стало быть, а напрасно так говоришь. Земля здесь какая? Серая да тощая.

Боясь, что Малушкин степенно и веско опровергнет его жиденькие доказательства, он тут же добавил:

— Ну, земля здесь тоже вроде ничего, да, стало быть, не такая, как у нас.

Малушкин медлил с ответом, словно не слышал горячих слов Синицына, давая понять, что не желает затевать длинный разговор. Он взял саперную лопату, расправил широкие, чуть сгорбленные плечи, приготовился копать и, не оборачиваясь в сторону Синицына, заметил:

— Земля что надо. Для окопа в самый раз.

Синицын откликнулся весело и с прежней поспешностью:

— Окопчик, Пантелеймон Иванович, стало быть, копать тебе. А я в этом деле не участник. Я с бронебойкой — в тыл.

— Ты всегда в тылу вертишься, — пробурчал Малушкин.

— Точно, он до тылов любитель, — беззлобно подхватили окружающие.

Синицын не смутился и с явным удовольствием ответил:

— Это мне комбат приказал. Ну, не комбат, а командир взвода, старший на батарее. Это, стало быть, круговая оборона. А взводный не спрашивает, хочешь или нет. А ты, Пантелеймон Иванович, раз здешние места хвалишь — вкалывай, стало быть, не ленись.

Валерий в разговор не вмешивался. Он любил мысленно поддакивать одним, не соглашаться с другими. Его удивило, что Малушкин, этот замкнутый, нелюдимый солдат, восторгается березой, словно поэт. Но можно ли быть поэтом и солдатом одновременно? Нет, не совместишь. Так же, как, скажем, воду и землю. Как он сказал? «Березы-то как в Сибири». Значит, он посмотрел на них не просто, как военный, который стал бы прикидывать, годятся ли эти березы, к примеру, для наката. Или лирика только помешала бы ему. Вон позади чернеет лес. Поэт увидит в нем осеннее чудо, а солдат скажет, что это хорошее укрытие. Или этот пышный туман, что спрятал сейчас кустарники и овраги. В нем тоже свое очарование. А сейчас он мешает вражеским самолетам увидеть батарею. Или эта земля. Тут Малушкин прав. Для окопа в самый раз. А в самом деле, может ли солдат сберечь в себе сердце поэта?

На душе у Валерия было хмуро. Даже размышления о природе, всегда навевавшие на него тихое нежное спокойствие, сейчас раздражали.

Валерий торопил бойцов. Нужно было как можно скорее отрыть окопы, щели и погребки для снарядов.

Вскоре батарея зарылась в землю. Орудийные расчеты в ожидании команды с наблюдательного пункта расположились недалеко от гаубиц. Туман рассеялся. Многие бойцы прилегли на порыжелую траву, дремали. Теперь они уже не поглядывали в сторону полевой кухни, дымок

которой легкой, едва приметной струйкой вился над дальней ложбиной.

Лес, что раскинулся позади батареи, оказался совсем не таким, каким он был в тумане. Он выглядел теперь свежим, словно все утро умывался родниковой водой. Небо очистилось от мутной пелены и потому казалось особенно высоким.

Валерий смотрел на все это, на блаженно улыбавшегося во сне Малушкина, и ему вспомнилось, что вот так же, не очень давно, на учениях в тылу, беззаботно и мирно располагалась батарея и тот же Малушкин лежал на спине, приоткрыв маленький рот.

Валерий присел на пенек в стороне от гаубицы. Кто-то тронул его за ремень. Он вздрогнул и обернулся. Позади стоял Саша.

— Я сразу догадался, что это ты, — обрадованно сказал Валерий. — Хорошо, что пришел. На меня напала хандра.

— А мне хандрить не дают.

— Кто?

— Люди.

— Эти пожилые бородачи? Что у нас может быть общего с ними? Они только и говорят, что о ржи, картошке да о ребятишках. Я убежден, что они подчиняются нам, безусым младенцам, только потому, что мы лучше разбираемся во всех этих артиллерийских премудростях. Иначе они начхали бы на нас.

— Хорошие люди, — сказал Саша, присаживаясь рядом с Валерием. — Иной раз даже как-то неудобно ими командовать. Правда, они все делают на совесть и часто даже без всякой команды.

— А ты веришь в предчувствия? — отвернувшись от Саши, вдруг спросил Валерий.

Что значит верить? — ответил Саша. — Это значит безгранично быть убежденным в чем-то. Бывает, что я словно в ожидании чего-то хорошего или чего-то дурного. Но я противлюсь этому чувству, стараюсь не поддаваться.

— У тебя душа реалиста, а не романтика, — невесело усмехнулся Валерий. — Ты не поэт. А поэт должен сам идти навстречу чувствам. Ты хочешь написать о человеке, потерявшем веру в жизнь? Сделай так, чтобы его безверие откликнулось в тебе. Поставь себя на его место и испытай его страдания. Тогда ты напишешь правду.



— Если бы я был поэтом, я никогда не писал бы о людях, потерявших веру в жизнь, — спокойно посмотрев на Валерия, сказал Саша. — Если человек перестал ощущать радость жизни и испытывать счастье от того, что он живет на земле, — он уже не человек.

— А не думаешь ли ты, что люди, которые тебе по душе, страдают большим недостатком — боятся расстаться с жизнью? Могут ли они, забыв о себе, совершить подвиг?

— Только они и могут, — сказал Саша, загораясь желанием высказать Валерию свое мнение, но тот опередил его.

— Вот мы говорим: жизнь, подвиг, счастье. Высокие слова, в каждом из них поэма. И очень часто, захлебываясь от избытка торжественности, швыряемся ими по поводу и без повода. А вот скажи мне, почему в этой жизни, где и счастье и подвиги, каждый обязательно занят чем-нибудь своим? И подвиг — разве это прежде всего не свое? Или счастье — не свое?

— Неправда, — твердо сказал Саша. Он понимал, что Валерий в чем-то главном не прав, но все еще не мог найти слов, чтобы выразить эту неправоту и доказать свое. — Неправда, — повторил он жестче. — Разве каждый из нас воюет только ради самого себя?

— Подожди. Ты говоришь, неправда? А чем заняты твои мысли? Я не ошибусь, если скажу, что ты, забывая о других, часто думаешь о Жене. Озабочен, успела ли эвакуироваться твоя мать. И думы об этом ты связываешь с желанием жить. А думаешь ли ты с таким же волнением, с такой же силой сострадания, скажем, о моем отце или о матери комбата Федорова? Если и думаешь, то совсем не так, и то волнение, которое ты испытываешь, вспоминая о своих родных и любимых, нельзя приравнять к тому волнению, с которым ты думаешь о чужих. Скажи, что не так?

— Мы воюем не только ради себя, — упрямо повторил Саша, с удивлением глядя на хмурого, взъерошенного Валерия. — И если бы мы все делили на «свой» и «чужой», нас давно бы смяли.

— Все это верно, дружище, — согласился Валерий, — но все же только тогда я поверю в человечество, когда каждый человек чужое горе и чужую радость будет пере-

живать, как свое собственное горе и свою собственную радость.

— Ты чего такой злой сегодня?

— Скажи, сколько мы будем отступать? Отступали до нас, вот теперь пришли мы, и все одно и то же. Никогда не думал, что все так получится. В первый день войны я ощущал в себе такую силу, такую уверенность. Но сейчас...

— Молчи, — тихо сказал Саша. — Лучше молчи.

Валерий оторопело посмотрел на Сашу, затих, неожиданно придвинулся к нему вплотную и схватил его за узкие плечи: — Скажи, только правду скажи, я верю, что ты не покривишь душой. Ты боишься, что тебя убьют?

На этот вопрос можно было ответить только утвердительно или только отрицательно. И Саша, подумав, ответил:

Боюсь.

— Я так и думал, — обрадованно сказал Валерий.

Саша промолчал, припоминая что-то.

— В тот вечер, когда мою гаубицу первый раз выкатили на прямую наводку, помнишь, я почему-то особенно много думал о жизни и смерти. На рассвете мы должны были открыть огонь. Всю ночь я просидел без сна. И что, ты думаешь, делал? Мысленно пел песни. Вслух было нельзя — в трехстах метрах, даже ближе, — немцы. «Орленка» спел, «Любимый город», «Чайку», «Три танкиста». Не веришь? Я знаю, что такое вести огонь по танкам, зарытым в землю. Мне было страшно: погибну — и не станет этих песен. И я пел.

— А я всегда спокоен: верю в свою звезду.

— Но скажи, разве сильные и смелые люди не любят жизнь? Малодушные и слабовольные расстаются с ней запросто: пулю в висок. А мне жизнь нужна. Хочу бороться. Какой толк от меня, если я мертв?

— Ну, ладно, — примирительно сказал Валерий. — На кой черт мы будем думать о смерти? Мне только до слез бывает жаль нашу юность. Мы раньше времени расстались с ней.

Они прилегли на траву, но не успели задремать, как их поднял на ноги тревожный возглас:

— По местам!

Они побежали к своим орудиям.

Повторяя команды, передаваемые связистом, Валерий наблюдал, как его расчет привычно и сноровисто готовит

гаубицу к открытию огня. И все же не испытывал к этим людям полного доверия. Ему думалось, что каждый боец быстрыми, точными действиями пытается упрятать свой страх, стремится отвлечься от неприятных и тяжелых предчувствий.

Первый выстрел прозвучал около полудня. Вначале стрельба была редкой, с перерывами, но чем дальше, тем она все более нарастала. У орудий валялись горки стреляных гильз. Трава вокруг гаубичных стволов порыжела. Ящичные непрерывно подтаскивали снаряды.

Валерий внимательно вслушивался в команды, передаваемые с наблюдательного пункта. Комбат невероятно быстро уменьшал прицел. Подсчитав, насколько изменилось направление стрельбы, Валерий понял, что это направление сейчас точно совпадало с наблюдательным пунктом Федорова.

«Кажется, он вызвал огонь на себя!» — поежился Валерий.

Неожиданно в вышине злобно зашипел снаряд. Мгновение — и он с каким-то веселым треском разорвался позади батареи. Вслед за ним, словно соревнуясь друг с другом в быстроте, примчались новые. Скоро и звуки выстрелов своих орудий, и рывканье немецких снарядов, и ожесточенные команды — все слилось в один грохочущий гул. Валерий судорожно прижался к щетинистой траве.

И тут все увидели, как с высоты, отделившись от кустарника, вниз, к огневой позиции, стремительным размашистым галопом скачет всадник. Валерий без труда узнал в нем комбата Федорова.

Федоров соскочил с коня, бросил повод ординарцу и побежал к батареям. Командиры взводов и орудий устремились к нему навстречу. Одним из первых был Валерий. Его удивило то, что приезд Федорова на батарею совпал с временным затишьем: артиллерия противника умолкла, самолеты отбомбились.

— Мой НП теперь здесь, — охрипшим басом загремел Федоров и взмахнул рукой, показывая на огневую позицию.

Валерий думал, что комбат скажет о жизни и смерти, скажет, что нужно умереть или победить, или еще что-либо в этом роде. Но ошибся. Высокий, массивный Федоров по-хозяйски уверенно и независимо переходил от ору-

дия к орудию, проверяя их готовность. Говорил мало и отрывисто и, казалось, не успевал высказать всего того, что ему хотелось.

— Держись, ребята, — напутствовал он батарейцев. — Сейчас танки пойдут. Кто боится, говори сразу. Я своей шинелкой укрою, она у меня непробиваемая.

Бойцы улыбались, скупой и слишком уж серьезно шутили в ответ.

У четвертого орудия Федоров задержался подольше. Молча постоял у тела убитого наводчика Котелкова, снял фуражку. Потом подошел к Саше и похлопал его по плечу.

Вскоре показались танки. Они быстро обогнули высоту слева и справа и ринулись на батарею. Гаубицы заговорили наперебой. Резко поднялся на дыбы и замер передний танк. С него огненным вихрем смело темные фигурки гитлеровских солдат. Танки тут же огрызнулись злым огнем. Черным веером взметнулась в чистое небо земля. Четвертому орудию снова не повезло. Его окутало сизое пламя взрыва. Оно быстро рассеялось, и стало видно, что орудийный окоп опустел. Гаубица притихла. Но прошла минута, и у панорамы уже кто-то стоял. Валерий присмотрелся: это был Саша.

Огонь с обеих сторон становился все ожесточеннее. Казалось, что все снаряды, которые посылает противник, все пули автоматчиков, пронырливо бегущих за танками, — все это обрушилось на батарею Федорова. Вышло из строя третье орудие. Весь его расчет погиб.

«Это же ад, настоящий ад, — суматошно метались мысли в голове Валерия. — Теперь, если даже совершить что-то необычайное, все равно оно затеряется в этой взбудораженной сумятице, в этой мечущейся суматошной массе. Любой подвиг, будь он самым изумительным, останется безвестным. Батарея гибнет...»

— Крапивин! — вдруг услышал Валерий голос командира взвода лейтенанта Храпова. — Танк слева обошел батарею. Опасаюсь за тыл. Там один Синицын. Надо усилить.

— Есть! — воскликнул Валерий и хотел было отдать приказание Малужкину о том, что тот остается за командира орудия, но тут снова ахнуло совсем рядом, рев моторов наполнил на батарею, и он, не задерживаясь больше, метнулся в сторону от орудий.

Неподалеку от батареи оказался высохший ручей: Валерий стремительно пополз по нему. Он говорил себе, что должен спешить, что выполняет очень важное и ответственное задание. Им, на батарее, сейчас все-таки легче, чем ему. Они видят противника, их много. А он, Валерий, здесь один и не знает, что ждет его впереди. Но он выполняет приказ и должен спешить.

Валерий уползал все дальше и дальше. Временами он останавливался передохнуть, опускал взмокшее от пота лицо на сухую землю и жадным взглядом всматривался в красноватые листья, в тонкие, качающиеся под его дыханием былинки переспелой травы. Ему не верилось, что он все еще жив.

Решив проверить направление своего движения, Валерий высунул голову из-за куста. В ушах нестерпимо гудело и звенело от взрывов, и Валерий не сразу услышал ворчание мотора и лязг гусениц танка, который пытался ударить по батарее с тыла.

И тут Валерий увидел бронбойщика. Это был Синицын. Через секунду он исчез из его поля зрения. Танк надвигался все неумолимее. Валерий напрягся всем телом и, резко приподнявшись от земли, швырнул в него противотанковую гранату. В этот же миг маленькая фигурка Синицына, будто подброшенная стальной пружиной, возникла у самого танка. Стремительной птицей взлетела его рука, зажавшая связку гранат. Почти одновременно раздались два взрыва.

Когда грохот утих, Валерий с трудом приподнял голову.

Танк горел!

«Кто же из нас?» — подумал Валерий. Торопливым рывком он выскочил из своего укрытия и помчался к Синицыну.

Синицын лежал на спине в сухом бурьяне и, казалось, главное, к чему он теперь стремился, было — получше и попристальнее разглядеть высокую невозмутимую синь неба, белесые облачка, взъерошенные листочки худенькой березки.

Стихший было грохот пальбы на батарее вспыхнул снова, словно артиллеристы прощались с Синицыным.

«Вот тебе и «стало быть», — рассматривая Синицына, с жалостью подумал Валерий. — Но кто же, кто из нас подбил танк?»

Валерий вслушался в гул позади себя, настороженно рассмотрел горящий танк и принял головой к груди Сеницына. Он прислушался, но так и не понял, бьется еще сердце бронбойщика или уже замолкло навсегда. Валерий долго не мог успокоиться и справиться с дрожью, которая охватила его еще в тот момент, когда он увидел устремленный в небо открытый и ясный взгляд Сеницына. Но постепенно волнение улеглось.

«А ведь я нужен здесь, нужен, — говорил он себе, и то, что он говорил, убеждало и успокаивало его. — Здесь еще сложнее, чем на батарее. Удар с тыла опаснее. Об этом всегда говорил Федоров. И этот удар предотвращу я».

Валерий улегся поудобнее и придвинул к себе несколько уцелевших гранат. Как замороженный, смотрел на горящий танк. Здесь, среди поля с одинокими березками и кустами, пламя выглядело неестественным.

И Валерий подумал, что как было бы хорошо, если бы это был последний, самый последний вражеский танк и что тогда он смог бы описать и это пламя, и бой, и подвиг Сеницына. Человека, который только что был жив, а вот сейчас уже мертв и который мог бы еще пахать землю, гулять на свадьбе у своего сына, ловить в Оби рыбу. Неужели он, этот Сеницын, родился для того, чтобы вот так закончить свою жизнь? Чтобы всегда чем-то жертвовать, отказываться от радостей, мерзнуть в снегу, мокнуть под дождем, утонать в болотах и ложиться под танки?

Валерию захотелось есть. Он подполз к Сеницыну, пошарил рукой в кармане его брюк. Там лежал сухарь. Валерий поспешно сунул его в рот, поддержал на языке, глотая вкусную, пропитанную кисловатым хлебным запахом слюну.

«Вот оно, — подумал он. — А что «оно»? Да, да, конечно. Если танк подбил Сеницын, он совершил подвиг. Но, может быть, моя граната оказалась первой? Отец бы понял меня. Он всегда любил подчеркивать, что первенство — великое дело. А Женья? Что сказала бы она, если бы знала, что меня очень волнует вопрос — кто из нас уничтожил танк? Увидел бы я на ее лице такую же наивную радость, какую видел всегда?»

Быстрелы позади раздавались реже и реже. Потом все стихло.

Ждать Валерию пришлось долго. Но он дождался.

Они шли усталые и нахмуренные. Шли гуськом, будто с тропинки невозможно было сойти в сторону без риска угодить в воду или провалиться в глухую пропасть. Федоров с рукой на перевязи, Саша, Храпов, наводчик Фролкин и еще кто-то из бойцов.

Валерий припал к земле и, не выпуская из рук гранаты, тихо застал. Он сам поверил в то, что не побоялся пожертвовать собой и спасся каким-то неведомым чудом. Поверил настолько, что ему стало жалко самого себя.

— Жив? — хрипло спросил Федоров, наклонившись к нему. — Жив, братец, — утвердительно кивнул он своей тяжелой головой.

Валерий подкупающе чистым, правдивым и страдальческим взглядом посмотрел на комбата.

Синицына положили в тот самый окопчик, из которого он вступил в единоборство с танком. Наскоро засыпали землей.

— Эх, — сказал Фролкин. — И похоронить-то как следует нельзя.

Батарейцы поспешно двинулись к лесу.

— А здорово ты этот танк расчихвости, — медленно сказал Федоров, увидев, что Валерий идет рядом с ним.

Валерий долго молчал. Потом тихо и смущенно произнес:

— Вместе с Синицыным.

— О чем это ты? — удивился Федоров.

— О танке.

— А ты славный парень, — подумав, сказал Федоров.

Валерий благодарно посмотрел в круглое закопченное лицо комбата.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Зима подкралась неожиданно. Грязные изъезженные большаки сковало морозом. Поседел, покрывшись свежим инеем, мокрый бурьян на обочинах. Обиженно и тоскливо закричали грачи. Нахмуренное небо без устали сыпало на звонкую затвердевшую землю ледяные дробинки колючей крупы. А вскоре холодный пронизывающий ветер, нещадно сбивший последние, прихваченные морозом листья с осиротевших берез, принес первые снежные хлопья. Над помрачневшей землей разыгралась метель.

В эти первые зимние дни Федоров закончил формирование новой батареи. Артиллерийский полк, в составе которого находилась батарея, размещался в одном из лагерей под Инзой и в первой половине ноября получил приказ погрузиться в эшелон для отправки на фронт. Федоров не терпел будничной учебы в тылу и, узнав о приказе, помолодел. Саше и Валерию, которые снова попали в его батарею, он возбужденно сказал:

— Юнцы! Хотите стать великими полководцами? Предстоят большие дела.

В чем заключается сущность этих больших дел, Федоров не сказал. Но чувствовалось, что на фронте должно произойти что-то новое, радостное, необыкновенное.

Тревожной ночью эшелон артполка прибыл на станцию Ряжск. Станционные постройки проступали в темноте расплывчатыми мутными пятнами. Сдержанно пыхтели паровозы. Вокруг — ни одного огонька. Только небо не признавало маскировки: звезды вспыхивали одна ярче другой и бесстрашно глазели на беспокойную землю.

Остаток ночи ушел на разгрузку, а на рассвете после недолгих приготовлений батарея походным порядком двинулась к линии фронта.

Проснувшееся солнце побороло предрассветную темноту, и замерзшие за ночь снега благодарно вспыхнули ярким румянцем. Над колонной в морозном воздухе метался сизый дымок. Специальных тягачей батарея еще не имела, их заменяли самые обыкновенные тракторы «ЧТЗ», пришедшие на войну прямо с колхозного поля. Лишь головное орудие тащил стремительный, юркий тягач, похожий на танкетку. В кабине его восседал Федоров.

Еще перед отправкой на фронт батарею перевели с конной тяги на механическую, и теперь кони остались только во взводе управления. Не сдал своего коня и командир второй батареи капитан Половников, красивый и самоуверенный офицер.

Федоров вывел батарею на холмистую улочку маленькой деревушки. Колонна остановилась возле невысоких кирпичных домиков, крытых соломой. Командиры взводов и орудий окружили комбата. Тот чувствовал себя именинником. Он стоял в ватнике, туго перетянутом ремнем, в сапогах, голенища которых с трудом налезали на его полные икры. Лицо покраснелось от мороза и от только что



выпитой чарки спирта. Смолистые вихры непокорно выбивались из-под большой шапки.

Комбат уточнил обстановку, довел до командиров сведения о противнике, напомнил о действиях расчетов при нападении танков и самолетов, рассказал о порядке взаимодействия с пехотой и соседними батареями.

— Огневая позиция — в Яблоновке, — сказал он. — Там даем первый выстрел. Ясно? Вы знаете, что такое первый выстрел? Чтобы все как по нотам!

Комбат неловко, по-медвежьи втиснулся в кабину тягача, буркнул что-то водителю. Тягач взревел и ринулся вперед. На землю с ломких, застывших на морозе ветвей деревьев сыпнуло сухую изморозь. Затарахтели моторы тракторов, расчеты заняли свои места. Наводчик Фролкин деловито швырнул на укатанную дорогу окурков и старательно растоптал его валенком. Маленький вертлявый заряжающий Бурлесков в десятый раз поправил съезжавший с узкого плеча карабин и лихо махнул рукой в сторону головной машины, будто указывал направление, по которому на колхозном поле должна пролечь борозда.

Тягач Федорова был уже впереди. От него вздымался неистовый снежный вихрь. Гаубица послушно катилась следом.

Двигались долго, без остановок, все ближе и ближе к линии фронта, откуда уже доносились глухие звуки артиллерийской перестрелки.

Саше передали, что его вызывает комбат Половников. Саша примчался во вторую батарею. Увидев его, Половников свернул на обочину и остановил коня.

— Я знаю, вам приходилось ездить верхом, — беспешно пытаюсь придать своему официальному тону оттенок доброты и шутливости, сказал Половников. — Даю вам своего коня. — Он тут же помрачнел и насупился, словно должен был расстаться с конем навсегда. — Держите повод, — приказным тоном продолжал капитан, легко спрыгнув с седла. — Догоните Федорова. Старшего лейтенанта Федорова, — поправился он, делая особый нажим на слова «старший лейтенант». — Передайте ему приказание комполка изменить маршрут. А то он заедет черт знает куда. — Половников снова посветлел, потому что ему было приятно показать, что он вправе критически относиться к действиям командира первой батареи. — Скажите, что

приказано прибыть не в Яблоновку, а в Черново. Повятно? Не в Яблоновку, а в Черново. Повторите.

Саша повторил, пытаясь скрыть волнение: давно не ездил верхом. Едва он занес ногу в стремя, как конь, привыкший к Половникову, заупрямился.

— Повод, повод наберите! Что вы юни распустили, как баба, черт вас возьми! — рывкнул Половников, хотя голос его и сейчас не потерял своей звучности и мелодичности.

Саша покраснел, набрал повод. Конь сразу же заиграл, вскидывая упрямой головой, и постепенно смирился. Саша воспользовался этим, забрался в седло. Конь зло рванул вперед.

За рощей Саша заметил тягач Федорова, черной букашкой спускавшийся с пригорка. Мостик через речушку, огибавшую рощу, был разрушен, черные бревна разбросаны по сторонам вместе с землей, ветками и соломой. Тягач круто вильнул в сторону и понесся в объезд. Федоров намеревался проехать по льду. Казалось, в этом замысле не было ничего удивительного: зима стояла студеная, реки были скованы намертво.

И тем неожиданнее было то, что увидел Саша: с глухим треском проломился припудренный снегом лед речушки. Тягач торопливо ушел под воду. Гаубица осела вслед за ним, медленно преодолевая сопротивление ломающегося льда.

Саша прыгнул с коня и побежал к реке, проваливаясь в глубокий снег. Конь круто повернул назад, сделал круг и остановился, нервно лязгая об удила зубами.

Саша вбежал на лед. Из темной колеблющейся полыньи на него смотрели живые светящиеся глаза фар. Казалось, они зывают о помощи.

Расчет уже толпился на берегу. Валерий с трудом карабкался на пригорок: видимо, ему удалось вовремя выпрыгнуть из кабины. Федоров напрягал все силы, чтобы выбраться на лед, но стоило ему налечь на край ледяной оковки, как от него отламывался новый пласт. Федорова тут же затягивало в дымящуюся паром полынью.

— Ремни! Свяжать ремни! — вдруг раздался звонкий и повелительный голос Валерия.

Быстро связали несколько ремней. Валерий кинул конец барахтающемуся в воде комбату.

— Взялись! — скомандовал Валерий.

Федоров, крепко ухватившись за ремень красными, словно выхваченными из кипятка руками, лег на живот и плашмя проехал по затрепавшему льду. Валерий и Саша подхватили его за локти. Еще минута — и мокрый, взъерошенный комбат стоял на берегу и яростно, видимо чтобы заглушить в себе сковывающий холод и чувство злой досады на свою оплошность, распоряжался подготовкой всего необходимого для подъема тягача и гаубицы. С него ручейками стекала вода. Самые тонкие и слабые струйки не успевали скатиться и тут же замерзали. Маленькие сосульки появились на волосах, свисали с красных ушей. Белый пар валил кверху. В эти минуты Федоров был похож на сказочного богатыря, которому не страшна ни зима, ни закованные льдом реки, ни сам черт.

Как только к месту происшествия подошла колонна, к тягачу подцепили трос, и два трактора вытащили «утопленников» на берег. Всем распоряжался Федоров. Он чертыхался в ответ на советы поскорей отправиться в ближайшую деревню, чтобы обсушиться и переменить одежду. Валерий проявил такую неустойчивую энергию и так умело исполнял распоряжения Федорова, что многие солдаты и командиры залюбовались его действиями. Чувствуя на себе эти одобрительные взгляды, Валерий старался изо всех сил.

После того как тягач и гаубица оказались на берегу, Федоров сел в сани и помчался в деревню.

В Черново прибыли вовремя.

Почти всю неделю батарея не знала покоя. Она беспрерывно меняла огневые позиции, безжалостно покидала отрытые в полный профиль и не обжитые еще окопы. Казалось, ни одна позиция не нравится этим привередливым гаубицам, и они настойчиво ищут место, с которого можно будет по-настоящему обрушиться на противника.

В один из зимних вечеров Федоров приказал окопаться на опушке большого лесного массива. Лес был смешанный. Оголенные березы, изредка попадавшие среди высоких старых елей, выглядели сиротами. Ели окружали их со всех сторон, тянулись к ним порывавшимися космами.

Расчеты, выбиваясь из сил, долбили ломами мерзлую землю, спешили окопаться до рассвета. Невысокий крижистый Степченко беспрерывно ворчал:

— Кой леший выдумал копать? Только зад в окопе спрячешь, как, извольте, не желаете ли сменить позицию?

— Землю жалко, — сокрушался Фролкин. — Всю ее, матушку, изрыли, искромсали. И как после войны пахать будем?

— Пахать, — сердито передразнил его Степченков. — Ты что, застрахованный? Задумал до конца войны живым остаться?

— Беспременно, — весело отозвался Фролкин. — Я себе срок установил — сто лет. У меня судьба известная — жить. По рейхстагу угломер буду устанавливать.

— Вот он как шарахнет сейчас тебя миной по хребту — про судьбу позабудешь, — не унимался Степченков.

— Что вы, сами себя пугаете? — возмутился Саша.

— А я не пугаю, — проворчал он, недовольный тем, что на его разговор с Фролкиным обратил внимание командир орудия. — Тут думай, как бы скорей в наступление двинуть, а он — «пахать».

— Тем более, — примирительно сказал Саша.

Степченков промолчал: он не любил, чтобы его наставляли.

К Саше подошел Валерий.

— Кипит работа? — поинтересовался он. — А мы уже закончили. Федоров что-то не показывается.

— На наблюдательном пропадает.

— Хотя бы на окопы взглянул. Ковыряемся каждый день, а оценить некому. Откровенно говоря, приелась мне эта возня до тошноты. Хочется настоящего дела.

— По всему видно, что скоро будет и настоящее. Читал сегодня газету? Там о подвиге двадцати восьми панфиловцев.

— Да, читал, — задумчиво произнес Валерий. — «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». Красиво сказано.

Они пошли к разведенному в овражке костру. Костер трещал и нещадно дымил. Вокруг солдаты набросали толстый слой лапчатых еловых веток. Невдалеке Степченков складывал хворост для второго костра.

Солдаты окружили огонь, придвинулись к нему вплотную. Кто принялся сушить портянки, кто пыхтел сигаркой, кто сразу же задремал.

— Земляночку бы соорудить, — мечтательно сказал Фролкин, протягивая к огню длинные ноги. — Картошки испечь. Рассыпчатой. Она рассыпается, а ты ее сольюй...

— Брось трепаться, — прервал его кто-то сонным ленивым голосом.

— Если здесь закрепимся, земляночку беспрерывно соорудим, — продолжал мечтать Фролкин. — Картошки не обещаю, а землянка будет.

— Правильно, — поддержал его Валерий.

Фролкин наладил костер, дыму стало меньше, хворост занялся ярким пламенем. Лицо у Саши разомлело от жары, а к спине лез злой мороз.

Прежде Саша не мог и представить себе, что можно жить вот так, как они жили сейчас, находясь неделями на морозе. Сидя у костра, он мысленно жаловался на свою судьбу и спрашивал себя, сможет ли перенести все то, что взвалила на его плечи фронтовая жизнь.

Ночь опускалась все ниже, обволакивала деревья, темнела снег. Где-то вдалеке за высоткой, что скрывала батарею, время от времени дробно стучал пулемет. Чудилось: невидимый пулеметчик неожиданно пробуждается от сна, нажимает гашетку, пули несутся в темноте, и снова его одолевает сон, и снова устанавливается полная таинственности тишина.

«Где-то там, впереди, за этой высоткой, на наблюдательном пункте, Федоров, — думал Саша, борясь со сном: — Там даже и костра нельзя разжечь. Хотя он, Федоров, не боится мороза. Как это не боится? Ведь он живой человек?..»

Голова Саши клонилась ниже и ниже, и вот уже исчезло все — и ели, и холодная вспышка ракеты, и черный снег, и дремлющие бойцы...

Проснулся он от осторожных, но настойчивых толчков в спину. С трудом раскрыл слипшиеся глаза. Лес все так же дремал в темноте. С деревьев, склонившихся над оврачком, звучно падали капли: согретый теплым дымком снег таял на ветках.

Все лицо Саши было словно раскалено на огне, а спина заоченела, и было такое ощущение, будто мокрая рубашка накрепко примерзла к телу. Сильно пахло горелой тряпкой.

— Шапка, — услышал Саша незнакомый голос. — Суньте в снег шапку.

Саша поспешно сбросил с головы шапку, ощущал ее рукой и ощутил на отвороте горячее место. Тлеющий круг все расширялся, дымил. Саша сыпанул на отворот

полную пригоршню снега. Послышалось шипение. Шапка была спасена, но на злополучном месте образовалась дыра.

— К сожалению, я слишком поздно обратил на вас внимание, — снова прозвучал все тот же голос.

Саша всмотрелся в говорившего. Человек сидел рядом с ним. Он был одет так же, как и все бойцы батареи: стеганка защитного цвета, теплые ватные штаны, добротные, фабричной работы валенки, шапка-ушанка. Правда, все это сидело на нем слишком свободно, даже мешковато. На узкие плечи была накинута старенькая шинель.

В первый момент Сашу поразили его глаза — большие темные глаза, полные мягкой задумчивости. Они словно горели неярким болезненным огнем. Человек держал в руке потрепанный блокнот и что-то чертил в нем остроконечным карандашом.

— Кто вы? — спросил Саша.

Человек закрыл блокнот, сунул его в карман.

— Вас интересует мое имя? Сергей Гранат. Прикомандирован к вашей батарее. Зачислен в расчет первого оружия. Младший сержант Крапивин уже получил указания от командира взвода лейтенанта Храпова и беседовал со мной.

Он говорил с Сашей так, словно уже давно знает его, Крапивина, и всех людей батареи.

— Спасибо вам, — сказал Саша. — Если бы вы не разбудили меня, я остался бы без шапки.

— Когда я будил вас, я представил себе, сколько сейчас горит вот таких же костров по всей линии фронта. И сколько в эту ночь будет прожжено шинелей и шапок, — улыбнулся Гранат. — Пусть это послужит вам в утешение.

— Слабое утешение, — усмехнулся Саша.

— Главное, как человек сам отнесется к тому, что с ним происходит. Можно сидеть у этого костра и проклинать свою судьбу. И в этом случае человеку будет все равно — настанет ли утро или вечно будет длиться вот такая глухая морозная ночь. А можно и сейчас испытывать радость, зная, что ты нужен людям, а они нужны тебе. И, как и ты, эти люди ждут рассвета.

К костру подошел Валерий.

— Даже замерзая — радоваться? — спросил он. — Неужели человек создан для того, чтобы мерзнуть в снегу,

кланяться пулям, спать на ходу, да еще и радоваться всему этому?

Он протянул к огню озябшие руки.

— Высшее счастье приносит труд, — мягко и застенчиво сказал Гранат.

— Есть люди, которые уверены, что счастье — в славе, — осторожно сказал Валерий.

— Слава в вечной зависимости от труда, — все так же спокойно, не горячась, ответил Гранат.

— А любовь? — несмело заговорил Саша. Его все больше и больше увлекало то, о чем говорил этот неожиданно появившийся у костра человек. — Разве любовь — не счастье? И разве она не вечна? Помните, Рощин говорил Кате: «Пройдут годы, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше».

— Мне хочется расцеловать того, кто написал эти слова, — оживился Гранат. — Но перестаньте творить, оставьте себе только любовь — и скоро вы увидите вокруг себя пустоту.

Саша забыл о замерзшей спине, об одиночестве и тоске. Все, что говорил сейчас Гранат, находило в нем живой отзвук, и от этого глухо и тревожно стучало сердце. Самым удивительным было то, что тихие слова Граната звучали без всякой торжественности, он говорил просто, даже обыденно, но его хотелось слушать, думать о том, что он говорил. Гранат не поучал, он щедро и доверчиво делился своими мыслями и думами, не заботясь о том, слушают его или нет.

И этот, еще не знакомый, но уже чем-то полюбившийся Саше человек, заставил его, кажется, впервые в жизни по-настоящему подумать не только о мелких невзгодах и таких же маленьких радостях, не только о том, что будет на рассвете или через год, но и о том, как прожить жизнь.

Валерий слушал, нахмутив свой большой красивый лоб. Он вспоминал все, что ему когда-то говорил о славе отец, сопоставлял с тем, что высказал сейчас Гранат, и не мог совместить одно с другим.

— Меня волнует только одно, — после долгого молчания сказал Гранат. — Поймут ли, оценят ли те, кто появятся на свет после войны, чего все это нам стоило. Осенью, до госпиталя, я был в пехоте. И помню один бой.

Он назывался просто: «Бой за высоту 183,5». Даже название этой высотке никто не удосужился придумать. Но на ней полегло очень много наших людей.

— Трудно ценить то, чего не выстрадал сам, — вставил Валерий. — Очень трудно. — Ему не терпелось сказать что-то очень похожее на то, что говорил Гранат. — А тем более это трудно тем, кто не узнает, что такое идти в атаку по склону той самой высоты, о которой вы только что сказали.

— Они будут жить лучше нас, — мечтательно сказал Гранат. — Лишь бы они ценили и берегли то, что добывалось с таким трудом.

— Пошли за хворостом, — хмуро проворчал Валерий. — Костер еле дышит.

— Охотно, — вскочил на ноги Гранат.

Они набрали хворосту, подбросили в огонь. Пламя ожило.

— Надо сменить Бурлескова, — сказал Саша. — Пора ему погреться. Там, у гаубицы, не очень-то приятно.

— Пошлите меня, — попросил Гранат. — Я уже отогрелся.

Саша согласился, хотя ему и не хотелось оставаться у костра без Граната. Неожиданно он ощутил потребность рассказать ему о Жене, о том, что заставляет себя забыть ее и не может, поделиться своими самыми сокровенными мыслями.

Гранат надел шинель в рукава, натянул варежки, болтавшиеся на веревочках, взял карабин и полез из оврага. Саша смотрел ему вслед, пока он не исчез за деревьями, чуть поскрипывавшими от мороза.

«Интересно, кем же я буду, когда кончится война? — подумал Саша, повернувшись к огню. — И неужели будет так, что кончится война, а ты останешься жив? И почему Гранат ничего не сказал о счастье человека, который не погибнет в этой войне? Или потому, что это счастье — лишь ступенька к тому главному, высшему счастью, которое выпадает на долю людей?»

Ему хотелось еще о чем-то спросить самого себя, но стоило, защищаясь от дыма, зажмурить глаза, как он тут же уснул.

Саша так и не увидел робкого медленного рассвета. Он проснулся, когда Фролкин принялся за сооружение землянки. Вслед за наводчиком за работу принялись сво-



бодные от службы бойцы. Они намерзлись за ночь и теперь рады были размяться и согреться, орудуя лопатами и топорами. Дело пошло быстро.

Степченков приспособил для отопления землянки трофейную железную бочку из-под бензина. Он установил ее в нишу, вывел дымоход через накат, сделал дверцу. Печку тут же затопили сухими березовыми чурками. Она быстро накалилась. Морозный воздух долго не сдавался, но печка грела усердно, и землянка постепенно наполнялась влажным теплом. Стены отсырели, крупные капли воды стекали с потолка, и все же в землянке сразу же стало уютно и весело. Пахло молодой березой, бензином, раскаленным железом, крепким потом. У людей было такое чувство, словно они попали в знакомый дом.

Такие же землянки соорудили и два других расчета. Храпов неторопливо обошел эти сооружения, твердо и чуть важно ступая по вытоптанной тропе короткими кривыми ногами.

— Вы летали когда-нибудь на самолете? — спросил он, стремясь придать своему голосу басовые оттенки. — Мне приходилось. Оттуда видна на земле каждая букашка. И первый же самолет сделает из этой землянки мокрое место.

Больше он не произнес ни одного слова и не спеша, постукивая по голенищу сапога гибким прутиком, пошел к орудиям. Немного погода оглянулся. Бойцы маскировали землянку. На широком, крепком лице Храпова чуть разошлись в стороны ранние морщины. Так бывало всегда, когда он испытывал удовлетворение. Он любил высказать свое суждение и, не отдавая приказаний, предоставить людям самим сделать из его слов определенный практический вывод.

Тем временем Бурлесков с дороги, пролегавшей через лес, принес в ведерке куски мерзлой конины. Он наткнулся на убитую лошадь и решил устроить для расчета дополнительный завтрак.

— Пока повар пожалеет, я вам такой шашлычок закачу — весь Кавказ от зависти заикаться начнет, — пообещал он.

— Ты где эту дичину подстрелил? — угрюмо осведомился Степченков.

— Имею на вооружении саперную лопату. А подстрелил дичину фриц. Он дошлый, знает, что Степченков

жрать здоров. — Бурлесков захохотал, довольный своей остротой, и принялся варить мясо, то и дело снимая густую белую пену с поверхности ведерка. Дразнящий запах распространился по землянке. Вскоре Бурлесков торжественно оделил каждого куском вареной конины.

— Эх, фронтовая чарочка запаздывает, — сокрушенно сказал Степченков, круто посолив свою порцию.

— Представьте себе, у меня есть, — вспомнил вдруг Гранат. — За целую неделю собралось. — И он вытащил из вещмешка поллитровую бутылку спирта.

Спирт тут же разбавили водой. Пили по очереди из металлического конусообразного колпачка от взрывателя гаубичного снаряда, в который Степченков с поразительной точностью наливал несколько глотков.

— А я не пью, — с обидой в голосе сказал Гранат, когда очередь дошла до него.

— Не может быть, — решительно заявил Фролкин.

— Сам себе не рад, а не могу, — чистосердечно и смущенно повторил Гранат. — Даже на Новый год пью крем-соду.

Бойцы удивленно закачали головами.

— Странные бывают на земле люди, — мрачно проворчал Степченков и выпил порцию, предназначенную Гранату, с таким видом, словно ему пришлось выполнить за него трудную и неприятную работу.

Неожиданно у землянки появился Храпов.

— Зимовать здесь собрались? — с кривой усмешкой спросил он. — Мудрецы. — И тут же сердито рявкнул: — К орудиям!

Через минуту едва обжитые землянки были заброшены. Храпов обошел расчеты и коротко разъяснил, что комбат приказал перекатить орудия на километр с лишним вперед, ближе к высоте. И так, чтобы не привлечь внимания противника. Тракторы не заводить, оставить в укрытии, гаубицы тащить на себе.

— Два расчета на орудие, — скомандовал Храпов. — Остальным — расчищать колею.

Работа закипела. Пока первую гаубицу приводили в походное положение, часть бойцов принялась самодельными лопатами расчищать снег, проделывая дорогу по указанному Храповым маршруту. И все же гаубица вязла в снегу. Под колеса бросали срубленные молодые елки. Бойцы облепили гаубицу, как муравьи, упираясь в ста-

нины, щит, колеса. Они барахтались в снегу, на ходу смахивали рукавами липкий пот с разгоряченных лиц.

Гранат тащил гаубицу вместе со всеми, подперев изогнутую рукоятку сошки узким покатым плечом. Гаубицу то и дело приходилось раскачивать взад и вперед, и при каждом рывке Граната бросало из стороны в сторону, сгибалось. Казалось, еще секунда, и его щуплая спина и тонкие ноги не выдержат, и он будет раздавлен непомерной для него тяжестью. Но он упрямо шел вперед и при каждом новом броске находил в себе силы удержаться и выпрямиться.

Саша был изумлен, когда увидел его лицо. Усталое, оно светилось каким-то особым внутренним сиянием.

— Давайте я вас подменю, — предложил ему Саша во время короткой передышки.

— Что вы, — запротестовал Гранат.

После непродолжительных остановок, едва люди успевали чуть-чуть отдышаться, слышалась резкая команда:

— Раз, два, взяли! А ну, подняли ее, матушку!

Храпов отлично понимал, что на руки ее, гаубицу, поднять невозможно, но был убежден, что его возгласы прибавляют людям силы.

До позиции оставалось еще метров триста, как над головами батарейцев раздалось злобное свистящее шипение, и почти в то же мгновение где-то у самой землянки ударила мина. Звонящий треск разрыва пронесся по лесу. За первой миной ахнула вторая, и вот уже они полетели к опушке одна за другой, словно норовя похвастаться друг перед дружкой своим нахальством. В тех местах, куда падали мины, чистая белизна снега превращалась в черное мрачное пятно.

— Взялись дружнее! — торопил Храпов. — Подняли ее, голубку!

И он упирался в колесо крепким, широким плечом.

Никогда прежде не приходилось Саше испытывать такого состояния, при котором нечеловеческое напряжение так нераздельно сливалось с радостным ощущением прилива и даже избытка сил. Никто не обращал внимания на свирепую трескотню рвущихся мин, гаубица все быстрее катилась по снежной целине и с каждым метром, словно теряла в весе, становилась податливей и послушней.

И когда гаубица родила гром выстрела, Саше захоте-

лось рассмеяться, обнять и расцеловать всех, кто вместе с ним участвовал в этой работе.

Гранат не сидел на месте. Он подтаскивал снаряды, падал от усталости в снег, снова вскакивал. Большие глаза его блестели и смотрели на сновавших возле орудия людей с детским лукавством.

Батарея вела огонь споро. Бойцы даже не заметили, что противник перестал огрызаться.

— Комбат передает: молодцы! — восторженно заорал Храпов. Его сдержанность как рукой сняло, он не мог уже противостоять общему приподнятому настроению. — Уничтожена минометная батарея!

Когда, наконец, Федоров приказал остановить огонь, Гранат с огромным усилием вытащил из кармана все тот же истрепанный блокнот, с которым сидел у костра. Он весь дрожал от напряжения, задыхался, время от времени хватал пересохшими тонкими губами снег, но не переставал писать.

— Что вы пишете? — удивленно спросил Саша.

Гранат ответил не сразу. Он перечеркивал написанное, снова писал, огрызок карандаша плясал в его маленьких пальцах. Лишь через некоторое время он, словно опомнившись, не поднимая головы, устало и застенчиво сказал:

— Кажется, я написал настоящие стихи.

— Вы поэт?! — воскликнул Саша.

— Они пришли ко мне, когда мы катили гаубицу, — словно не слыша вопроса, продолжал Гранат. — Я мысленно твердил все новые и новые строки. Нет, не я их твердил, они сами говорили со мной. А я больше всего боялся, что забуду их, не успев записать.

Гранат сел на снег.

— Мы были высоки, русоволосы... — грустно сказал он и спрятал блокнот. — А знаете, Саша, — добавил он уже громко, с веселой удалью, — кажется, началось наступление. Или скоро начнется. Это не важно. Главное — наступление!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сергей Гранат был печален: в передок гаубицы, стоявшей в укрытии, угодила мина. Все, что было сложено на нем: вещмешки, сапоги, плащ-палатки, — все разнесло в

ключья. Как назло, там же лежала полевая сумка Граната, и в ней — тетрадь со стихами.

Вместе с Сашей он долго бродил вокруг изуродованного передка, надеясь найти хоть что-нибудь оставшееся от тетрадки, но тщетно. Весь день Гранат был хмур и неприветлив, а к вечеру, когда батарея перекочевала на новое место, в крохотную тихую деревушку, доверительно сказал Саше:

— К черту грусть! Кое-что я все же помню на память и смогу восстановить. И главное — со мной блокнот.

Глаза его просияли. Саша не мог понять, чему он радуется.

Во время минометного обстрела был ранен Степченков. Рана оказалась не тяжелой: небольшой осколок засел в мякоти бедра. Степченков злился, шумел и говорил, что ему наплевать на медсанбат и что этот осколок он вытаскивает сам и сохранит на память. Однако Храпов был неумолим. Степченкова силой уложили в сани.

— Докаркался, — сказал кто-то из бойцов. — Карканье, оно на себя повертается.

Степченков, преодолевая боль, привстал в санях.

— Дура, — сказал он неожиданно нежно. — Ты по делу человека суди. Да я через три дня на своей батарее буду. Как штык. А ты болтаешь.

Кони взяли мелкой рысцой, а Степченков смотрел и смотрел на дорогу, что вырывалась из-под полозьев саней.

— Трудновато будет ему нас догонять, — махнул длинной ухватистой рукой Фролкин. Он всегда сопровождал свою речь усиленными жестами рук, но выходило так, что эти жесты не столько подчеркивали высказанную им мысль, сколько противоречили ей. — Мы за три дня махнем дай боже!

Фролкин был прав. Если раньше батарея кочевала вдоль фронта, как бы ища для себя выгодное место, то теперь она едва поспевала за перешедшими в наступление пехотой и танками.

Обрушив на цеплявшихся за населенные пункты гитлеровцев десятка два снарядов, батарея совершала небольшой стремительный марш и снова вела огонь. Так повторялось изо дня в день.

Вслед за тягачами орудия перебирались через шаткие мостики, повисшие над оврагами, по косогорам, заросшим

ельником, по большакам, вдоль которых в беспорядке валялись брошенные противником автомашины, орудия, повозки, ящики с боеприпасами. Подгоняемые обжигающим ветром, шуршали по снежной корке обрывки немецких газет с фотографиями, прославляющими подвиги солдат фюрера. Трупы убитых тут же заметало снегом.

Наши войска двигались по дорогам днем и ночью. Казалось, в поход двинулась вся страна, и из ее глубин шли все новые и новые бойцы. Люди повеселели, ожили, приободрились. По большакам непрерывно катились орудия, ползли танки, сосредоточенным маршем поспешали резервы. Опасаясь отстать от своих частей, подтягивались обозы. С сумасшедшей скоростью, обгоняя колонны, неслись грузовики. Прыть исхудалых небритых шоферов ослабевала лишь в двух случаях: если образовывалась «пробка» на большаке или уж чересчур досаждал назойливый вражеский самолет.

Давно уже Саша не видел Валерия таким оживленным и веселым. Он непрерывно шутил, напевал песни, торопил водителей. Валерий поздоровел, расправился в плечах, жаркий румянец сменил синеватую бледность его щек. Однако Саша заметил, что он тускнеет, теряется в присутствии Граната и держится с ним слишком холодно и официально.

— Может, ты возьмешь Граната к себе? — сказал он как-то Саше.

— А что это ты вдруг решил от него избавиться?

— Неужели ты не заметил, как посмеиваются над ним наши артиллеристы? То он заявляет, что вместо водки пьет крем-соду, то с печалью неутолимой бродит по лесу, мечтая найти свою полевую сумку, то философствует сверх меры. А внешний вид! Тоска зеленая.

— Я видел, как он вместе со всеми тащил гаубицу, — сказал Саша. — А еще он пишет стихи.

— Он что же, читал тебе что-нибудь? — насторожился Валерий.

— Нет. А хотелось бы послушать.

— Ладно, — неожиданно переменял свое решение Валерий. — Раз уж он поэт, пусть остается у меня. Все-таки немного найдется на всем фронте орудийных расчетов, в которых есть хотя бы один стихотворец. А тут целых два.

Но вскоре после этого разговора на огневую позицию приехал Федоров и, недолго пробыв среди батарейцев,

увез Граната с собой. Узнав об этом, Саша загрустил. У него было такое чувство, будто расстался со старым и верным другом.

А через два дня, вечером, Федоров примчался на огневую позицию злой и мрачный. Уединившись в крестьянской хате, он вызвал к себе Храпова, долго беседовал с ним, потом послал за Сашей.

— Ну, юнец, — проворчал он недружелюбно, не глядя на Сашу. — Новости одна другой веселее.

Саша почувствовал недоброе. Он даже и не предполагал, что такой человек, как Федоров, может быть не в духе.

— Граната с наблюдательного отправил в медсанбат. — Федоров крепкими ручищами, словно тисками, сжал свою круглую голову. — Мина возле бруствера прямо... А он меня заслонить задумал. Да какое он имел право! — с отчаянием вскрикнул комбат.

— И что же, товарищ старший лейтенант? — холодея, спросил Саша.

Федоров молчал. Он пристально смотрел в окно, хотя через толстый слой инея на стеклах все равно ничего нельзя было увидеть.

— Не старший лейтенант, а с сегодняшнего дня капитан, — наставительно поправил Сашу сидевший на лавке Храпов. — Звания разучились различать.

— На кой черт мне это звание! — вдруг взорвал тишину Федоров, круто повернувшись от окна. — На кой черт мне это звание, — повторил он, и гневные искры сверкнули в его глазах, — когда Гранат не уберег себя. Когда лучших командиров орудий забирают!

Саша вначале не обратил внимания на его последние слова. Он был потрясен известием о тяжелом ранении Граната.

— Кстати, он просил свой блокнот передать тебе, — устало продолжал Федоров. — Чтобы сохранил. Сказал, что все равно выживет. Вот он, блокнот, держи. Да смотри, сохрани!

Саша взял блокнот и бережно спрятал его во внутренний карман гимнастерки.

— Ты садись, Самойлов, — продолжал Федоров. — По русскому обычаю перед расставанием посидеть положено.

Саша присел на край скамьи, снял шапку и только в эту минуту понял, что речь идет о нем.

— Перед каким расставанием? — несмело переспросил он.

— Перед каким, — буркнул Федоров. — Я ведь по-русски говорю. Сдавай гаубицу Фролкину и — в штаб дивизии. Бурлесков свезет. Приказано прибыть немедленно.

— Сейчас, ночью? — недоуменно спросил Саша и тут же почувствовал, что спрашивает совсем не о том, о чем нужно спрашивать.

— На войне, юнец, ночей не бывает. — Федоров вынул из планшетки затрепанную карту и пригласил Сашу присесть поближе к столу. — Дай-ка фонарик, — обратился он к Храпову.

Храпов направил луч фонаря на карту.

— Смотри, — сказал Федоров. — Видишь, где примерно мы сейчас гостим? Видишь? А вот Москва-матушка. А вот побежала от Москвы дорога на восток через горы Уральские, через тайгу дремучую, через реки сибирские. — Федоров силился говорить все это шутливым тоном, но у него не получалось. — Вот, — он ткнул толстым указательным пальцем на карте, и Саша, нагнувшись, прочитал название одного из сибирских городов. — Приедешь, передай привет сибирякам, я хоть и ленинградец, а сибиряков ценю. Помнишь, у нас осенью почти вся батарея из сибиряков была? Помнишь Синицына?

— Помню, — отозвался Саша.

Федоров замолчал и сложил карту.

— Я ничего не понимаю, товарищ старший лейтенант... товарищ капитан, — тут же поправился он, заметив негодующее движение Храпова. — Куда и зачем я должен ехать?

Он начинал злиться на комбата: к чему говорить загадками?

— Мавр сделал свое дело, — в упор глядя на Сашу вдруг подобревшими глазами, сказал Федоров. — Мавр может уезжать в артиллерийское училище. И точка. И никакого нытья. Все равно не в моей власти. Комиссару доказывать бесполезно. Спорил я уже с ним, чуть на выговор не напоролся. Сдавай, юнец, оружие да заходи ко мне, выпьем по чарочке на прощание. Повод есть: у меня сегодня и горе и радость — все вместе. Учти, там по сто граммов не дают.

— Но почему же именно меня? — возмущенно спросил Саша, все еще не веря в правдивость того, что гово-



рил Федоров. Казалось, еще минута — и комбат все обернет в шутку и загрохочет своим раскатистым, здоровым смехом.

— Обухову, знать, видней, — насупился Федоров. — В дивизии без году неделя, а уже все видит.

— Обухов? — уставился Саша на Федорова. — Вы не знаете, откуда он?

— Говорят, бывший пограничник. Из Синегорска.

— Вы это правда? Так я у него отпрошусь. Он отменит. Ну конечно же отменит, — возбужденно повторял Саша. — Мы с ним из одного города. Я знаю его сына.

Сказав последние слова, Саша умолк, будто шел, шел и вдруг остановился на полпути. Федоров с опасением глянул на него, хлопнул по плечу тяжелой ладонью.

— Не горюй, юнец. Приедешь, сменишь своего комбата. Батарейку примешь. А с нашей батареей — прямой путь в полководцы, понял? Лети, юнец, расправляй крылья!

— Выходит, я здесь не нужен?

Федоров по-отцовски обнял Сашу.

— Кто не нужен, того так не провожают. Понял? И не задерживай меня, пора на наблюдательный.

Гаубицу Саша сдал быстро. Она стояла в не обжитом еще оружейном окопе.

— Ну, что ж, осматривай механизмы, — сказал Саша и задумчиво провел рукой по щиту гаубицы с вмятинами от осколков.

— Да что вы, товарищ младший сержант, — обидчиво ответил Фролкин. — Я ее знаю. Лучше жены.

Саша пожал ему руку.

— А вы беспрерывно к нам, товарищ младший сержант, — отчаянно жестикулировал Фролкин. — Товарищ комбат говорит, что эту батарею он до Берлина доведет.

Весть об отъезде Саши, как и всякая весть на фронте, мигом разнеслась среди бойцов. Одним из первых узнал о ней Валерий.

— Вот и расстаемся, — встревоженно сказал он.

— Посылают, — виновато проговорил Саша. — А я не хочу.

— Да ты что? — изумился Валерий. — Другие на твоём месте пешком бы дошли до училища. Пешком.

— Кто же?

— Не все ли равно — кто? Ты пойми. Выучись.

Станешь офицером. Приедешь снова. Пользы от тебя больше будет? Больше. Не беспокойся, государство все учитывает.

Валерий говорил не так, как всегда, отрывисто, и почему-то трудно было понять, верит ли он сам в то, что говорит, или же только хочет убедиться в правдивости Саши.

— Давай поменяемся, — предложил Саша. — Я упрошу Федорова, чтобы вместо меня он послал тебя.

Полные щеки Валерия покраснелись. Так с ним бывало всегда, когда кто-нибудь угадывал его мысли.

Отвернувшись от Саши, он глухо сказал:

— Ты хороший друг, Саша. Но то, что ты сейчас предложил, для меня не подходит. У меня своя судьба. Пойдем к бойцам.

— Зачем?

— Попрощаться. Или ты хочешь уехать тайком?

Они пошли в землянку. Прощаясь с бойцами, Саша испытывал чувство стыда и неловкости. Получалось, что в то самое время, когда они, эти люди, что сейчас прощались с ним, кто радуясь, кто недоумевая, а кто и откровенно завидуя, — оставались здесь, на передовой, бок о бок с постоянной опасностью, он, Саша, получал возможность покинуть фронт. Они все так же будут катить гаубицу по снегу, по весенней грязи, по пыльным пляхам. А он очутится там, где стоит тишина, где пушки стреляют только на учебном полигоне.

Саше казалось, что сейчас все эти люди молча судят его самым страшным судом — судом человеческой совести. Как повернется он к ним спиной? Как выйдет из землянки, оставив их? Что скажет в свое оправдание?

Саша с надеждой посмотрел на Валерия. Он должен ему помочь. Но лицо Валерия было спокойно и серьезно, словно он присутствовал при очень важном и торжественном событии.

— Тяжело ранен Гранат, — неожиданно сказал Саша.

— Вот тебе и крем-сода, — тихо и удивленно сказал Бурлесков.

Саша поспешно вышел из землянки. Валерий догнал его.

— Гранат? — тяжело дыша, переспросил он. — Ты уверен? Ты не ошибся?

— Его везут сейчас в медсанбат. По лесным дорогам.

Вместе с Фролкиным и Валерием Саша пошел докладывать Федорову. Выслушав его, комбат протянул каждому алюминиевую кружку со спиртом.

— За все хорошее, — сказал он и залпом осушил свою кружку.

Все последовали его примеру.

Саша не выдержал, с размаху принял к его массивной широкой груди, стараясь спрятать глаза.

Все, кто мог отлучиться от орудий, окружили сани, возле которых снова неунывающий Бурлесков.

Вернешься — меня сменишь. А я — на курорт, — напутствовал Сашу Федоров и, когда сани соскользнули с косогора вниз, на накатанную дорогу, крикнул и завозился с трубой.

Батарея скрылась за притихшими в темноте домами, и сани пошли нырять по ухабистому большаку. Наступавшая ночь спешила куда-то далеко упрятать луну и звезды, снег перестал излучать свет. Но и теперь можно было понять, где проходит линия фронта: через строго определенные промежутки времени темный полог неба загорался дрожащим нервным огнем осветительных ракет. Чудилось, будто гитлеровцы вознамерились поджечь небосвод, но он не поддавался, и мертвенно-холодный свет, колеблясь, возвращался на землю, таял в лесной глухомани.

Кони бежали то рысцой, то переходили на шаг, немолчно болтал Бурлесков, но Саша, погруженный в свои думы, очнулся, когда сани остановились у штаба.

«Сейчас увижу Обухова, — думал он. — Неужели это тот самый?»

Часовой, проверив их документы, сообщил, что комиссар Обухов спит.

— А что ему, спать не положено? — спросил он, заметив, что Саша удивился. — На часок прилег, безусловно.

Саша велел Бурлескову не уезжать до тех пор, пока не состоится разговор с комиссаром.

«Отпустит, так вернусь на этих же санях на батарею», — подумал Саша, и эта мысль согрела его сильнее, чем тепло крестьянской избы, в которой им разрешили разместиться.

Вместе с Бурлесковым они уселись в дальнем углу хаты, поближе к печке. Бурлесков тут же задремал, удивительно умело и ловко примостившись на скамье, всем сво-

им видом показывая, что он не намерен терять ни одной секунды свободного времени. Саша думал о предстоящем разговоре с Обуховым и не заметил, как к нему тоже пришел сон.

Пробудился он от легкого прикосновения чьей-то руки. Саша вскочил на ноги. Перед ним стоял Обухов. Да, тот самый! Саша сразу же узнал его.

— Это вы! — воскликнул он обрадованно, забыв о том, что нужно доложить по-уставному.

— Я — это я, — усмехнулся Обухов, оглядывая Сашу и, видимо, не поняв смысла сказанных Сашей слов.

За окнами светало. Лицо комиссара было немного встревоженным.

— Боевой народ забрался в тыл, — пошутил Обухов.

— Виноват, товарищ комиссар, — вытянулся Саша.

— Да ты не кричи так громко, дорогой мой. Напарника разбудишь.

Он с улыбкой поглядел на Бурлескова, которого, казалось, не смог бы разбудить и залп «катюши».

— Ты что же мучаешь ездового, по штабам маринуешь? — строго спросил Обухов. — Федоров еще, чего доброго, розыск объявит.

Саша почувствовал, что комиссар уже давно разгадал его намерения и знает наперед, о чем будет разговор.

Они прошли в крохотную комнатку. Обухов сел у окна, усадил напротив Сашу и молча, выжидающе уставился на него.

Комиссар, по мнению Саши, выглядел молодо. По крайней мере, точно так он выглядел в прошлом году, когда Саша увидел его на городской комсомольской конференции.

Ни на лбу, ни на щеках Обухова не было заметно морщин. Лишь вертикально к переносице глубоко и упрямо, почти от середины выпуклого лба залегла складка. Светло-серые чистые глаза смотрели открыто и с любопытством, точно впервые увидели удивительно интересный мир. Чуть курносый нос выглядел задиристо, по-мальчишески вызывающе. Закругленный подбородок с ямочкой посередине был выдвинут немного вперед. Саша, раскрасневшись от смущения, искоса поглядывал на комиссара и все более убеждался, что путь на батарею отрезан.

— А я ведь тебя тоже припоминаю, земляк, — сказал Обухов. — Только в молчанку мне играть некогда. Я ду-

мал, ты мне что-нибудь интересное расскажешь. А ты помалкиваешь.

Он неожиданно улыбнулся, заставив улыбнуться Сашу.

— Все документы оформил? Командировочную получил?

Саша растерялся. У него еще не было напористости бывалого воина, которая помогает в разговоре со старшими. Бывалому нередко позволительно высказать такие суждения, которые, будь они произнесены необстрелянным новичком, показались бы лишенными такта или вообще недопустимыми.

— Я, товарищ комиссар, не хотел бы получать командировочную, — уныло сказал он.

— Ах, вот оно что, — протяжно и певуче заговорил Обухов, словно лишь в эту минуту разгадал замысел Саши. — Тогда докажи, убеди. Выкладывай правду-матку.

Он взял блокнот и, будто не обращая внимания на Сашу, принялся карандашом чертить кружочки, прямоугольники и еще какие-то замысловатые знаки. Саша, обрадовавшись, что комиссар не смотрит на него, расхрабрился:

— Почему меня?

Обухов молчал.

— Вчера в медсанбат увезли Граната, — неожиданно сказал Саша и закашлялся. — Вы, наверное, не знаете...

— Знаю, — не поднимая головы, отозвался Обухов. — Погиб чудесный человек и поэт.

Погиб?! — не веря тому, что сказал Обухов, воскликнул Саша и всем телом подался вперед.

— До медсанбата не доезди. В дороге скончался. В лесу.

Перед глазами Саши вдруг качнулись темно-зеленые насуспенные ели, на миг даже почудилось, как с них, прямо на сани, ползущие мимо суковатых, в шрамах, стволов, сыпануло тяжелым лежалым снегом. И еще почудилось, что в большие, все еще открытые глаза Граната в последний раз из-за косматых верхушек спящих деревьев заглянула тихая холодная звезда.

— Я познакомился с ним осенью, в госпитале, — сказал Обухов и заходил по комнатке. — Он начал писать стихи перед войной. У меня и сейчас сохранилась небольшая книжка его стихов. — Обухов расстегнул верхние пуговицы шинели и продолжал, словно освободившись от

чего-то тяжелого и неприятного: — Он как-то удивительно непостижимо видел природу, весь окружающий мир. Был очень зорек, до болезненности пристален ко всему, что видел. Стихи его чисты и свежи, как предрассветный ветер. Он мог написать десятки стихов о дожде или о первой звезде. Мог взять в руки обыкновенную травинку и сказать о ней так, что тому, кто его слушал, казалось, что видит эту травинку впервые в жизни. И дождь, и холодные рассветы, и брызги моря, и белые ночи — все жило в его стихах. И будет жить. Человек, читающий его стихи, становится чище, нежнее и чуточку зорче.

— Ночью в лесу я первый раз увидел его, — дрожа от волнения, как бы продолжил мысли Обухова Саша. — И он ничего не говорил ни о стихах, ни о том, что он поэт. Сказал только, что первая книга — все равно, что первая любовь.

— Его книжка вышла накануне войны. Андрюшка хотел забрать ее с собой на заставу. А я не отдал — не мог расстаться. И сейчас не могу простить себе, что для сына пожалел.

— А где сейчас ваш Андрей? — несмело спросил Саша.

— Если бы я знал, — отвернулся Обухов. — Я был в отъезде, началась война, в отряд не смог пробиться. А он, ты ведь знаешь, служил на заставе. Вот увидел тебя — ты здорово на него похож. Встретился с Гранатом — и он мне Андрея напомнил. Он у меня горячий, бывает несдержан, но в душе — лирик, вроде Сергея. Ты еще молод. Вырастешь, поймешь. Сын — это дороже человеку, чем он сам. Ну, пора прощаться.

— Так что же? — вскочил Саша, боясь, что Обухов уйдет. — А как же со мной?

— Я тебя понимаю, — внимательно посмотрел на него Обухов. — Мучает совесть. Думаешь: люди продолжают воевать, решается судьба народа, а тут — в тыл. Так?

— Так, — торопливо подтвердил Саша, радуясь, что комиссар угадал как раз то, что Саша сам не решался сказать.

— Совесть у тебя чиста, — убежденно сказал Обухов. — Ты не сам ушел. Не сбежал. Фронту нужны офицеры. Вот и весь разговор, дорогой мой гаубишник.

Обухов сощурил потеплевшие глаза, а Саша подумал, что непривычное слово «гаубишник» чем-то напоминает слово «голубятник», и снова покраснел.

Протяжно загудел зуммер полевого телефона. Комиссар снял трубку, слушал, а сам все не отрывал глаз от Саши, словно собиравшись сказать ему что-то новое.

— Вызывают, — огорченно сообщил он. — Ну что ж, мы, кажется, все обговорили. Вывод такой: посылаем учиться достойных. Как говорят, людей с перспективой. Бывает, конечно, промахнешься. А ты, думаю, не подведешь.

Саша молча смотрел в глаза комиссару. Что-то нужно было сказать ему, в чем-то заверить его, но Саша словно застыл.

— А на прощание я тебе по секрету скажу, — улыбнулся Обухов и взял со стола небольшой лист бумаги. — Читай.

Саша прочел. Если верить тому, что было написано, то Обухов откомандировывался на должность комиссара того самого артиллерийского училища, в которое должен был ехать Саша.

— Совпадение, скажешь? Совпадения на фронте, дорогой мой, еще и не такие бывают. Тоже вот, вроде тебя, пытался отмахнуться. Нет — приказ. — И, очевидно имея в виду своего предшественника в училище, он глухо добавил: — А того комиссара убили. Еще летом, под Днепропетровском.

Обухов раздвинул занавеску на окне. Через незамороженный кусочек оконного стекла была видна накатанная до глянцевого блеска проселочная дорога. Две грузовые машины со снарядами ящиками пронырнули по ней, потом промчалась артиллерийская упряжка, вся запорошенная ином. Женщина в старом пуховом платке прошла по тропке с коромыслом на плече. Солнечный луч внезапно засиял на ведрах и так же внезапно исчез.

— Ну, держи, — сказал Обухов, протягивая Саше руку. — Месяца через полтора увидимся. И с другом со своим увидишься.

— С каким другом?

— Как это с каким? Друг у тебя есть?

— Валерий? Крапивин?

— С ним. Его тоже в училище скоро направим. Заслуживает?

— Заслуживает! — обрадованно воскликнул Саша.

Обухов коротко объяснил, где и как оформить документы, на прощание задержался взглядом на Саше, будто

припоминая что-то, стиснул его за плечи, легонько оттолкнул от себя и быстро вышел из штаба.

Саша отправил Бурлескова, оформил все документы, получил сухой паек.

До разъезда он шел пешком, боясь оглянуться назад. Ему казалось, что стоит только оглянуться — и он встретится взглядом с укоризненными лицами людей, которые молча и осуждающе смотрят ему вслед.

Выйдя к полотну железной дороги, Саша присел отдохнуть на откос. Здесь, в ожидании попутного товарняка, он вытащил из вещмешка блокнот Граната, начал листать его и на последних страничках увидел стихи, написанные торопливым, неровным почерком. В глаза бросились строки: «Мы были высоки, русоволосы...»

Саша хотел было прочитать стихи от начала до конца, но за лесом тревожно, словно испугавшись чего-то, коротко вскрикнул паровоз. Состав еще не показался из леса, но рельсы ожили, заговорили. Саша сунул блокнот в карман, вскинул на плечи вещмешок. Нужно было успеть сесть на ходу, когда поезд притормозит у разъезда.

Паровоз приближался. Еще минута — и Саша ловко вспрыгнул на ступеньку поравнявшегося с ним товарного вагона. Отдышавшись на тормозной площадке, он сунул руку в карман.

Блокнота Граната не было.

Саша застонал от обиды.

Поезд грохотал по мосту высоко над рекой.

И Саше вдруг вспомнилось то, что теперь уже ушло в прошлое.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На последнем уроке неожиданно потух свет. Валерий, не ожидая указаний Антонины Васильевны, выскочил в коридор. Он слыл незаменимым специалистом там, где требовалось немедленное вмешательство и сообразительность.

На этот раз его старания оказались безуспешными. Он вскоре вернулся и весело сообщил, что свет выключили не только в школе, но и во всем городе.

— Между прочим, — обрадованно сказал Валерий, — свет выключают обычно на тех уроках, к которым мы слабо подготовились.



— Твоя радость, Валерий, преждевременна, — невозмутимо проговорила Антонина Васильевна. — Литература — не алгебра, доска нам не нужна. Мы прекрасно побеседуем и в темноте.

— Антонина Васильевна, — с легкой иронией напомнил Валерий, — литература — мой любимый предмет. Вы же знаете.

Ребята засмеялись и загалдели. Им нравилось, что Валерий свободно и непринужденно разговаривает с преподавателем.

— Да, я знаю, что ты любишь литературу, — подтвердила Антонина Васильевна. — Поэтому мне и хочется послушать именно тебя. Кажется, мы остановились на образе Морозки.

В певучем голосе «литераторши» ребята почувствовали знакомые властные нотки. Валерий тотчас же встал. Ученики, сидевшие впереди, повернулись к нему: он занимал место на задней парте рядом с Сашей.

За большими окнами класса стояла синяя темнота мартовского вечера.

— Что можно сказать о Морозке? — несколько торжественно начал Валерий. — Прежде всего, Морозка — не Мечик.

Это заявление было встречено смехом. Громче всех хохотал Яшка Делисенко.

Может быть, то, что сказал Валерий, было и не очень смешно, но класс был настроен весело и беззаботно. Все понимали, что, как ни крути, в темноте не создашь той серьезной обстановки, которая присуща обычному уроку. И надеялись, что Антонина Васильевна отпустит домой пораньше. Можно будет с шутками и хохотом промчатся по темным улицам. И потому каждому хотелось, чтобы Валерий отвечал как можно забавнее и остроумнее.

— Дети, ваш смех меня только воодушевляет, — ничуть не смутившись, ответил Валерий. — Я вам весьма признателен. Итак, я уже сказал, что Морозка — не Мечик. И мне кажется, что этим сказано все.

— Я спрашиваю серьезно, — напомнила Антонина Васильевна.

— Я абсолютно серьезен, — искренним тоном заверил Валерий. — Мне хочется раскрыть образ на сопоставлении. Помните, Морозка и Мечик едут рядом? И вдруг они попадают в засаду. Что делает Мечик? Спасает себя,

забыв о товарищах. А Морозка? Он стреляет три раза вверх, как было условлено. Кстати, почему он стрелял вверх?

— Как это почему? — удивился Виталий Зарубин. — Куда же он должен был стрелять?

— Но он мог же выстрелить в тех, кто на него нападал? — продолжал Валерий. — Мог, но не сделал этого. Он выстрелил вверх, чтобы отряд Левинсона мог услышать его сигнал.

— Толковый парень, — одобрил Денисенко.

— Да, толковый, — уверенно заключил Валерий. — Чистое пламя революции выжгло в Морозке все мелкое, ничтожное, себялюбивое и привело его к подвигу.

Саше очень понравились слова «чистое пламя революции». Он тут же вспомнил, что уже где-то встречал их. Кажется, в монографии, посвященной творчеству Фадеева. Ему почему-то очень захотелось, чтобы эти слова принадлежали самому Валерию.

Валерий продолжал говорить, но его неожиданно перебил Денисенко.

— Антонина Васильевна, — сказал он, — все это ясно. А вот пусть скажет, если начнется война, найдутся у нас такие, как Мечик?

— Видишь ли, друг, — невозмутимо заявил Валерий, — прежде чем решить вопрос о том, будут ли такие, как Мечик, нужно выяснить, будет ли война.

— А ты как считаешь? — строго спросил Денисенко. Он был горячим парнем и любил затевать всевозможные споры.

— На мой взгляд, не должно быть.

— А про Гитлера забыл? Газеты читаешь?

— Мой вывод как раз и основан на газетном материале. У нас с Германией существует пакт о ненападении. А я привык верить нашим газетам, — отпарировал Валерий.

— Мы все верим. Только в газетах всего не скажешь. А иногда и не следует говорить. Ты забыл, как во вторник над городом немецкий самолет кружил? А на границе чуть не каждый день схватка с нарушителями. Ты пограничников спроси, они тебе скажут.

— И все-таки я не верю, что начнется война.

— «А если враг пойдет через границу, мы вспомним юность своих отцов!» Это чьи стихи? Скажешь, не твои?

Или ты пишешь одно, а в мозгах у тебя другое? — Денисенко говорил уже тоном прокурора.

Сердце Валерия наполнилось гордостью. Его стихи цитируют на уроке литературы в присутствии Антонины Васильевны! И кто цитирует! Яшка Денисенко, этот заядлый беспощадный критик, считающий поэтом только Маяковского. И все же ни одной ноткой своего голоса Валерий не выдал охватившей его радости.

— У нас ведь урок литературы, — скромно сказал он, — а ты превращаешь его в урок текущей политики. Антонина Васильевна, нужно ли мне отвечать на его вопросы? Они совершенно не относятся к нашей теме.

— Ничего, ничего, — к удивлению всех, сказала Антонина Васильевна. — Это как раз по теме.

— Но я еще не дал характеристики героя произведения. И думается, войны уже отшумели, и нам остается лишь сожалеть, что мы пришли в этот мир с большим опозданием.

— А Хасан? Война с белофиннами? — не выдержала Люся Биденко.

— Война с белофиннами? — фыркнул Валерий. — Это не война, а стычка, инцидент.

— Кому как, — проворчал Яшка. — Тебе она, может, и инцидент. Ты на карте флажки переставлял да возмущался, почему наши так медленно наступают. А у Жени Кольцовской там брат погиб.

— Что ты хочешь этим сказать? — обиделся Валерий. — Флажки я переставлял вместе с тобой. И мы не виноваты, что эти события застали нас за школьной партой. Потому и говорю, что мы поздно родились.

Ребята зашумели.

— Ну конечно же поздно, — с вызовом поддержала Валерия Люся. Она симпатизировала Валерию и всегда старалась его поддержать, даже в тех случаях, когда он был явно не прав.

— Дело не только в этом, — не обратив внимания на защиту Люси, сказал Валерий. Если бы было светло, все могли бы увидеть, что Люся обидчиво поджала пухлые губы. — Просто нужно, чтобы каждый человек обладал элементарным тактом. И не моя вина, что у некоторых его недостает.

— А я в дипломаты не готовлюсь, — сердито отозвался Яшка.

— Я сказал все, что мог, кто может — пусть скажет лучше, — отрезал Валерий.

— Это уже петушинный бой, а не дискуссия, — остановила их Антонина Васильевна. — А разговор вы затеяли интересный. Не дело, когда мы дальше анализа образа не идем. Был такой-то герой, обладал такими-то качествами. Даже как одет был распишем. А как нам учиться у настоящих людей? Чтобы в каждом была как бы частица этого героя, а его духовный мир становился нашим собственным духовным миром? Об этом стоит поговорить и, может быть, даже поспорить. Вот тут о войне шла речь. Начинать мы не станем. Но напасть на нас могут. Сегодня, завтра или через месяц? Сказать трудно. Но если это случится? Конечно, Родину смогут защитить только такие, как Левинсон, Метелица, Морозко.

— Мечик не защитит, — добавил Яшка.

Саша слышал все, что говорила Антонина Васильевна, слышал жаркую перепалку ребят, мысленно соглашался или не соглашался с теми или другими мнениями, но тут же думы его переносились на другое. Это происходило помимо его воли, и он ничего не мог поделать с собой, заставить себя сосредоточиться только на том, о чем говорили в классе.

Он думал о Жене. Сейчас было темно, и он мог сколько угодно смотреть в ту сторону, где сидела Женья, зная, что этого все равно никто не заметит. Саше не хотелось, чтобы зажигался свет: он в темноте хорошо представлял ее — худенькую, черноволосую, стремительную. Вот она, кажется, повернулась, вот что-то тихо сказала Лиде — своей соседке по парте.

Саша пытался отгадать, о чем она думает в эти минуты. Под Выборгом погиб ее брат. Погиб... Как непривычно звучит это слово. Но почему же Валерий не ответил на вопрос Яшки?

— С той поры как отряд Левинсона сражался в дальневосточной тайге, — продолжала Антонина Васильевна, — мы прошли большой путь. Выросло новое общество, новые люди. Молодежь сороковых годов. Хорошая молодежь. А как же с Мечиками? Конечно, в рядах настоящих бойцов могут найтись и трусы, и отщепенцы, и даже предатели. Но это будут жалкие одиночки среди миллионов героев.

— Откуда же им взяться? — нетерпеливо спросил Валерий.

— Капитализм не уходит бесследно. Он оставляет свои уродливые следы: эгоизм, тщеславие, шкурничество. Все, что мы называем пережитками капитализма в сознании людей. И если человек заражен ими — появляется новый Мечик.

Антонина Васильевна умолкла. В классе было тихо.

— Я думаю, ребята, — встала со своего места учительница, — наш разговор не закончится в школе. Его продолжит жизнь. До завтра. И не разбейте себе носы в темноте.

Она ушла, и галдеж возобновился. Захлопали крышки парт, кто-то искал учебник, кому-то нечаянно наступили на ногу. Яшка продолжал спорить.

Пусть даже не война, — шумел он, распаляясь все больше и больше. — Попади такой Мечик на границу...

— Ну кто же тебе возражает? — удивлялся Валерий.

— Ребята! — крикнула Лида. — Да тише вы, книжные черви! Спички дайте. Женя тетрадку не может найти.

— Валерий, — Саша дернул друга за рукав, — перестань спорить. У тебя, кажется, были спички.

— Спички? Какие спички? — рассеянно повторял Валерий, не отходя от Яшки.

Саша полез к нему в карман и нащупал коробок.

— Ну что же вы? — возмущенно зывала Лида. — Как курить тайком, так можете.

— Несу, несу, — торопливо сказал Саша и, расталкивая стоящих в проходе, поспешил к первой парте.

Он протянул коробку Жене и на миг прикоснулся к ее маленькой ладони.

— Спасибо, — сказала Женя и, присев возле парты, чиркнула спичкой. Колеблющийся огонек осветил пол.

— Хорошо, нечего сказать, — недовольно пробурчала Лида: она любила каждому делать критические замечания. — Нет, чтобы самому посветить.

Саша вспыхнул от смущения и промолчал. Если бы на его месте был Валерий, он нашел бы что ответить. А Саша был рад и тому, что его виноватое лицо в темноте никто не сможет увидеть.

— Может, помочь? — предложил он несмело.

— Нет, нет, — сердито отозвалась Женья, — я не маленькая.

«Маленькая, ну конечно же маленькая», — хотелось возразить Саше, но он промолчал.

— Поздно, молодой человек, — наставительно сказала Лида. — Мне кажется, у вас замедленная реакция.

— Нашла, — обрадовалась Женья.

— Так это же конверт. Письмо, — радостным голосом воскликнула Лида, будто оно предназначалось ей. — А ты говорила — тетрадь. Теперь мне понятно твое старание. Какая необходимость разыскивать тетрадку. От кого письмо? Наверное, от Андрея?

— Лида, — одернула ее Женья, — к чему эти вопросы?

«Андрей? Письмо от Андрея? — промелькнуло в голове у Саши. — Какой Андрей? В нашем классе Андрея нет. Но он пишет ей. Пишет Жене. Ведь я люблю ее».

Все уже гурьбой выходили в коридор. В дверях образовалась толкучка.

Саша старался не отстать от Жени, которая шла под руку с Лидой, а в душе его все сильнее и радостней звучало новое для него слово «люблю», которое он только что мысленно произнес.

Впервые он оказался во власти этого слова. Ему было и радостно, и мучительно, и страшно.

«Какой короткий коридор, — с грустью думал он. — Сейчас он кончится, потом мы быстро спустимся по ступенькам на второй этаж, потом на первый, оденемся в раздевалке, выйдем за дверь — и все. Снова уйдет Женья, и снова ничего не сказано. А вдруг еще загорится свет? Но как сказать ей? Рядом идет Лида. А что, если... Да, именно это! И скорее, скорее!»

Он должен, наконец, решиться. Неважно, как она к этому отнесется. Главное совсем не в том, как она отнесется, главное в том, чтобы сделать это сейчас, пока не исчезла решимость, пока он чувствует на своих пальцах тепло ее ладони, пока в школе совсем темно.

И Саша решился. Он осторожно взял Женью за локоть и неожиданно, чуть нагнувшись к ней, прикоснулся губами к ее щеке. Женья вздрогнула, вырвала руку, рванулась вперед.

— Женька, ты куда? Что случилось? — испуганно крикнула ей вдогонку Лида.

Женя не ответила. Она, наверное, была уже в раздевалке.

И тут зажегся свет. Ребята удивленно ахнули, зажмурились.

Теперь полный вперед, — командовал Валерий, — иначе Антонина Васильевна, чего доброго, вернет всю команду на палубу литературного корабля.

Саша метнулся в сторону, мигом разыскал свое пальто и юркнул в дверь. Чувство стыда охватило его настолько, что он сразу же показался себе жалким и никчемным. Он не слышал, что его зовет Валерий и просит подождать, чтобы идти домой вместе, не видел ничего вокруг себя. Что он наделал? Как мог позволить себе это? Ну разве не глупо, не стыдно вот так, не говоря ни слова, поцеловать Женю. А она... Вырвалась, убежала. Значит, это ей очень неприятно и плохо, как бывает человеку, которого вдруг несправедливо обидают.

Саша шел темными переулками, сторонясь людей. Было темно и тихо. И вдруг он понял, что все то, что терзает его, не может одолеть светлого и чистого чувства счастья, которое родилось в тот самый миг, когда он поцеловал Женю.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В один из солнечных весенних дней Саша почувствовал, что ему очень хочется смотреть не на доску, где в это время Виталий уверенно расправлялся с биномом Ньютона, не на нахмуренного Петра Семеновича, думающего, что важнее математики нет ничего на свете, не на Лиду, а на Женю, и только на нее одну.

Она сидела возле самого учительского стола. Саша хорошо видел ее спину, тоненькую, совсем еще детскую шею, длинные косы, которые она время от времени ловко перебрасывала через плечи.

Чувство, охватившее Сашу, было для него совсем новым, и он еще не знал, как к нему относиться. В его душе все время как бы соединялись, боролись между собой радость и тревога.

Саша был удивлен, когда однажды Валерий сказал ему:

— Поглядываешь, дружище?

— О чем это ты?

— Да все о том же. О девочках.

— Не понимаю.

— А я, представь себе, понимаю. Женья?

Саша хотел рассердиться, но не мог: он почувствовал, что слова Валерия радуют его.

— На меня можешь положиться, — заверил Валерий. — Я не из тех, кто, визжа и захлебываясь от радости, передает встречному и поперечному такого рода сенсации. — Он вдруг оживился и, обняв Сашу длинной тонкой рукой, радостно продолжил: — Ты знаешь, мы полюбили чуть ли не одновременно. Здорово, правда? Летописцы, рыча от счастья, ломая гусиные перья, отметят это особо, черт возьми! Впрочем, гусиные перья теперь не в моде. Прimitивный способ. А что будет записано в летописи? Они полюбили весной тысяча девятьсот сорок первого года. В результате досточтимый Александр Самойлов схватил двойку по астрономии, а вышеупомянутый Валерий Крапивин вызвал заслуженный гнев милейшей Ольги Давыдовны, учительницы чужестранного языка. Гожусь я в летописцы?

— Годишься, — машинально ответил Саша, думая о своем.

— Итак, давай разберемся, — продолжал Валерий. — Значит, Женья. Чем объяснить твой выбор? Настоящая цыганка. Худышка. Хочешь стать вторым Алеко? Очень романтично. Представляю вас на фоне цыганского табора. И ее песню: «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня...» Почему бы тебе не направить свои взоры на Люсю? Правда, она равнодушна ко мне.

— А к кому ты равнодушен? — спросил Саша.

— Я? — Валерий задумался и, поколебавшись, ответил: — Признаться, не задумывался. А на меня не обижайся. Все это веселые шутки. Без них жизнь удручающе скучна. Мой совет: не вздыхать на луну, как рекомендуют некоторые поэты, а действовать, действовать. Только вперед, только на линию огня, как любил говорить наш предшественник Павка Корчагин.

— А как? — решил посоветоваться Саша.

— Миллион методов! — оживился Валерий. — Исползовать опыт, накопленный человечеством. Метод первый: чтение своей возлюбленной лирических стихов. Метод второй: ежедневное сопровождение до ворот замка, в котором она обитает. Метод третий: любовное послание. Эписто-



лярный жанр. Все мальчишки мира, становясь юнцами, как правило, прибегают к этому жанру. Метод четвертый...

— Наверное, достаточно? — перебил его Саша.

Валерий сразу же сделался серьезным, даже немного грустным. Его зеленватые глаза подернулись дымкой, а пухлые губы стали еще больше похожи на девичьи.

— И снова шутки, — сказал он, — шутки гимназистов, Сашук. Но знай: девушек тянет к необычному. Перестань быть таким, как все, стань оригинальным, — и они сами забросят тебя любовными записками. А ты живешь так, словно тебя вовсе и не существует. Вот уйди завтра из класса и больше не появляйся — никто из них и не заметит. Ты обиделся?

— Нет, — упрямо сказал Саша. — Я не хочу быть оригинальным и необычным. Я хочу быть таким, какой я есть. Самим собой, понимаешь?

— Ну что же, — усмехнулся Валерий. — Каждый идет своим путем. Но когда-нибудь ты вспомнишь мои слова. Саша промолчал.

Несмотря на этот разговор с Валерием, Саша все же решил написать Жене. Он сел за письмо, когда уснула мать. Ни одно сочинение по литературе не давалось ему с таким трудом, как эта небольшая записка. Лишь к утру он забрался под одеяло. Но сон не приходил. Он представил, как Женья будет читать письмо, старался заранее предугадать, как она отнесется к его признанию.

Письмо так и осталось лежать на столе. А утром его увидела мать. Проснувшись, он понял это по ее сосредоточенному лицу и по тому, как она посматривала на него, словно давно уже не видела. Саша вскочил с постели и, улучив момент, прикрыл письмо газетой. Мать молчала. Лишь потом, когда Саша собрался в школу, она как-то несмело спросила:

— Это какая Женья?

Саша вспыхнул, раздумывая, признаваться ему или нет.

— Кольцовская, — негромко ответил он.

— Пусть она приходит к нам, — снова заговорила мать, не сводя с Саши внимательных и, как ему показалось, грустных глаз. — Она, кажется, хорошая девушка.

Саша благодарно взглянул на мать.

— А двойка по астрономии? — вдруг напомнила она.

— Я исправлю, обязательно исправлю, — горячо и поспешно заверил Саша и выскочил из комнаты.

Мать улыбнулась ему вслед. «Он уже совсем большой», — подумала она и пристально посмотрела на себя в зеркало.

«Как все псудачно. Как это все неудачно, — переживал Саша. — Не мог сохранить в тайне».

На большой перемене Саша отвел Лиду в сторону и передал ей учебник тригонометрии.

— Там записка. Для Жени, — смущенно сказал он.

Лида понимающе улыбнулась, открыв ряд ослепительно белых крупных зубов, и два раза кивнула головой в знак того, что обязательно выполнит его просьбу. Весь ее сияющий вид говорил о том, какое удовольствие доставляет ей выполнение такого поручения и как интересно жить на свете, когда они уже вышли из детского возраста. Глаза у Лиды были большие, светлые, и, когда смотрела на кого-нибудь, казалось, что все она видит и что все становится ей понятным без пояснений.

На следующий день учебник тригонометрии вернулся к Саше. Он нашел в нем маленькую записку — клочок бумаги, вырванный из тетради. Как не похожа была записка Жени на Сашино письмо, написанное на отличной бумаге, ровными и красивыми строчками. Саша просидел за своим письмом чуть ли не до третьих петухов, а Женя, как видно, написала записку на маленькой перемence. Она, наверное, очень торопилась, потому что на бумаге красовалась клякса. И все же Саша десятки раз перечитывал эту записку.

Женя писала: «Приходи в субботу, в восемь часов вечера, на угол Школьной и парка».

До субботы оставалось немного дней, и эти дни были самыми трудными. И Саша и Женя почему-то избегали друг друга. Каждый вечер тяжелая дверь школы захлопывалась за ее хрупкой фигуркой, черным крылышком мелькали косички. Саша ломал голову: может, Женя не хочет этой встречи? А может, она просто не показывает перед всеми, что как-то по-особому относится к Саше?

И вот они встретились. Саша заметил Женю еще издали. Он был убежден, что сможет увидеть ее всегда, даже в самую темную ночь.

Женя стояла под деревом, и свет уличного фонаря пестрой рябью лежал на ее пальто. Казалось, она остано-

лась всего лишь на одно мгновение, вот-вот сорвется с места и умчится в темноту.

Саша поздоровался тихо, словно боялся ее спугнуть. Она ответила ему так же робко и неуверенно. Потом они долго стояли молча. Когда Женя приподнимала длинные пушистые ресницы, глаза ее вспыхивали, как разгорающиеся угольки, и обжигали его. И все же он думал о том, что смог бы стоять возле Жени целую вечность.

«Что же ты молчишь? — думала Женя. — Я жду твоих слов, и мне очень интересно все это. Как хорошо, когда все так необыкновенно, удивительно и непонятно».

Женя, — неожиданно сказал Саша, — какие у тебя бархатные глаза.

Ему хотелось сравнить ее глаза с далекими ясными звездочками, что вспыхивали в весеннем небе, с морями, в которые осторожно смотрит луна, с манящими огоньками, что вдруг зажглись перед путником в глухой тайге. Но он сказал еще раз:

— Какие бархатные глаза...

— А я давно жду тебя. И думала, что ты не придешь.

— Неужели ты могла так подумать? Ты же читала мое письмо?

— Читала. И думаю, что нам надо учиться, а не сочинять письма.

— Ты, наверное, порвала его? — тихо спросил Саша.

— Да, — ответила Женя.

Саша вздрогнул. Он немного отошел от Жени, круто повернулся и неожиданно побежал прочь.

Бежал он долго, сам не зная куда.

Наконец он устал и двинулся шагом.

Вот и все, — едва не плача, прошептал он и в то же мгновение почувствовал легкое прикосновение маленьких холодных ладошек к своим глазам. Он сразу же понял, чьи это ладошки, схватил их руками, разжал и обернулся.

Еще секунду назад Саше хотелось гордо оттолкнуть ее от себя, сказать ей что-либо обидное и горькое, но сейчас он сразу же сделался покорным и тихим.

— Женька, Женька, — радостно сказал он. Голос его звучал так умоляюще, что Женя на мгновение растерялась, с трудом удерживая разгоряченнее бегом дыхание.

«Нет, так нельзя, так нехорошо, — говорила она себе. — Ты же еще ничего не знаешь. Ну, скажи, о ком ты

думаешь больше: о Саше или о Галерии? Или об Андрее Обухове? Ты еще сама ничего не знаешь».

Женя познакомилась с Андреем год назад на прополке картофеля в колхозе, куда часто выезжали старшеклассники. Увидев, как стремительно взмахивает он хорошо наточенной тяпкой, Женя сказала:

— Бедная картошка.

— Счастливая картошка, — упрямо поправил он.

Женя пристально взглянула на своего соседа. Андрей ответил ей таким же взглядом. Она нахмурилась. Былая уверенность изменила ей.

Юноша был худощав для своего высокого роста, но под голубой рубашкой угадывались сильные упругие мускулы.

Женя так и не смогла догнать его. Будто торопясь куда-то, он полол без передышки.

— Что это за паренек? — справилась она у девочек. — Какой он упрямый и заносчивый.

— Нет, нет, — тотчас же вступилась за Андрея одна из девушек. — Я знаю его давно, мы учимся в одной школе. Он хорошо поет. Ты бы послушала, как он спел на лермонтовском вечере «Горные вершины спят во тьме ночной»! И он очень простой, только на своем любит стоять, никогда не поддается.

— У него отец пограничник, — добавил кто-то.

— А военрук им не нахвалится, — сообщала все новые и новые подробности девушка. — И еще я знаю, что Андрей прямо-таки бредит границей.

Женя чувствовала, что все рассказываемое девочками об Андрее интересует ее и что ей хочется знать о нем как можно больше.

Перед тем как уснуть после тяжелой работы, Женя нередко думала об Андрее. Почему, она и сама не знала. Кажется, в облике Андрея не было ничего особенного. Белокурая шевелюра с золотистым отливом, худощавое лицо, упрямый подбородок.

Может быть, он сумел с каким-то особым искусством подойти к ней и пробудить неясные чувства? Нет, ничего этого не было. И все-таки она вспоминала о нем. Даже после того, как стала дружить с Валерием, дружить так, что об этом никто в классе не знал.

Ей вдруг вспомнилось, как она шла по этой же улице, по которой идет теперь с Сашей, когда провожала на вой-

зал Андрея. Он был уже в военной форме с зелеными петличками и ехал на заставу...

— Скоро тебя возьмут в армию, — сказала Женя, посмотрев на молчаливого Сапу. — Ты будешь писать мне? Или забудешь?

— Лишь бы ты не забыла, — растерянно сказал Сапа. Он никак не мог понять, почему она заговорила об армии.

Женя стояла рядом с Сашей и не могла справиться с грустью, которая временами возникала в глубине души и сжимала сердце. Она понимала, что нравится и Андрею, и Валерию, и Саше, и со всеми ими ей хотелось быть искренней и правдивой. Но Женя знала, что эта правда заставит кого-то из них мучиться и страдать, и потому не торопилась признаваться в своих чувствах. Тем более что в ее жизни была та самая, очень непродолжительная по времени пора, когда хочется любить весь мир.

Сейчас ей вспомнился разговор с Валерием. Он, прочитав ей новые стихи, сказал, что скоро уже все десятиклассники разлетятся кто куда, и неизвестно, будут ли вспоминать друг о друге.

— Если подумаешь обо мне, смотри вон туда, — сказала она, кивнув головой на темно-синее небо. Там ярко горела звездочка. — И я тоже буду смотреть. А звездочка передаст мне твои думы.

— Ты заставишь меня все время держать голову поднятой к небу, — засмеялся Валерий.

— Правда? — радостно воскликнула Женя.

— Ты, конечно, обо мне и не вспомнишь, — сказал Валерий. — У тебя столько поклонников. На заставе ждет Андрей. В школе ждет Сапа.

Теперь промолчала Женя. Ей не хотелось разубеждать его.

И вот, вспоминая сейчас этот разговор, она думала, был ли он просто веселой шуткой или же они говорили всерьез. «Рассказать Саше о своей переписке с Андреем? Или о том, как Валерий часто читает мне свои стихи? — тревожно думала она и тут же убеждала себя: — Нет, не делай этого. Ты скажешь ему об этом, непременно скажешь, но только не сейчас. Только не сейчас».

— Пора домой, — вдруг нахмурилась Женя.

— Пойдем, — согласился он. — Тебе, наверное, холодно.

На обратном пути Женя была неразговорчива. Молчал и Сапа. Ему казалось, что он должен говорить с Женей

какими-то необыкновенными словами, рассказывать ей о чем-то особенном, но в его жизни ничего необыкновенного еще не происходило, и это его очень огорчало.

А Жене вспомнилась вечерняя степь. Запоздалый дождь освежил воздух, темнота сгустилась, и луне, совсем недавно народившейся, труднее стало видеть землю. К тому же ее время от времени прятали клочки облаков.

Пришло на память, как они с Валерием выбрались на дорогу, всю усеянную свежими лужами, и пошли вдоль темной рощи. Валерий тихо импровизировал. Казалось, что он произносит только что родившиеся строки вовсе не для Жени. И даже не для себя. Но Жене слышался в них свист крыльев беспокойной птицы, ласковый шепот влюбленных, звон капель, осыпавшихся с мокрых кустов.

«Но почему я вспоминаю то о Валерии, то об Андрее? — мысленно сердилась Женья. — Ни тому, ни другому я не давала никаких обещаний. Ведь это просто дружба. И, кажется, с Сашей мне лучше? Или с Валерием? Его стихи почему-то все время звучат в ушах. Нет, ты еще ничего не решила, ты совсем еще девчонка, маленькая, глупая девчонка».

И ей подумалось: жизнь, что ждет ее впереди, — большая-большая, нет ей ни конца ни края, будет в этой жизни много неожиданного и увлекательного. Ведь ей только восемнадцать, и сколько лет еще впереди!

А Саша шел и мечтал о том, что он и Женья созданы друг для друга и родились на земле для того, чтобы никогда не расставаться. Он говорил себе, что Женья — его единственная избранница и что сколько бы лет он ни прожил, он никогда не сможет полюбить другую девушку. Только Женю... И разве может она его не любить, если он ее любит? Ему вдруг очень захотелось остановить ее, обнять и так простоять всю ночь, смотреть, не отрываясь, в ее лицо.

Женья жила в маленьком переулке неподалеку от центра города. Здесь было безлюдно. Напротив тянулся длинный ветхий забор, за которым раскинулся старый яблоневый сад.

— Скоро мы встретимся? — спросил Саша, когда Женья осторожно, стараясь не шуметь, открывала калитку.

— В школе, — рассеянно улыбнулась Женья. Она взглянула на его обиженное лицо и добавила решительно: — А гулять, как сегодня, некогда. Скоро экзамены.

— Ты пойдешь на школьный вечер?

— Вечер? — переспросила Женья, будто что-то припоминая. — Пойду. Там и встретимся.

— Я как раз и хотел тебя пригласить. Хотя я совсем никудышный танцор.

«Никудышный» — это было сказано слишком смело. Саша вообще не умел танцевать.

— Эта наука легче астрономии, — улыбнулась Женья. — Танцы — просто. И совсем не просто другое.

— А что?

— Да это я так. Спокойной ночи.

— А все же?

— Я расскажу тебе. Только не сейчас. Хорошо?

Звякнула щеколда, и Женья быстро пошла по дорожке к дому. Саша не уходил. Неужели она не оглянется? Нет, оглянулась, и не только оглянулась, но почему-то бежит назад, к калитке. Приоткрыв ее, Женья шепнула:

— Совсем забыла сказать. Мне понравилось твое письмо. Очень. Только...

Саша быстро нагнулся к ней, пытаясь схватить ее за плечи, но она легонько оттолкнула его.

— Тебе еще попадет от меня за то, помнишь? В школе, на лестнице. Ты что же, так и будешь здесь стоять?

— Сейчас пойду. А если бы можно, я не отпустил бы тебя до утра.

— Что ты! Нам и так достанется на орехи. А теперь иди. Или боишься один? Проводить тебя?

Саша в шутку погрозил ей кулаком. В тот же миг калитка захлопнулась.

Саша возвращался домой. Луна спряталась, словно ей надоело светить. Терялось ощущение времени. Что сейчас? Ночь? Или уже совсем близко рассвет? Часы на Республиканской рассеяли все его сомнения. Они показывали два. Ничего себе! Что подумает мать? А как пролетело время!

Всю дорогу он думал о Жене. Вспоминал каждое ее слово и старался понять его истинное значение. И только у самого дома в голове промелькнуло: «А ведь в понедельник астрономия. И Агриппина Федоровна обязательно спросит. А ты ни черта не знаешь». Но стоило ему шепотом произнести имя «Женья», как строгая физичка стала совсем не страшной. Он еще раз сказал «Женья» уже погромче, и на душе стало легко и радостно. «А, еще лучше — «Женька», — подумал Саша. — Я обязательно буду звать ее Женькой».

Майор Обухов порывисто распахнул окно. В кабинете было не очень душно. Но Обухов часто ездил на пограничные заставы и привык к воздуху росистых трав, набухающих почек, приветливых многоголосых рощ.

Весеннее утро было сырое, холодное. Обухов протянул руку и потрогал ветку яблони, что росла за окном. На ветке распускались почки. Ночью над городом промчался короткий стремительный ливень, и дождевые капли еще не успели высохнуть. Едва ощутимо пахло яблоками.

Из-за угла вышел инструктор политотдела Парамонов. Обухов позвал его.

— Еду на девятку, — сообщил Парамонов. Он назвал так девятую заставу. — Что передать Андрею?

— Да я уж ему письменный привет послал, — ответил Обухов. — А все же заодно глянь, как он там. Спуску не давай.

— За это, товарищ майор, будьте спокойны.

— Кстати, вспомнил. Вчера звонили из третьей школы. А потом еще парнишка заходил. Боевой такой, речистый. Звать Валерием, фамилию позабыл. У них в школе вечер. Просят оркестр и в гости приглашают. В следующее воскресенье. Я тебя попрошу, распорядись там.

— Понятно. Я с заставы, с вашего разрешения, пару ребят возьму. Из тех, что задержания имеют. У них есть что рассказать. И Андрея прихвачу.

— Балуеть ты его, Иван Сергеевич.

— Его не разбалуешь. Не потому, что это ваш сын. Говорю вполне объективно. Пусть с молодежью повидается. Спойет.

— Ну, смотри, дело твое. Только сразу после вечера всех отправить по своим заставам с попутной машиной. А вообще-то я уж и не рад, что Андрея на Дальний Восток не отправил. Как-то нехорошо, что в одном отряде с отцом служит. Семейственность какая-то.

— Это вы зря. У нас же традиция. Брат сменяет брата, сын — отца.

— Вот то-то ж, что сменяет. Да ты кого угодно убедишь. Сказано — пропагандист.

— Наконец-то вы признали мои способности, — засмеялся Парамонов. — На собраниях от вас только критику слышу. А насчет Андрея — жалеть не надо. Он на



боевой участок попал. Сейчас здесь погорячее, чем на Востоке.

Парамонова позвали, и он отошел от окна. Обухов принялся за работу.

Он сидел за широким и удобным столом. Возле стоял массивный сейф, схемы и карты на стенах были завешены плотной голубоватой тканью. На приставном столике приоткрылся маленький глиняный кувшинчик с букетом ландышей. Цветы принесли в комнату запах леса, березовых зарослей, душистой сырости весенней земли. Обухов привозил цветы из своих поездок или же покупал на углу, у старой цветочницы. Над ним за глаза подтрунивали, Обухов знал это, но цветы неизменно появлялись на столе.

Перед Обуховым лежал обыкновенный конверт с треугольным штампом «Красноармейское письмо». Конверт давно уже был вскрыт, письмо перечитано несколько раз, и все же Обухов не торопился прятать его. Он вытащил из конверта несколько блокнотных листиков и начал перечитывать письмо.

«И все же границу я вижу всегда по-своему. Представь, папка, березы в тумане. Белые стволы так хорошо спрятались в нем, что боишься натолкнуться на гибкую молодую березку. Роса пропитала брезентовый плащ, и каждая ветка, цепляясь за него, норовит подать свой голос. И вот еще кто никак не считается с нашими законами: соловьи. Бывает, что под утро они словно сходят с ума: поют с таким увлечением, что, кажется, никто на земле не сможет сомкнуть глаз. Часто приходится бывать в это время в наряде, и мне порой кажется, что соловьями забита вся роща и все леса вокруг. Будто на каждой острой веточке сидит по соловью. В такую ночь часто вспоминаю тебя. И, конечно, Женю. Ты испугался, папка? Ты думаешь, старый мой пограничник, что я слушаю соловьиные трели, забыв о дозорной тропе? Не бойся. Я мог бы доказать тебе, что я не так уж плохо исполняю свои пограничные обязанности. Но об этом в письмах не пишут. Приезжай, проверь...»

Нет, пора приниматься за дело. Обухов открыл сейф, достал папку, покопался в ней, вытащил шифrogramму, углубился в чтение. Взял красный карандаш, подчеркнул строчки:

«На сопредельной стороне отмечена подвозка тяжелых орудий. Бойницы в кирпичных стенах оборудуются в

направлении советской границы. Идет усиленное отселение жителей немецкой национальности из приграничных районов. Германское правительство отдало приказ о разминировании мостов через Западный Буг».

Обухов встал, сигарету в массивный янтарный мундштук, закурил.

— Соловьи... — задумчиво произнес он.

Не стоило оставлять письмо Андрея на столе. А тут еще Парамонов напомнил о сыне. Тучи сгущаются. Немцы перешли на усиленную охрану границы. Совсем недавно на соседнем участке было задержано одиннадцать диверсантов, потом еще семь. Видимо, немецкая разведка заботится уже не столько о качестве агентуры, сколько отдает предпочтение количеству. Расчет простой: даже если большинство диверсантов будет обезврежено, то оставшаяся часть сможет выполнить задание по нарушению коммуникаций советских войск. Все это не могло не беспокоить.

Но что же делать, что предпринять? Запастись терпением? Продолжать по-прежнему лишь фиксировать факты? Именно так и советовал поступать начальник отряда Крылов перед тем, как собирался лечь в госпиталь на операцию.

— Поменьше эмоций, Обухов, — устало говорил он. — Ты же знаешь, нашему соседу дали по шапке и по партийной линии вкатили строгака. Переусердствовал. Писал, лез через голову. Угроза войны мерещилась. А ему сказали: у вас нервишки не в порядке.

— А ты считаешь, что немцы не нападут? — в упор спросил Обухов.

— Что бы я там ни считал, от этого ничего не изменится. Ты пойми, Обухов, нам ли с нашего пяточка виднее или оттуда, с государственной вышки? Неужто не чувствуешь разницы в масштабах?

— Чувствую. А только и наш масштаб — составная часть общегосударственного.

— Логично, — согласился Крылов. — Но мы солдаты. Сталин даст команду — в бой, — пойдем воевать. Уж он-то угрозу войны раньше всех заметит.

Обухов раздумывал над словами Крылова. Было в них что-то такое, что смиряло его, сдерживало. И все же в конечном итоге приходил к заключению: нет, бездействие в такое время равносильно преступлению. Надо глубоко проанализировать все данные войскового наблюдения, до-

просы задержанных нарушителей, все материалы, имевшиеся в распоряжении штаба отряда, и подготовить хорошо аргументированный документ. А уж наверху пусть решают. Иначе он, Обухов, поступить не может, так требует его совесть. Он убежден, что немцы упорно готовятся к чему-то очень серьезному. И он напишет обо всем этом прямо в Москву. Как коммунист. Как пограничник. Наконец, просто как человек. И сделает это теперь, когда Крылов в госпитале и не в состоянии ему помешать.

Приняв это решение, Обухов вдруг снова вспомнил о сыне. Да, Андрей попал на боевой участок. Что ж, сам настоял.

...Резкий телефонный звонок прервал думы Обухова. Докладывал дежурный. На участке седьмой заставы задержан нарушитель. А это там, где служит Андрей. Что расскажет задержанный? Что нового прибавит он к тем тревожным данным, которые теперь почти каждый день поступали в отряд?

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В воскресенье вечером Саша зашел за Женей, и они поспешили в школу. Женя взяла с собой новенькие туфли, сверкающие черным лаком. Саша нес сверток с туфлями бережно, словно что-то драгоценное и хрупкое. Он озабоченно думал о предстоящем вечере. Больше всего его волновало то, что он не умеет танцевать. Саша никогда не увлекался танцами, считая их чем-то чересчур легкомысленным. Теперь ему приходилось жалеть об этом.

Стемнело, когда они подошли к школе. Саша не совсем уверенно взял Женю под руку. Она быстро взглянула на него:

— Теперь не боишься? Темно?

— А хочешь, я с тобой и днем пройду вот так же? Через весь город.

— Даже при Антонине Васильевне?

— Даже при ней.

— Не поверю.

— Спорим?

— Спорим!

Но спорить было уже некогда: они подошли к подъезду. Знакомое трехэтажное здание словно утонуло в тем-

ноте, и лишь в вестибюле да в окнах второго этажа горел свет.

Едва Саша и Женя открыли школьную дверь, как их встретили звуки оркестра. Они доносились сюда из актового зала. Чудилось, что и колонны в вестибюле, и стены, и люстры, и широкая лестница, ведущая на второй этаж,— все излучает тревожную, зовущую мелодию.

В раздевалке было очень оживленно, но не слышалось того делового шума, которым наполнена школа в обычные учебные дни. Музыка, яркий свет, праздничные наряды преобразили старшеклассников. Их лица светились ожиданием чего-то необычного, и даже самые отчаянные заводилы были сейчас предупредительно вежливы.

Саша развернул сверток. Женя отошла в укромный уголок за колонной, чтобы не быть у всех на виду, и сняла боты. Саша увидел ее маленькую ножку, туго обтянутую чулком, и ему почему-то захотелось дотронуться до этой ножки и погладить ее рукой.

— Давай же туфли, — нетерпеливо сказала Женя.

Саша поспешно выполнил ее просьбу, и у него внезапно появилось желание, чтобы сейчас их увидели все, кто пришел на этот вечер, чтобы все знали и хорошо поняли, что только он удостоен такого счастья — помочь Жене надеть туфли.

Переобувшись, Женя подбежала к большому зеркалу, возле которого уже толпились девочки.

Хорошо, очень хорошо, думал Саша. Ну конечно же хорошо, просто чудесно. И совсем не нужно смотреть в зеркало. И так ясно, что хорошо. Ведь ни у кого нет такого красивого вишневого платья. И как хорошо, что рукава платья не прячут полностью ее худеньких, но изящных рук. И что белый воротничок так оттеняет черные волосы. Конечно же, все прекрасно. Она сейчас совсем не школьница, а взрослая, совсем взрослая девушка.

Женя, видимо, и сама понимала, что все очень хорошо. Она недолго задержалась у зеркала, отошла от него и заметно повеселела.

К ним стремительно подбежал Валерий. На нем была темно-зеленая вельветовая куртка с молнией и неширокие синие брюки. Вероятно потому, что он был хорошо сложен, казалось, что именно эта куртка и эти брюки должны быть на нем, и именно эта одежда ему очень к лицу.

— Наконец-то! — воскликнул Валерий тоном организатора, от которого все зависит: и своевременный сбор учащихся, и то, как пройдет вечер. — Какая ужасная медлительность! Свет самых далеких звезд доходит до нас быстрее. Валерий Чкалов уже давно был бы на Северном полюсе. А вы бросаете на ветер целые часы. Я ждал вас, задыхаясь от нетерпения. Вы слышите эти торжественные звуки? Это не какая-нибудь примитивная шарманка, а настоящий духовой оркестр.

— Он и впрямь чудесный, — сказала Женя.

Чудесный! — с наигранным возмущением подхватил Валерий и как-то особенно внимательно взглянул на Женю. — Сказать так — значит не сказать ничего. Изумительно! Нет, народ еще не сотворил слов, которыми можно было бы оценить такую игру. Это же духовой оркестр пограничников!

— Пограничников? — радостно спросила Женя и тут же запнулась.

— Не веришь? — удивился Валерий. — Нет, ты не ценишь мой организаторский талант. Известно ли тебе, что я был у самого Обухова?

Валерий так же поспешно убежал, как и появился. Саша и Женя вошли в актовый зал и остановились в стороне, недалеко от дверей.

Саша осмотрелся. На небольшой сцене расположился оркестр пограничников. У музыкантов был перерыв, они о чем-то переговаривались между собой и весело улыбались, поглядывая на старшекласников.

Саша с трудом узнавал своих друзей. Не верилось, что эти же самые ребята и девочки по требованию учителя послушно встают из-за парты, идут к доске или, пачкая пальцы чернилами, пишут диктанты на немецком языке.

— Какая прелесть этот оркестр, — заговорила Лида, подхватив Женю под руку. — Это не то, что танцевать под патефон, совсем не то, вот увидишь. И какие хорошие все эти пограничники, молодые, здоровые. Мне очень нравятся их зеленые петлички. Знаешь, Женька, так и вспоминается весна. А скоро приедут пограничники прямо с заставы. Представляешь?

Лида наклонилась к Жене и прошептала ей на ухо, но так громко, что Саша услышал:

— А его ждешь? Вдруг приедет?

Женя дернула Лиду за руку, не дав ей договорить.

Лида покосилась на Сашу и недовольно вздернула головой, припав гордую, независимую позу. Ее тут же пригласили танцевать.

— А ты не хочешь покружиться? — спросила Женя.

— Я не умею, — признался Саша.

— Правда? — искренне удивилась Женя, словно сделала открытие. — Нисколько?

Во всем, что она говорила — то ли удивляясь, то ли восторгаясь чем-нибудь, — ясно слышалась радостная искренность.

— Хочешь, поучу? — предложила она.

— Что ты, я всех насмешу.

— Да нет же, пойдем.

Они отошли в угол зала, где было свободно и где Женя могла учить его, не мешая кружащимся парам.

Саша смотрел на танцующих с завистью. Они пронеслись мимо с веселыми, сияющими лицами. Мелькали платья девочек, разлетаясь причудливыми разноцветными кругами. Оркестр играл старинный-старинный вальс, и Саша подумал, что, наверное, такой вальс гимназисткой танцевала мама.

Они приготавились к танцу. Женя легким, но уверенным движением подсказала Саше, когда нужно было начинать.

— Смелее, совсем хорошо получилось, — сказала Женя, и Саша увидел, как радостно смеются ее глаза.

Но танцевать им не пришлось. Вальс внезапно оборвался. Все обернулись в сторону сцены и увидели очень высокого человека в форме пограничного командира и стоявших рядом с ним двух молодых бойцов. Высокий командир что-то сказал молодежнику капельмейстеру. Тот изящно взмахнул палочкой, и, словно гром с ясного неба, грянула разудалая «барыня».

Старшеклассники еще не пришли в себя — уж слишком неожиданным был переход от плавного мелодичного вальса к этой искрометной русской пляске, как командир с гиком выскочил на середину вмиг образовавшегося круга и пошел в пляс. Не верилось, что этот высокий и не совсем складный человек может плясать так легко и лихо. Он то выбивал каблуками своих начищенных до ослепительного блеска хромовых сапог гулкую дробь, то, приседая, шел по кругу, уперев руки в бока и легко вскидывая длинные ноги, то вскакивал во весь рост, то чуть ли не летел над пар-

кетным полом. Он плясал так, что каждого, кто наблюдал за ним, так и подмывало вскочить в круг. Лицо его было веселое, лукавое, и хитрым взглядом своих больших глаз он как бы спрашивал всех, кто окружил его: «Ну как? Не плохо?»

Эта неожиданная, никем не предвиденная пляска вызвала веселый смех, бурю аплодисментов и создала ту непринужденную обстановку, когда каждый чувствует себя легко и свободно.

Высокий командир вытер платком вспотевшее лицо.

— Это для знакомства, — сказал он. — Вопросы есть?

— Хорошо! Здорово! — раздалось восклицания.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал командир. — У нас в пограничных войсках все так пляшут.

Ребята засмеялись. Казалось, что этот высокий командир давным-давно всем знаком.

— Не верите? — весело и непринужденно продолжал он. — Я правду говорю. Вот только плясать некогда. Вы звали нас в гости?

— Звали! — заверили старшекласники.

— Чудесно. Моя фамилия — Парамонов. Вот это — Соболев, — он представил невысокого плечистого бойца с медалью «За отвагу» на груди. — Он задержал двенадцать нарушителей границы. Нет, виноват, уже тринадцать. Чертову дюжину. Вот он и расскажет.

Саша оглянулся. Жени возле него уже не было. Ему хотелось, чтобы она стояла рядом с ним. Но он так и не увидел ее, да к тому же Соболев уже начал рассказывать.

Говорил Соболев негромко, запинаясь, смущаясь от каждой не совсем гладко сказанной фразы. Он явно непривычно чувствовал себя в большой незнакомой аудитории.

— У нас бывает разное, — рассказывал он. — Зимой был я с Ларкиным в наряде. Снегу в лесу — по колено. Идем по дозорке. Смотрим — в запретной полосе люди. Мы в кусты спрятались. На нас маскхалаты были надеты. Ну, замаскировались. Ларкин мне говорит: «Коля, это свои». Присмотрелись: вроде свои. Шесть человек. В нашу военную форму одеты. По петлицам — саперы. Четверо с бревнами берутся, двое в сторонке. Какую-то бумагу рассматривают, вроде карты. Свои-то свои, думаю, да кто им разрешил здесь работать? Подполз поближе. Они нас, конечно, не ждали. Из-за укрытия докумен-

ты потребовал. Вижу, один в лице переменялся. А остальные ничего, убеждают меня, что свои. Один здоровый такой, со шрамом на лице, даже фамилию нашего начальника заставы назвал. Пройдемте до заставы, говорю, там разберемся. Тут здоровый выхватил пистолет — и в меня. Да Ларкин тоже не дурак — давно его на мушке держал. Перестрелка началась. А вскорости с заставы подоспели. Трех живыми взяли, остальных — наповал. Да вот Обухов тоже был, видел. Он пускай дополнит.

— Да мне дополнять нечего, — без смущения отозвался Андрей. — Ты на мою долю ничего не оставил.

— А кто же были эти задержанные? — поинтересовался Виталий.

— Диверсанты. Одели нашу форму, думали, на дураков нарвутся.

— Соболев забыл сказать, что его за это медалью наградили, — добавил Парамонов. — Ранили в перестрелке, месяц в госпитале пролежал.

— Так это не главное, — смутился Соболев.

— А ты что расскажешь, Андрей? — спросил Парамонов.

— Мне еще рано рассказывать, — ответил Андрей. — Скажу только: хорошая у нас служба.

«Это Андрей? Тот самый Андрей, который посылает Жене письма?» — взволнованно подумал Саша, и праздничное настроение его сразу померкло.

— А верно, приезжайте к нам на заставу, — сказал Парамонов. — Сами увидите — граница любит отважных. Народ пограничников уважает. Не за красивые глаза. За суровую службу, за мужество и верность.

Вокруг Парамонова, Соболева и Андрея группами собрались ребята. Сашу словно магнитом потянуло к Андрею.

— Я не пойму, — удивлялся один паренек, — как это Андрей закончил десятилетку и пошел служить рядовым. Он мог бы поступить в пограничное училище.

— Андрей — молодец, — убежденно сказал Валерий. — Он правильно сделал.

— А ты бы пошел? — тут же вмешался Яшка.

— К чему этот вопрос? У каждого свой путь и своя звезда. Один задерживает шпиона, второй слагает об этом поэму.

— Здорово! — воскликнул Виталий. — Что же легче?



— Поэт может задержать нарушителя, — серьезно сказал Валерий. — Солдат не напишет поэму.

— Еще как напишет! — авторитетно заявил Яшка.

— В таком случае он становится поэтом и перестает быть солдатом.

— Ну и философия, — не выдержал Саша. — Валерий, подумай, что ты говоришь. Нельзя же так разделять.

— Да нет же, просто меня надо понять, — мягко убеждал Валерий. — Трудно и то и другое. И в том и в другом случае нужно обладать талантом. И я бы сказал, слава поэта и слава пограничника одинаково заманчива. Цель жизни — достичь вершин славы.

— Но это же тщеславие, — сердито сказал Саша.

— Самое настоящее, — угрюмо буркнул Яшка.

— Не вижу логики, — спокойно возразил Валерий. — Это во-первых. А во-вторых, Саша, я не узнаю тебя. Ты только что был таким веселым...

— Какое это имеет значение, каким я был? — перебил его Саша. — Выходит, по-твоему, стремление к славе — цель жизни?

— Если я иду к славе, значит, я иду вперед.

— Нет, ты скажи, слава — цель?

— А что же цель?

— Настоящая жизнь — вот что.

— Но настоящая жизнь всегда овеяна славой, — не сдавался Валерий. — Скажи, Андрей, — обратился он к Обухову, — скажи, ты согласен с тем, что плох тот солдат, который не стремится стать генералом?

Андрей ответил не сразу. Он переводил взгляд с одного собеседника на другого, будто старался по выражению лиц определить, как бы они ответили на этот вопрос.

«Он очень красивый», — отметил про себя Саша.

— Солдат должен стремиться стать генералом, — наконец убежденно ответил Андрей. — Но не ради славы. И чтобы честно. Собственным горбом, одним словом. А нужно — кровью. Тщеславный что сделает? Одному ножку подставит, второго оттолкнет, на третьего наговорит. А Соболев, например, за славой не гнался. Честно выполнил все, что ему положено.

«Правильно, очень правильно он говорит, — мысленно поддержал Андрея Саша. — И я ведь так думал, только не

сумел выразить это ясно и определенно, как он. Кажется, он очень решительный. И это, наверное, очень нравится Жене».

— Слышал, дружище? — услышал Саша торжествующий голос Валерия. — А ты говоришь, что я не прав.

Саша смолчал. Он чувствовал, что суждения Валерия чем-то самым существенным отличаются от того мнения, которое только что высказал Андрей, но собраться с мыслями, чтобы доказать это, не мог.

Снова заиграл оркестр.

Саша обернулся. Неподалеку от него стояла Женья. Она, конечно, слышала весь этот разговор. Валерий подошел к ней.

— Женья — прекрасная учительница танцев, — сказал он, обращаясь к Саше, — но я тоже, кажется, заслужил хотя бы один танец.

— При чем здесь я? — смутился Саша.

Женья пошла с Валерием, но несколько раз обернулась и смеющимися глазами ободряюще посмотрела на Сашу.

«Ничего, ничего, — словно говорили эти глаза, — я еще поучу тебя танцевать. Правда, правда!»

Саша вышел из зала и долго бродил по коридору и сам не знал, как это случилось, вдруг очутился в своем классе. Он не стал включать свет, в темноте нашел парту, что упиралась в учительский стол. Первую парту в среднем ряду, за которой сидела Женья. Тихо сел на ее место.

Саша долго сидел за партой. Где-то далеко звучал смех, слышалась музыка, а Саша ждал чуда. Оно, это чудо, должно свершиться: еще минута, и в класс вбежит Женья. Она сядет рядом с ним, и они будут мечтать о будущем, о путях-дорогах, по которым пойдут вместе. Но дверь класса не распахнулась.

Саша нехотя вернулся в зал и тут увидел, что Женья стоит рядом с Андреем. Он что-то говорил ей, а она смеялась и изредка кивала ему, как бы соглашаясь с тем, что он говорил. Потом они начали танцевать, не прекращая разговора. Сашино сердце билось испуганно и торопливо. По сияющему лицу Жени Саша понял, что она рада встрече с Андреем. И сразу же все, что он видел вокруг: блеск люстр, веселые лица ребят, праздничные платья девочек, музыка, — все это показалось ненужным, пустым, тоскливым.

Саша оделся и вышел на улицу. Дул по-весеннему влажный ветер. Саша устало прислонился к телеграфному столбу. Столб гудел, как живой.

Послышались быстрые, решительные шаги. Саша всмотрелся в темноту. Невдалеке от себя он увидел фигуру Парамонова. За ним едва поспевали Андрей и Соболев. Саша с завистью посмотрел им вслед. Как хотелось ему пойти вместе с ними, чтобы уже не возвращаться назад.

Саша очень долго бродил по городу. Он то убеждал себя, что найдет в себе силу воли, чтобы забыть Женю, то с непреодолимым страхом чувствовал, что не сможет без нее. Она должна быть всегда рядом, каждое мгновение. Иначе не стоит жить.

Было уже за полночь, когда Саша остановился у ворот дома, где жила Женя. Он должен, обязательно должен еще раз, в последний раз поговорить с ней. Он был несказанно обрадован, когда увидел Женю, бегущую к калитке.

— Женя, — тихо позвал Саша.

— Ой, — вздрогнула она, — как напугал. А мы тебя не могли найти.

— Ты любишь Андрея? — неожиданно спросил он.

Обдумывая заранее предстоящий разговор, он вовсе не собиравшись задавать Жене такого вопроса. Он хотел вдохновенно и просто сказать ей о своей любви. Но получилось совсем иначе.

Я обязательно должна ответить? — насторожилась Женя.

— Как хочешь. Только правду.

— Правду? — вспыхнула она.

— Да.

— Я скажу тебе, — торопливо заговорила Женя. — Только пойми меня. Знаешь, рядом с тобой я всегда школьница. С косичками. Тебе нравятся мои косички. А они — мое детство. Понимаешь? Детство уже прошло. Вот и вся правда. Тебе это хотелось услышать?

— Ты любишь Андрея? — упрямо повторил Саша.

— Я и сама не знаю! Я еще сама ничего не знаю! — с каким-то отчаянием вскрикнула Женя, прислонившись к забору. Она помолчала и, взглянув на обиженное, сумрачное лицо Саши, добавила: — Вот сейчас меня провожал Валерий. Всю дорогу он читал мне стихи. Но это же не значит, что это... любовь.

— А все-таки я люблю твои косички, — с ожесточенной решимостью сказал Саша. — И буду любить.

Женя удивленно взглянула на него. Никогда он еще не был с ней таким решительным, даже дерзким.

— Косички я скоро обрежу, — виновато сказала Женя.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Артемий Федорович Крапивин, отец Валерия, увлекался Стефаном Цвейгом. Больше всего он любил цикл его миниатюр «Звездные часы человечества». Ему нравилось, с какой тщательностью тот анатомировал души выдающихся личностей. Артемий Федорович читал каждую миниатюру множество раз, и с каждым разом все более сильное волнение охватывало его. Он пытался постичь тайну судьбы, тайну невиданных взлетов людей и причины их внезапного падения. Вместе с Цвейгом он исследовал мельчайшие подробности жизни человека, вместе с ним шел за героями этих незаурядных новелл.

Читая Цвейга, Артемий Федорович думал о Валерии. Он ставил своего сына то на место капитана Руже де Лилля, единым порывом бурного вдохновения написавшего бессмертную «Марсельезу», то на место Роберта Скотта, воля и железное упорство которого так ярко вспыхнули на пути к Южному полюсу и так безнадежно растаяли, когда не осталось сомнений в том, что его опередил Амундсен.

Первенство в жизни — великое дело, думал Артемий Федорович. Помедлил, упустил счастливый случай — пеняй на себя, этот миг уже не повторится, как не повторится сама жизнь.

Эту мысль он всегда иллюстрировал собственным жизненным примером. У него получалось так, что он был незаметным, всегда в тени. И остался простым врачом. Он самозабвенно любил свою работу, но, оставаясь наедине с самим собой, мечтал о славе и считал, что приложи он больше упорства, инициативы, и его имя могло бы стать известным.

Артемий Федорович родился и вырос в городе у Черного моря. Он любил его — город старых акаций, веселого смеха и неугомонных морских ветров. Отец Артемия Федоровича учил детей фабриканта Бойницкого, мать была на положении приживалки.

Не без труда Артемий Федорович окончил медицинский факультет. Его отцу это стоило многих унижений, хлопот и денег. В гражданскую войну Артемий Федорович ходил в красноармейской шинели, лечил раненых, многих поставил на ноги, вернул в строй. На фронте познакомился с учительницей Тамарой Петровной Дементьевой. Тамара Петровна была энтузиасткой и непоседой. День и ночь пропадала в своей школе. Везде, где появлялась эта неутомимая, жизнерадостная женщина в красной косынке, сразу же закипала работа. Всюду она была запевалой. Закончив занятия в школе, Тамара Петровна спешила в бараки рабочих обучать неграмотных. Зимой, в лютые морозы, ходила в тонких чулках, едва не замерзнув однажды на мосту. Какой-то прохожий вовремя разбудил ее, не дав погибнуть. Питалась в столовках, где чаще всего самым изысканным и калорийным блюдом была колбаса из конины или жаркое из грача. Возвращалась домой поздними вечерами, когда Артемий Федорович сидел при свечке за объемистым медицинским трактатом. Тихонько подходила к нему сзади и обнимала его широкие сутулые плечи.

— Труженица моя, — растроганно говорил Артемий Федорович.

Она ни о чем не расспрашивала его: ей не терпелось рассказать мужу о прожитом дне, о том, кто из пожилых рабочих уже начал читать по слогам, как вместе с учениками она оборудовала школьную мастерскую, как разругалась с завнаробразом из-за того, что тот обделил их школу учебниками и тетрадями. Ей до всего было дело, во все она считала необходимым вмешаться, все принимала близко к сердцу.

Артемий Федорович смотрел в ее утомленные глаза, в которых так и сверкало нетерпеливое желание взяться за какое-нибудь новое дело, и с грустью думал о том, что она, эта женщина, из тех неутомонных людей, которые вечно куда-то торопятся, мчатся в неизведанные края, строят, творят и мало приспособлены для спокойной семейной жизни.

Больше всего его огорчало отношение Тамары Петровны к появлению ребенка.

— Как же я буду работать с ним? — удивленно спрашивала она. — Ребенок свяжет меня по рукам и ногам.

— Но должна быть у тебя личная жизнь? — пытался убеждать он.

Они оба любили маленького Валерия, хотя Тамара Петровна наотрез отказалась бросить работу. Она была с ребенком лишь в те редкие часы отдыха, которые ей с трудом удавалось выкроить. За Валерием ходила нянька. Но главной нянькой всегда был сам Артемий Федорович. Он безропотно выполнял эти обязанности и обожал сына.

А Тамаре Петровне не жилось на одном месте. В паробразе знали ее готовность выполнить любое поручение и потому часто переводили из одной школы в другую, бросали на самые отстающие участки. Она охотно соглашалась со всеми назначениями. Решительная и смелая, когда нужно было вступить за других, она становилась совершенно беспомощной, когда требовалось защитить себя. Она колесила по глухим селам и не представляла, как можно жить иначе. Артемий Федорович вначале послушно следовал за ней, но вскоре терпение его иссякло. Когда пришла пора отдавать Валерия в школу, он решительно встал против каких бы то ни было переездов. Начались ссоры. Вскоре они стали жить порознь.

Вначале Валерий жил с матерью. Потом Артемий Федорович упросил ее отпустить сына к себе погостить. Он поехал с ним в город, расположенный у границы. На письме Тамары Петровны, в котором она просила привезти сына, ответил коротко: «Пусть подрастет и решит сам, с кем ему жить».

Тамара Петровна, не выдержав, подала в суд. На суде Валерий сказал, что хочет жить с отцом.

Шли годы. Валерия иногда тянуло к матери, он ездил к ней в гости. Верил, что отец и мать снова будут жить вместе. Но они так и продолжали жить врозь. Никто не репался первым найти путь к сближению. Артемий Федорович отличался безволием и пассивностью, а Тамара Петровна на работе совсем забывала о личных делах. А главное — оба они были слишком горды для того, чтобы простить друг другу все, что следовало простить.

Артемий Федорович жил тихо, ботал безукоризненно. Он был доволен своим местом в больнице. Его и теперь не покидала давняя страсть к изучению сложных медицинских проблем. Потихоньку он писал книгу о лечении болезней сердца, хотя и не верил в то, что ее когда-нибудь

издадут. Теперь, когда ему стукнуло пятьдесят, он уже не рассчитывал стать светилом в медицинском мире. Писал просто так, для себя. Целью его жизни стал Валерий. Еще в те дни, когда Валерий появился на свет, Артемий Федорович уверовал в счастливую звезду своего сына. А позже, когда в «Пионерской правде» было напечатано стихотворение восьмилетнего Валерия, он не спал всю ночь, перечитывал детские наивные строчки и мучительно радовался за сына.

Да, теперь главное в том, чтобы Валерий почувствовал свое предназначение и за суетой дней смог бы увидеть впереди славу поэта. А он, Артемий Федорович, сумеет внушить ему твердую веру в свой талант.

В тот самый год, когда Валерий заканчивал среднюю школу, эти заботы Артемия Федоровича сделались для него жизненным правилом. Он чуть ли не с фанатической настойчивостью твердил о том, что у сына есть несомненный поэтический дар.

Июньским вечером Артемий Федорович сидел за столом. Ярко горела настольная лампа под зеленым абажуром. В освещенное окно настырно и надоедливо бились бабочки. Перед Артемием Федоровичем лежала папка с его рукописью. Писалось с трудом. Думы о Валерии отвлекали его.

Артемий Федорович встал, прошелся по комнате. Мельком взглянул в зеркало. Утомленными глазами, спрятавшимися под седыми мохнатыми бровями, смотрел на него высокий неуклюжий человек в широких неглаженных брюках.

Он провел пухлой ладонью по большой, коротко стриженной голове. Седые волосы были жесткие, колючие. На крупном покато лбу теснились морщины. Артемий Федорович пытался разогнать их рукой, но они не исчезали. Что сказала бы сейчас Тамара, увидев его? Интересно, какой стала она? Неужели все такая же быстрая, не знающая усталости и разочарований?

Он снова подошел к столу, вынул из папки исписанные листы, хотел перечитать их. Нет, пусть отлежится. Лучше взяться за Цвейга.

В коридоре стукнула дверь, послышались шаги. Артемий Федорович отложил книгу и поспешно спрятал рукопись в ящик стола.

Вошел Валерий. Краснощекое лицо его сияло. Ему,

видимо, не терпелось сообщить отцу что-то очень значительное и радостное.

— А я тут в тиши читаю, — словно оправдываясь, сказал отец. — Послушаешь? Это очень интересно.

Валерий присел на краешек стула. Отец начал читать.

— Папа, — остановил Валерий. — Все это мне уже знакомо.

— Нет, ты только вдумайся, Валерий, как это звучит: «Если в искусстве явится гений, он остается жить в веках».

— Кажется, он явился, папка! — полусмешливо и возбужденно воскликнул Валерий, порывисто вскочил со стула и выхватил из кармана газету. — Читай!

У Артемия Федоровича задрожали пальцы.

— Что это? — глухо спросил он.

— На третьей странице, папа! Стихи.

— Твои! — убежденно сказал отец.

— Ну конечно, — засмеялся Валерий. — Вот: «Валерий Крапивин. Из лирического цикла». Ну, как? Я оправдываю твои ожидания? Но я не вижу радости на твоем лице. Ты испуган?

— Сынок, — растроганно пробормотал Артемий Федорович, опускаясь на диван, — медицина знает случаи смерти от неожиданной радости. Это же центральная газета. Она пришла еще днем. Как же я до сих пор не знал об этом? Старый осел!

— Не удивительно, — улыбнулся Валерий. — На первых порах гений всегда незаметен. Хотя многие мои однокашники в курсе событий. Саша искренне рад за меня, девушки смотрят влюбленными глазами, а Яшка Денисенко сдыхает от зависти.

Валерий подсел к отцу, принял головой к его плечу.

— Как это хорошо, замечательно, — никак не мог прийти в себя Артемий Федорович. — Значит, я не даром прожил свою жизнь. Ты будешь знаменитым поэтом.

Он торопливо придвинул к себе лампу. Выступившие слезы мешали ему читать. Читал он медленно, взвешивая и наслаждаясь каждой строчкой. Дочитав, обнял сына, мокрой колючей щекой прижался к его лицу.

— Ну, что же ты, папа, — сказал Валерий, незаметно вытирая щеку. — Радоваться надо.

— Я рад, безмерно рад, — повторял Артемий Федорович. — Я ведь так верил в тебя.



Он, не отрываясь, смотрел на сына, смотрел с тем чувством любви и радости, которое долго копилось в его душе и вдруг вырвалось наружу.

— Тебе не мешало бы выгладить брюки, — заметил Валерий. — Хочешь, я это сделаю?

— Нет, нет, — запротестовал отец, — это не для тебя. Ты должен писать, мой мальчик.

— Как хочешь, — вздернул плечами Валерий. — Я же тебе хотел сделать лучше. Значит, стихи нравятся?

— Ты еще спрашиваешь! Завтра же я прочитаю их своим коллегам. Сегодня у меня будет бессонная ночь.

— Я побегу к ребятам, — заторопился Валерий.

Артемий Федорович не без торжественности поцеловал Валерия в лоб.

Валерий стремительно чмокнул отца в небритую щеку и помчался на улицу. Просунув голову в открытое окно, крикнул:

— Если задержусь, не объявляй розыск. Вернусь поздно!

— Хорошо, хорошо, я буду ждать. Ты взял газету? У тебя больше нет такой же?

— Нет, но Саша обещал мне купить целый десяток! — раздалось в ответ.

Артемий Федорович остался один. Ему хотелось, чтобы сын побыл с ним подольше, но задерживать его не посмел. Хотелось перечитать стихи Валерия, но газеты не было. Взглянул на свои помятые брюки. Ладно, сейчас не до них.

Конечно, не до них. Ведь то, о чем он мечтал, начинает сбываться. И если он сам в свое время не смог добиться осуществления своих мечтаний, так у него есть сын, которым он везде и всегда будет гордиться.

А Валерий тем временем спешил к Жене. Пахло цветущими липами. Гуляли веселые пары. На площади из репродуктора гремел боевой марш. Потом музыка смолкла и прозвучал голос диктора:

— Передаем сообщение ТАСС.

Вначале Валерий, занятый своими думами, не обратил внимания на передаваемое сообщение, но последние слова заставили его прислушаться:

— По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и

предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы.

— Вот так, товарищ Денисенко, — торжествующе сказал вслух Валерий. — А вы говорите — война.

Настроение Валерия стало еще лучше, и он прибавил шаг.

Близ вокзала то и дело, словно хвастаясь друг перед другом, перекликались гудки паровозов. Валерий любил слушать эту перекличку. Гудки звали в неведомый, таинственный мир, на сердце становилось беспокойно и немного тревожно. Думалось: пора, пора... Довольно сидеть на месте в этом тихом и скучном городке. Надо спешить. В будущее. Спешить, чтобы не пропустить свой звездный час.

Вспомнилось, как после школьного вечера провожал Женю домой. Она была то вызывающе веселой, то угрюмой и злой, долго просила прочитать ей стихи. Он выполнил ее просьбу и чуть не вскрикнул от радости, когда она тихо и очень серьезно сказала:

— А ведь ты поэт...

В последнее время Женья все чаще стала встречаться с Валерием.

Женья бежала ему навстречу прямо по мостовой. Когда она спешила, тротуар был ей тесен. Бежала легко, проворно и весело, словно летела в тихом лунном свете.

— Наконец-то! — воскликнула она. — У тебя радость?

Она всегда удивительно точно определяла, какое у него настроение.

— Ты читала сегодняшние газеты?

— Конечно.

— И ты ничего не заметила?

— Нет. Что-нибудь случилось?

— Да. Случилось, — уже сухо сказал Валерий. — Случилось то, чего я никак не мог ожидать от тебя. В свое время Горький ушел от женщины, которая уснула в то время, когда он читал ей свой рассказ.

— Напечатали!

Звонкий голосок Жени прозвучал изумленно, но Валерий ускорил шаг. Он сделал это сознательно: пусть она почувствует угрызения совести. Сейчас он уйдет от нее...

Но Женья не сдавалась. Она остановила его, взяла газету.

— Ой, Валька, мы же ее не выписываем, — сказала она, прочитав название газеты. — А то бы я сама уже к тебе прибежала. Правда!

Женя быстро развернула газету и сразу же нашла его стихи.

— Целых три! Не верится!

Валерий смягчился.

— Читай, я буду слушать, — попросила она.

— Я хочу, чтобы прочитала ты. Когда я писал их, то думал о тебе. Значит, ты писала вместе со мной.

— Правда?

— Пойдем к фонарю.

— Нет, при луне. Смотри, как она светит!

Она начала читать. Стихи звучали нежно, требовательно, мужественно. Валерий слушал и любовался ею.

Шло время, тускнела луна, ярче разгорались звезды.

— А ты знаешь, что тебя любит Саша? — неожиданно спросил Валерий.

Женя испуганно посмотрела на него. В глазах стремительно погасли смешинки.

— И Андрей Обухов, — продолжал Валерий.

Женя вся сжалась, будто ожидая удара.

— И я, — сказал Валерий.

Женя молчала.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ночью майора Обухова разбудил телефонный звонок. Как всегда, к телефону подошла тетя Лиза, его дальняя родственница. Она готова была дать отпор всем, кто посмеет потревожить покой майора. Но на все ее доводы и недвусмысленное ворчание чей-то настойчивый голос повторил, что Обухова ждут в штабе отряда и что дело не терпит промедления. Тетя Лиза снова сказала, что Обухов только что приехал с заставы, но трубка ответила презрительным молчанием: человек на другом конце провода уже не слушал. Тете Лизе не пришлось будить Обухова: услышав телефонный разговор, он успел уже одеться, вышел во двор, вывел из гаража мотоцикл.

Через несколько минут мотоцикл мчался по сонным безлюдным улицам.

В штабе Обухова ждал Крылов, недавно вернувшийся из госпиталя. Он сидел за столом и устало перебирал бумаги. Усадив Обухова, он снял круглые очки, болезненными глазами настороженно посмотрел на него. Долго молчал.

— Плохо дело, Обухов, — наконец невесело сказал Крылов, обеими руками взявшись за старую портупею.

— Что именно? — нетерпеливо спросил Обухов.

Крылов взял со стола и протянул Обухову какой-то документ, отпечатанный на машинке. Взглянув на первый лист, Обухов сразу же узнал свою докладную записку, написанную и отправленную им в округ в то время, когда Крылов находился на излечении. В этой докладной Обухов анализировал все факты и данные, полученные отрядом путем войскового наблюдения и добытые на допросах задержанных нарушителей границы и перебежчиков. Фактов было более чем достаточно. Все они сходились в одной точке: Германия готовится к войне против СССР. Идет усиленная переброска войск и боевой техники к границе. Высшими чинами германской армии была не так давно проведена рекогносцировка в пограничной с СССР полосе. Участились провокации немцев. Гитлеровские самолеты беспрерывно нарушали границу и углублялись в наш тыл на несколько десятков километров.

И вот теперь эта докладная снова в руках Обухова. Судя по штампам и отметкам, она побывала уже в округе и даже в Москве. Наискосок листа крупным почерком было написано:

«На версту несет паникерством и трусостью».

Подпись разобрать было почти невозможно.

Обухов резко встал со стула, нервно одернул гимнастерку.

— Что это? Отставка? — дрогнувшим голосом спросил он.

Да, — холодно и отчужденно произнес Крылов, не глядя на Обухова. — Если не хуже. Я тебя предупреждал.

И тон его, и болезненный вид, и холодные чужие глаза как бы говорили Обухову: «Не надо умничать. Теперь, чего доброго, и меня задеть могут».

— Буду еще писать. Докажу, — упрямо и зло сказал Обухов.

— Что ты! — испугался Крылов. — И, надев очки, бла-

гоговейно посмотрел на резолюцию: — Ты знаешь, кто это написал?

Хорошо. Я коммунист. Поеду в обком партии. К Осмоловскому.

Крылов ухватился за эту идею. В душе он был убежден, что в данном случае Осмоловский бессилен, но ему не терпелось поскорее закончить неприятный разговор. Если уж Обухову так хочется окончательно сломать себе шею, пусть ломает.

Еще не наступил рассвет, когда Обухов выехал на широкое асфальтированное шоссе. Встречные машины попадались редко. Под равномерное гудение мотоцикла Обухов думал о том, что ждет его впереди, еще и еще раз пытался убедиться, прав он или нет. Никуда не денешься, факты — упрямая вещь, но ведь и их можно истолковать по-разному. Да и что стоят его факты после сообщения ТАСС от 14 июня! Ему, Обухову, конечно, трудно лишь на основе событий, происходящих на участке одного отряда, делать обобщенные выводы. Но сколько фактов, которые говорят сами за себя! Вот один из задержанных совсем недавно диверсантов — Лозняк. Германский разведчик. Белоэмигрант. Служил в английской, французской, польской армиях, затем надел гитлеровскую военную форму. После тщательной подготовки получил задачу: осесть в одном из советских городов, установить связь с агентами германской разведки, имеющими действующие радиостанции, и передавать в Германию разведывательную информацию. С началом войны приступить к диверсиям. С началом войны... Именно так и сказал Лозняк. А Курт Рейнгольд? Тот самый немец-перебежчик? Он сказал: «Германия нападет на Советский Союз двадцать второго июня». Курт сказал, что по профессии он портовый рабочий. Долгое время жил в Гамбурге и дважды встречался с Эрнстом Тельманом. Курт произвел на Обухова впечатление человека, которому можно верить. За все время допроса Обухов не уловил в его тоне ни одной заискивающей нотки. И все же Обухова не покидали сомнения. Слушая Рейнгольда, он нет-нет да и подумывал о том, что иностранная разведка для таких ролей испокон веков подбирала искуснейших актеров. Но в то же время Обухов чувствовал, что перебежчик говорит правду.

Я знал, на что шел, — сказал он на допросе. — Вы можете мне не верить. Но я — член Коммунистической

партии Германии. И я прошу вас об одном: записать сведения чрезвычайной государственной важности. В ближайшие дни Гитлер нападет на страну социализма.

Что это? Правда или шантаж? Искреннее желание помочь или провокация? И можно ли в таких делах полагаться только на слова? Поверить ему еще сильнее только потому, что он неожиданно попросил Обухова подарить ему красную звездочку с фуражки и сказал: «Я сберегу ее для своего сына Эрнста. Мы дали сыну имя в честь нашего Тельмана».

Обухов поверил Курту Рейнгольду. Но если это была игра? В чем же тогда правота его, Обухова? Может, он вовсе и не прав? А прав тот человек, который, прочитав его докладную, не задумываясь, начертил на ней слова: трус и паникер? Для Обухова этот человек, обладающий громадной властью, дававшей ему право или вознести любого человека на вершину почета и славы или низвергнуть его в пропасть позора, был непогрешимым. И он должен верить ему.

Обухов очень хорошо понимал, что его ждет. Исключат из партии, снимут с должности, оторвут от любимого дела, от границы, которой отдал всю свою молодость.

Из партии? Нет, что угодно, только не это.

Обухов очнулся от дум лишь тогда, когда увидел, что шоссе впереди закрыто: ремонт. Предстоял объезд по проселочной дороге, еще не успевшей просохнуть после ливня. Мотоцикл бойко понесся по ней, подпрыгивая на кочках. Сразу же за крутым поворотом он попал в мокрую колдобину. Обухов не успел вовремя затормозить, а когда затормозил, мотоцикл, все еще не потеряв скорость, юзом пошел по жидкой грязи, влетел передним колесом на скрытый в луже камень и опрокинулся. Обухова резко отбросило назад, и он очутился в кювете. Еле поднялся на ноги. Долго возился с мотоциклом, пока, наконец, не завел его. Превозмогая боль в ноге, он поехал дальше.

На душе было тяжело, словно он совершил какой-то дурной поступок. Почему-то после этой аварии он потерял былую уверенность. А если ошибся? И станет ли на его сторону Осмоловский? Нет, все же он, Обухов, убежден в своей правоте. Но как убедить других?

В обком он поспел к началу рабочего дня. В приемной ему сказали, что Осмоловский проводит совещание.

— И долго оно продлится?

Худая, с болезненным лицом секретарша взглянула на него так, словно не могла и представить себе, что взрослый человек, да еще командир, может задавать такой странный вопрос.

Обухов сел в глубокое старомодное кресло. Он нервничал, все время поднимал голову к круглому циферблату старинных часов и, улучив момент, когда секретарша заговорила с кем-то по телефону, тихо и незаметно покинул кабинет.

«А, сейчас не до меня, — думал он, все больше и злее ругая себя за то, что вздумал сюда приехать. — Да и кто ты такой, чтобы здесь, где и без того руки не достают до всех дел, куда более важных, сложных и значительных, начали заниматься твоей судьбой. Пусть снимают с должности, пусть делают, что хотят. Пойду рядовым бойцом и докажу, что никогда в жизни не был трусом и паникером».

На вокзале Обухов узнал, что поезд уже ушел, следующий отходил утром. Мотоцикл нуждался в ремонте. Можно было бы добраться домой на попутной машине, но после аварии Обухов чувствовал себя совсем плохо. Он устроился на ночевку в гостиницу. Долго не мог уснуть. Острая тоска не утихала. Впечатлительный и нервный, хотя внешне всегда спокойный, умеющий сдерживать себя, он представлял во всех деталях и подробностях свою отставку, и сердце сжималось от боли.

Обухов посмотрел на часы. Стрелки перевалили за полночь. Ветерок с улицы, залетающий через открытое окно гостиничного номера, становился все свежее. Обухов подумал, что сейчас по дозорной тропе идут последние наряды. Идет, наверное, Андрей. Скоро займется заря. Скорее бы! Только не томиться, только узнать, что ждет впереди.

Стараясь не потревожить сон соседа, Обухов оделся, открыл застекленную дверь, ведущую на балкон, подошел к перилам. Город спал. Редкие фонари мягко светили в предрассветной темноте. Пахло цветами. На площади перед гостиницей неторопливо прохаживался милиционер.

Обухов вынул из кармана пачку папирос, купленных накануне. Помял пальцами папиросу, но так и не закурил. Не хотелось нарушать обещания, данного самому себе много лет назад. Обухов считал, что человек не вправе играть обещаниями. Воля должна быть сильнее любых искушений. Помнится, Галя перед смертью просила его только об одном: вырастить Андрея. Больше она не взяла с него ни-

каких обязательств. А Андриушка, когда пошел в первый класс, как-то спросил: «Папка, а к нам придет новая мама?» — «А ты хочешь, чтобы она пришла?» — поинтересовался Обухов. «Нет, — сказал сын, — я хочу, чтобы нас было двое — ты и я». И Обухов дал себе обещание не жениться, пока не вырастет сын. Многие годы помнил он Галю и среди знакомых женщин не находил ни одной, похожей на нее.

«А все же нужно немного вздремнуть», — подумал Обухов и собрался уйти с балкона. Но странный ноющий звук, возникший высоко в небе, заставил его остановиться. Обухов прислушался. Грозный и чужой, этот звук то лавиной обрушивался на землю, то начисто исчезал, будто испугавшись чего-то неведомого и опасного.

«Ночные полеты, что ли?» — предположил Обухов.

Звуки все нарастали. Они стремительно низвергались на город и, казалось, вот-вот поглотят его совсем. Вскоре они слились в один мощный рев. Ранящее чувство тревоги ворвалось в душу Обухова. Ему почудилось, что вздрогнули дома, пригнулись деревья, в испуге притаились улицы.

Обухов всмотрелся в небо. Самолетов не было видно, но чувствовалось, что они уже висят над городом, где-то возле самых звезд, и через мгновение ринутся вниз. Обухов с досадой подумал, что, сидя в гостинице, он не имеет возможности узнать, что это за самолеты. В отряде он знал бы об этом раньше других.

«Учения? — мелькнуло в голове у Обухова. — А может быть, что-то более серьезное?»

Он не успел ответить себе на этот вопрос. Взрыв огромной силы ахнул где-то в районе вокзала, за ним второй, ближе к центру, третий, четвертый. Можно было подумать, что город, не успевший проснуться, рушится, раскалывается на части. Совсем рядом послышался истерический крик женщины, залился плачем ребенок.

Что случилось? — взметнулся с койки сосед Обухова.

— Кажется, война! — крикнул Обухов и, прихватив снаряжение, выбежал из комнаты.

Светало. Привокзальная часть города горела. Взрывы не умолкали.

«А как же с расписанием поездов?» — мелькнула мысль, но он тут же понял бессмысленность вопроса.



Обухов прибежал в обком партии. В кабинете Осмоловского было шумно, на все лады трещали телефонные звонки. Обухову пришлось ждать.

— Здравствуй, — неожиданно вышел из кабинета Осмоловский. Он произнес это приветствие необыкновенно просто, будто давно знал, что Обухов стоит в приемной, и уже не один раз виделся с ним. — Ты как раз мне нужен. Немцы напали. Правительство отдало приказ дать фашистам отпор. Едем со мной. На оборонительный рубеж. Весь гарнизон уже выступил. Заставы ведут бой.

«Андрей...» — стрельнуло в голове Обухова.

В первый момент ему хотелось сказать Осмоловскому что-то о себе, о своей обиде, о чем-то еще не решенном и не совсем ясном. Но его взгляд тут же встретился со взглядом Осмоловского, и Обухов, увидев ясное и чистое выражение его прищуренных глаз, сдержал себя.

«Что же это я? — спросил себя Обухов, выдерживая этот испытующий взгляд. — Кажется, я подумал о себе. Как же я мог думать сейчас только о себе? И что будет, если сейчас и я, и Осмоловский, и все мы будем озабочены своей личной судьбой? Кто же позаботится, подумает о всех, о главном, ради чего мы живем?»

Осмоловский будто прочел эти мысли в глазах Обухова.

— Вот что, — сказал он. — Я все знаю. В таких, как ты, партия не сомневается.

— Спасибо, Антон Тихонович, — коротко сказал Обухов. — Приказывайте.

— Машина ждет, — сказал Осмоловский. — Идем.

— Подбросите меня на границу?

— Туда уже не прорваться.

— Что? Вы шутите!

— Сейчас не до шуток, — сердито и быстро заговорил Осмоловский. — Этого следовало ожидать. Единственное, чего мы не знали, — в какую минуту на нас нападут. Время, когда войны объявлялись заранее, со всевозможными реверансами, канули в вечность.

— А как же я? Выходит, границу покинул. В такое время.

— Ты не виноват. И нужен здесь. Хочу рекомендовать тебя комиссаром полка.

А если не потяну?

Такие вопросы сейчас не задают.

К Осмоловскому то и дело подбегали работники обкома. Он быстро отвечал на вопросы, давал указания, приказывал.

Они сели в машину и через минуту неслись по городу. Из разрушенных домов слышались стоны раненых. Ветер разносил тяжелый запах гари, смешанной с пылью. Люди бежали по улицам, грузили вещи в машины, повозки и тележки, копались в дымящихся развалинах.

— Вот и война, — будто сам себе сказал Осмоловский. — Вспомнишь гражданскую.

— Меня в пехоту? — спросил Обухов.

— А что?

— Прирос я к пограничникам.

— Раздавим врага — снова пойдешь на границу, — невозмутимо сказал Осмоловский.

«Как там сейчас наши? — терзала Обухова неотступная мысль. — Как Андрей? Заставам достанется больше всех. Выдержат? Вот тебе и соловьи...»

И как бы в ответ на его думы совсем близко раздался злой грохот орудийной пальбы.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Во второй половине ночи Парамонов выехал на проверку нарядов. Это было непреложной обязанностью каждого командира и политработника, прибывающего из отряда или комендатуры на пограничную заставу.

Парамонов не любил ездить верхом. И без того высокий, на коне он чувствовал себя неловко, то и дело цеплялся головой за ветки деревьев. Кроме того, он был глубоко убежден, что проверка нарядов верхом на коне малоэффективна. Но в прошлую ночь он оступился на дозорной тропе, нога опухла и нестерпимо болела. Отказаться от проверки нарядов Парамонов и думать не смел. Пришлось приказать оседлать лошадей.

Весь день прошел в заботах. Много времени отнял допрос еще одного перебежчика, которого вскоре отправили в отряд. Приехавший из города политрук Жуков подтвердил слухи об отстранении Обухова от занимаемой должности. Эта весть огорчила Парамонова. Жуков сказал также, что Обухов уехал в обком, и Парамонов старался предугадать, чем кончится эта неприятная история. Он готов был вступить за майора и поддержать его. Он не

терпел несправедливости, от кого бы она ни исходила, верил в Обухова, хорошо знал, что его любят бойцы. Для Парамонова это было главным мерилом командирских качеств.

Обо всем этом Парамонов думал только на заставе. Когда же его конь привычно свернул с дороги на дозорную тропу правого фланга, думы эти оборвались. Так бывало с Парамоновым всегда. Граница не разрешала думать ему ни о чем больше, кроме как о ней самой. За каждым стволом дерева, в сырой темноте черневших кустов, в густой высокой траве мог скрываться нарушитель.

Ночь выдалась темная, тихая. Тучи бережно скрывали звезды, не желая показывать их земле. Было удивительно, что хмурое небо не может уронить ни одной капли дождя.

Парамонов въехал в густые заросли. Сзади него на некотором расстоянии следовал боец. Конь у бойца был капризный, и Парамонов с раздражением слушал, как тот сердито встряхивает гривой. Конь попал на заставу недавно, не привык к пограничным тропам и все норовил перейти с шага на рысь. Когда боец натягивал повод, стараясь утихомирить его, он горячился и зло грыз удила.

Время от времени Парамонов останавливался, пригибался к лошадиной гриве, слушал ночные звуки, потом трогал коня, и тот послушно двигался по невидимой тропе. Неподалеку от ручья послышался легкий треск сухой ветки. Парамонов подал сигнал напарнику, они бесшумно спешились, сошли с тропы и укрылись за деревьями.

Через несколько минут недалеко от них возник темный силуэт. Человек тут же исчез в густой чаще. Вслед за ним появился второй.

Парамонов терпеливо ждал. Это, конечно, наряд. Заметят ли они его, Парамонова? Ведь если бы на его месте сейчас был нарушитель, он с дрожью в сердце ожидал бы развязки. Оплошность наряда была бы его спасением.

Прошло еще немного времени, и Парамонов понял, что кольцо вокруг них сомкнулось. К укрытию, где стояли кони, кто-то приближался. Послышался тихий, но требовательный окрик:

— Пропуск!

Парамонов ответил. И тут же из-за куста вышел пограничник. Приблизившись к Парамонову, он доложил о результатах службы.

— Что нового? — спросил Парамонов.

— На дороге за рощей — шум повозок.

— Продолжайте нести службу. О всех наблюдениях докладывайте на заставу.

Чем ближе подъезжал Парамонов к стыку правого фланга, тем яснее становилось ему, что наряды несут службу бдительно. Казалось, весь участок заставы живет сейчас тревожным ожиданием большой опасности.

Шло время. Ночная темнота начала редеть, рассеиваться. Парамонов взглянул на часы со светящимся циферблатом. Стрелки приближались к трем. Оставалось проверить еще один наряд. И тут Парамонова опередили. Знакомый голос приказал остановиться. Появившийся из-за дерева пограничник приблизился к всадникам.

— Старший наряда Обухов, — закончил он свой доклад.

Парамонов был давно знаком с Андреем. Он любил поговорить с ним о прочитанных книгах, спортивных новостях, о том, что творится в мире, и радовался тому, что у них единый взгляд на жизнь.

Парамонов посвящал Андрея в премудрости пограничной службы. Рассказы Парамонова о границе всегда были овеяны дымкой романтики, таинственности.

Сейчас, выслушав рапорт Андрея, Парамонов не мог сдерживать улыбку.

— Что на сопредельной?

— В районе Лесного ручья — гул моторов. Танки.

— На обратном пути будьте особенно внимательны, товарищ Обухов. Иной раз думают — проверка прошла, можно отдохнуть.

— Есть, быть особенно внимательным, — четко сказал Андрей и, не удержавшись, тихо добавил: — А службу мы несем не ради проверки, товарищ старший лейтенант.

— То-то, — улыбнулся Парамонов.

Андрей был рад встрече с Парамоновым и тому, что вовремя обнаружил его появление на дозорной тропе. Сейчас он, его учитель, может убедиться, что ученик не сплеховал.

Проверив наряды, Парамонов соединился по телефону с заставой. Начальник заставы старший лейтенант Малахов ответил, что возвратился с левого фланга и службой доволен. Собирается немного вздремнуть.

Чуть светало. Кончалась еще одна пограничная ночь.

Зашелестели озябшие деревья. Прохладный ветерок пронырливо лез в теплые ночные тайники. Пробовали свои голоса проснувшиеся птицы.

Парамонов свернул на лесную просеку, которая вела к заставе.

Но едва он отъехал несколько метров, как на сопредельной стороне одна за другой взвились в посветлевшее небо красные ракеты. Парамонов взглянул на часы. Было четыре часа тридцать минут.

Ракеты еще не погасли, как на нашей стороне раздался взрыв. Предрассветный лес мгновенно очнулся, сбросил с себя дремоту и загредел сердитым раскатистым эхом.

— Наверное, на полигоне, — равнодушно пробурчал сопровождавший Парамонова пограничник.

— Нет, в стороне заставы, — возразил Парамонов. — Артиллеристы не предупреждали.

Два новых взрыва взбудоражили лесное спокойствие. Тяжело и надрывно застучал крупнокалиберный пулемет. Ему начали вторить хлесткие переливы автоматных очередей.

Быстро рассветало. Небо прояснялось поспешно и испуганно.

Парамонов круто повернул коня и поскакал к розетке. Включился в сеть. Застава не отвечала.

А через секунду в той стороне, где была застава, вспыхнула ракета. Парамонов хорошо знал этот сигнал: Малахов стягивал все наряды с границы.

— Вперед! — крикнул он.

И тут совсем рядом залаял пулемет. Конь, на котором ехал напарник Парамонова, взметнулся на дыбы и отпрянул в сторону.

— Слезай! — скомандовал Парамонов.

Спешившись, он привязал коня и вдруг сразу же за вспаханной служебной полосой увидел бегущих к границе солдат в серо-зеленых мундирах. Они как раз появились на просеке. За ними из кустов выскакивали туда же все новые и новые солдаты. Было похоже, что весь кустарник забит ими. Бежавшие впереди строчили из автоматов.

Пограничник не успел соскочить с коня. Парамонов увидел, как он ничком свалился с седла в траву, а конь его понесся между деревьев.

Парамонов подбежал к упавшему пограничнику. Тот

был мертв. Парамонов снял с него карабин, вынул из подсумка патроны. Поспешно укрылся за сваленным деревом, прицелился. Первым же выстрелом сбил низкорослого грузного фашиста. Остальные на миг остановились, но тут же, пригибаясь, прячась за деревья, продолжали продвигаться вперед.

— Товарищ старший лейтенант! — услышал Парамонов голос Андрея. — Аникина убили! Товарищ старший лейтенант! Иван Сергеевич!

Аникин был у Андрея младшим наряда.

Парамонов продолжал стрелять.

«Первые жертвы», — прошептал он.

— Диверсионная банда? — запыхавшись, спросил Андрей.

— Ложись! — жестко приказал Парамонов. — Огонь по фашистам!

Парамонов и Андрей стреляли почти разом, и трудно было понять, от чьего выстрела падали на землю немецкие солдаты. Иной раз Андрей сомневался: может, солдаты просто прячутся за кусты? И почему они продвигаются так медленно, то и дело залегают? Неужели огонь двух человек настолько силен, что останавливает их? Андрея захватила и подчинила себе эта неожиданная схватка. Он был убежден, что от того, насколько метко он будет вести огонь, зависит ее исход. Охваченный жаждой борьбы, стремлением каждую пулю послать в цель, Андрей не видел и не слышал, что слева от него соседний наряд ведет огонь по гитлеровцам из ручного пулемета.

Андрей почему-то верил, что этот бой ненадолго, что он закончится так же внезапно, как и начался. Думалось: упадет на мокрую холодную траву вот тот, последний немец, что бежит позади всех и чаще всех прячется за широкие стволы деревьев, замолкнет визг пуль, трескотня пулеметов, и все...

«И как они смеют, — шептал Андрей, все больше загораясь ненавистью. — Как они смеют!»

Неожиданно в вышине, над деревьями, послышался странный, непривычный звук. Казалось, кто-то рвет ключья сухой, плотный воздух. Комья земли, ветки кустарника взметнулись в небо. Нервная дрожь змеей скользнула по молодым жидковатым березкам. Откуда-то сверху, словно подхваченные вихрем, посыпались листья. От страха заплесал конь.

— Гады, мины швыряют, — сказал Парамонов. — Нужно менять позицию.

Он привстал и посмотрел в ту сторону, где должен был находиться Андрей. Долго не мог разыскать его глазами и вдруг увидел. Андрей лежал на спине, словно решил отдохнуть от беспрерывной стрельбы и грохота. Парамонов подскочил к нему.

— Я... не пойму, что со мной... Иван Сергеевич, — с усилием разжимая непослушные губы, произнес Андрей. — Только я... не могу встать. Как же вы теперь... один?

«Как же ты не уберег его? — зло спросил себя Парамонов. — Совсем забыл о нем. Двух уже не уберег, двух! А как уберечь, как?»

Он поднял Андрея и понес к дереву. С трудом успокоил испуганного коня, положил Андрея через седло, сел сам. Старался не смотреть на раненого. Стоило ему взглянуть в лицо Андрея, как тотчас же в памяти вставало такое же молоденькое лицо пограничника, погибшего в первые же минуты войны. Самым страшным и непоправимым было то, что лица этих ребят были совсем молодыми, свежими, как раннее утро, а глаза их еще не успели вволю насмотреться на мир.

Парамонов торопил коня. Непрекращающийся треск мин силится нагнать их. Чем меньшее расстояние оставалось до заставы, тем отчетливее слышалась перестрелка. Парамонов знал, что застава ведет бой и что везти туда Андрея — еще не значит спасти его. Но другого выхода не видел. Он не допускал и мысли о том, чтобы в такой момент покинуть заставу.

Вдруг конь как-то неловко споткнулся и рухнул на землю. Вместе с ним в колючий кустарник упал Парамонов. На него со стоном свалился Андрей. Конь несколько раз дернулся и замер. Шальная пуля? Осколок? Разбираться было некогда.

Парамонов взвалил Андрея на спину. Идти было трудно. Ногу обжигала боль. Чем дальше, тем все тяжелее. Парамонов продирался сквозь заросли, нагибаясь как можно ниже, чтобы ветки не цеплялись за раненого. Задышался от усталости, но продолжал идти упрямо и быстро. Время от времени слышал жаркий шепот Андрея:

— Иван Сергеевич... Товарищ старший лейтенант... Идите один. Идите...

— Молчи, Андрюша, — отвечал Парамонов. — Молчи.

Когда, наконец, лес расступился перед ними и впереди на просторной поляне появились строения заставы, Парамонов облегченно вытер ладонью лицо.

Заставу трудно было узнать. В здание, где размещался личный состав, угодил снаряд. Кирпичная стена была изуродована. Внутренняя часть жилой комнаты странно оголилась. На койках — кирпичи, простыни покрылись слоем облетевшей штукатурки. Возле крыльца лежала искореженная кинопередвижка, и Парамонов вспомнил, что вчера вечером перед выездом на участок он смотрел кинофильм.

Попав во двор заставы, Парамонов не удивился тому, что она была пуста. Со стороны оборонительного пункта не умолкала стрельба. За поворотом здания он вдруг увидел политотдельскую «эмку».

Парамонов поднес Андрея к машине, торопливо открыл дверцу. Там лежали два раненых бойца.

— Хорошо, что успели, — хрипло сказал вылезший из-под машины маленький и юркий шофер Шестаков. — Если б не скат, я бы уже уехал. Наши все в окопах. Только что два «юнкерса» улетели.

Он помог Парамонову уложить Андрея в машину.

— Ну вот, — облегченно вздохнув, сказал Парамонов Шестакову. — Вези, браток. Да побыстрее. Может, проскочишь.

Машина тронулась, оставив позади себя маленькое пыльное облачко.

Парамонов побежал к окопам. Обстрел усилился, и ему пришлось ползти по-пластунски. Вот уже показались впереди знакомые пилотки. Теперь совсем рядом!

Парамонов размашисто прыгнул в окоп.

А в этот самый момент на шоссе горела политотдельская «эмка», подбитая прямым попаданием вражеской мины.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первая бомба! Сброшенная с фашистского самолета на маленький приграничный городок, она круто и беспощадно изменила судьбы людей.

Не дождался выпускного вечера в аэроклубе Яшка Денисенко: пришлось поднимать в воздух самолет. Под раз-



валинами разбомбленного дома погиб Гриша Беленков, отважный парень, любитель приключений. Не успела выйти замуж за веселого молодого танкиста Люся Биденко. Рассталась со своей мечтой поступить в политехнический институт Женя Кольдовская. Сашу и Валерия в первый же день войны поставили в строй.

Они были зачислены в артиллерию. Утром, перед отправкой воинского эшелона, новобранцев выстроил крепко сбитый мужчина в форме лейтенанта, прошелся по при тихшим рядам придиричивым взглядом круглых разноцветных — один серый, другой желтоватый — глаз и сказал:

— Юнцы! Мне приказано сделать из вас артиллеристов. На месяц — в тыл. Никакого нытья, никаких просьб. Моя фамилия — Федоров. Ленинградец. Из рабочих. Коммунист. Все ясно?

— Ясно, — не очень стройно ответили юнцы.

Федоров изо всех сил старался быть суровым, но лицо, помимо его воли, сияло добротой и озорством. Он не выдержал и весело подмигнул. У всех на душе стало легче.

— Мой помощник — старшина Борисовский, — добавил Федоров, кивая массивной головой на низенького широкоплечего старшину. — Подчиняться беспрекословно. В армии приказ — закон, командир — глава. И ни единого писка. Ясно?

— Ясно! — уже увереннее откликнулся строй.

Саше, Валерию и его новым товарищам пришлось войти в военную колею с ходу, без предварительной подготовки, под гул приближающейся канонады.

Долго ехать не пришлось. Ночь прошла спокойно, а на рассвете эшелон бомбили фашистские самолеты. Сколько их налетело, Саша так и не понял: ему было не до счета. Эшелон остановился и замер на путях. Парни, еще не обстрелянные в боях, высыпали из вагонов и разбежались по полюне.

Саша никогда не предполагал, что самым первым чувством, которое возникнет у него в такой обстановке, будет щемящее, безотчетное и обидное чувство страха.

Саша мчался от насыпи к низенькому кустарнику, будто именно там было его спасение. Споткнулся о пенек, упал и, боясь встать, прижался к траве. Единственным желанием в эти мгновения было — во что бы то ни стало остаться в живых.

Время от времени Саша озирался по сторонам, пригибался от пронзительного свиста и гула проносившихся над поляной самолетов. Тоскливо и испуганно косился на следы трассирующих пуль, чертивших воздух огненными стрелами. Он не замечал, слишком занятый собой, что зенитные пулеметчики, сопровождавшие эшелон, вели огонь по истребителям, что комбат Федоров, стоя возле насыпи, упрямо смотрел в небо и звучно отдавал приказания, что Валерий, примостившись возле комбата, стрелял из карабина, норовя угодить в брюхо истребителя. Саша думал, что все, так же как и он, уткнулись в землю.

Самолеты разбойничали недолго. Видимо, они возвращались после задания и боеприпасы были почти полностью израсходованы. Но Саше палет показался чуть ли не вечностью. И лишь когда Федоров дал отбой, он готов был зареветь от стыда, ненавидел себя в эти минуты. Даже после того как Саша убедился, что никто не бросает на него укоризненных взглядов, он все же не мог успокоиться.

«Как же так? — спрашивал себя Саша. — Неужели ты всегда будешь таким? И что, если бы тебя во время налета увидела Женья?»

Но раздумывать было некогда: Федоров уже собирал людей, проверял их по списку. Четверо новобранцев было ранено. Убитых не оказалось. В паровоз угодила бомба.

— До следующей станции двинем в пешем строю, — заявил Федоров. Он помолчал немного, потом добавил бодрее: — Не унывать! Теперь мы крещеные. Так-то, юнцы.

И он повел людей к составу разгружать имущество.

Саша весь отдался работе. Хотя бы этим он старался успокоить свою совесть. Но ему не повезло. При выгрузке станковый пулемет неожиданно скатился с подставок и сильно задел ему правую ногу. Резкая боль заставила Сашу пригнуться к земле, он едва удержался, чтобы не застонать.

Перед тем как двинуться походным порядком, Федоров кратко подвел итоги.

— Юнцы! Держались хорошо. Не все, конечно. — Федоров улыбнулся, и, хотя не назвал фамилий, Саша густо покраснел. — Впрочем, на первый раз простительно. Особая благодарность зенитчикам. И, надо сказать, отменно держался вот этот паренек.

Федоров кивнул головой на Валерия и спросил:

— Как фамилия?

— Крапивин.

Саша увидел, как засияли глаза его друга.

У эшелона Федоров оставил небольшой караул из старослужащих. Старшина уже успел в ближайшей деревушке раздобыть повозку. Он по-хозяйски сидел в ней, нахлестывая рыжую кобылу. В повозку уложили раненых.

Валерий и Саша шли почти в самом хвосте колонны. Саша хромал.

— А здорово мы их отогнали, — бодро сказал Валерий. — Я на них две обоймы истратил. А как ты?

— Знаешь, я растерялся, — отворачиваясь, ответил Саша. — И испугался, что ли. Не могу себе этого простить.

— Не беда, — подбодрил его Валерий. — Привыкнешь. Ты веришь, пока я не видел раненых, я ничуть не боялся. А сейчас как-то не по себе. Но ты же слышал, Федоров говорит, что все это естественно. Каков наш командир! Проницательнейший человек. Все заметит. С таким не пропадешь.

— Да, с ними хорошо.

— Ты хромаешь? Ранен?

— Да нет, — сердито отмахнулся Саша. — Если бы ранен. Ерунда. Сапог жмет.

— Тогда двинули быстрее. Мы можем отстать.

Они ускорили шаг. Саша с ожесточением ступал ушибленной ногой, чувствуя, что еще немного, и идти будет неважно.

— Что там сейчас, в Синегорске? — задумчиво сказал Валерий. — Пожили мы с тобой в нем не так уж много, но юность прошла в нем. И сгинула.

— Когда я думаю о нашем городе, мне вспоминается Женья, — признался Саша.

— И напрасно, — нахмурился Валерий. — Мне кажется, ты ей не очень по душе.

— Да, — глухо отозвался Саша. — Я это знаю. Но все равно...

Они долго шли молча.

— Ей нравятся твои стихи? — вдруг спросил Саша.

— Почему ты вдруг об этом? — встревожился Валерий.

— Как-то она мне сказала: «Меня провожал Валерий. И всю дорогу читал мне свои стихи». После школьного вечера. То был наш последний разговор.

— Да, тогда я ее провожал, — сказал Валерий. — Стихи она любит. Но ты не думай, я тебе поперек дороги не стою.

На привале Саше пришлось снять сапог. Ступня распухла и посинела.

— Попросись на повозку, — посоветовал Валерий. — Ты же не сможешь идти.

— Смогу, — упрямо сказал Саша. — Не вздумай говорить обо мне Федорову.

Привал был короткий. Говорили мало и тихо. Каждый думал: «Что там на фронте? Отогнали немцев? Может, в пути нагонит весть о том, что война закончилась? Как там дома?» Кто-то ожесточенно спорил о типе немецких самолетов, налетевших на эшелон. В повозке стонал раненый.

Саша старался шагать, попевая за всеми. Валерий хотел взять у него карабин, но он отказался.

— Как подумаю, что погибну и не напишу поэму, так страшно делается, — доверительно сказал Валерий. — Этого больше всего боюсь.

Саше не хотелось вступать в разговор, но он все же сказал:

— Погибнем, другие напишут.

Приближался полдень. Над пыльной дорогой, над при тихшими перелесками, над хмурыми уставшими бойцами, что шли разрозненной смешанной колонной, высоко в небе стояло жаркое солнце. Оно жгло спины, накаляло вороненую сталь винтовок, до боли слепило глаза. Гимнастерки покрылись серой въедливой пылью.

Все ощутили облегчение, когда с первыми мутными облачками с запада прилетел едва приметный освежающий ветерок.

Погода резко менялась. Тишину взбудоражил крепкий порыв ветра. По небу, большая часть которого все еще сохраняла спокойствие, зашевелились клубящиеся дымчатые облака. Они словно пустились в погоню за колонной и поровили быстрее нагнать ее. По высоким травам, по спокойным березам метнулись таинственные причудливые тени. Солнце еще светило, но уже чувствовалось, что вслед за быстрыми беспокойными облаками придут тяжелые дождевые тучи.

И верно, вскоре они появились. Небо сделалось неживым, удручающе-хмурым. Тучи наплывали на светлые

просторы неба, густели; их пепельно-дымчатый цвет все темнел, становился иссиня-черным. Вот уже все вокруг померкло. Ожили, закачались, предчувствуя недоброе, кусты, что выстроились вдоль обочин.

Настала минута, когда последний солнечный луч на миг приник к яркой зелени леса и тут же растаял. Лишь далеко впереди, на востоке, оставалась небольшая полоска нетронутого чистого неба.

Ветер подул сильнее. Стало слышнее уханье орудий, раздававшееся позади. Что-то злое, беспощадное было в непрерывном и настойчивом движении грозowych туч. Никто не удивился, когда черную мглу словно пронзило огненной змеей молнии. Угрожающе загрохотал гром.

Первая вспышка будто послужила сигналом. С нервной поспешностью молнии затеяли ослепительную, дерзкую игру. Крупные капли дождя упруго стегнули горячую пыль дороги, звонко ударили по листьям.

Внезапно в колонне послышался возглас, приглушенный яростным треском грома:

— Смотрите!

Саша поднял голову и тотчас же отчетливо увидел, как из голубого пламени вывалился горящий самолет. Вот он отделился от тучи и наискосок ринулся вниз, оставляя позади себя яркий огненный хвост.

— Наш! — крикнул кто-то.

— Немец. Протри глаза.

— Протри сам. Звезда на крыле.

— Мерещится тебе, что ли?

— Наш. «Чайка», — уверенно заявил старшина Борисовский.

Спор прекратился.

Саша оцепенел. Такую картину он видел раньше только в кино. Но сейчас неудержимо падал вниз, на хмурую неласковую землю настоящий самолет, в котором конечно же находился летчик.

Зрелище это поразило Сашу не только своей необычностью, не только тем, что оно было страшным, но прежде всего тем, что он, Саша, был совершенно бессилен оказать летчику хотя бы незначительную помощь. И это ощущение бессилия было особенно мучительным.

— Молния его, — высказал предположение Валерий.

— Да, такая ударит... — согласился высокий худощавый паренек.

— Воздушный бой, — спокойно сказал старшина. — Дерутся там, за тучами.

— Воздушный бой? — недоверчиво переспросил Валерий. — Но это же наш самолет. Вы считаете, что немец его одолел? Я не верю.

— Спрыгнул! — раздался радостный возглас.

Самолет уже скрылся за лесом, а в темном небе появилось белое пятнышко парашюта. Оно отчетливо вырисовывалось на фоне мрачных туч.

— Шагом марш! — пронесся над колонной бас Федорова.

Колонна двинулась.

У Саши горело сердце. От того, что испытал жгучее чувство страха, что не мог помочь летчику, от того, что все дальше и дальше уходил на восток по грязной дороге, под ошалалым дождем.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Женя любила проснуться пораньше, чтобы встретить рассвет. Ей казалось, что нет ничего чище, необходимого, чем эта пора пробуждения и надежд.

Но пришел рассвет, который принес с собой войну.

На второй день, когда возобновилась бомбежка, Женя в ответ на предложение матери спуститься в подвал сказала:

— Ты хочешь, чтобы я оказалась там замурованной, как Аида?

— А что же ты будешь делать?

Женя на мгновение закрыла глаза. Длинные черные ресницы чуть-чуть дрожали, словно на них налетал ветерок. Она приняла решение: сказать или не сказать маме?

— Еду на заставу.

— Ты сумасшедшая!

— Мапочка, — как можно ласковее сказала Женя, — я не просто сумасшедшая, я еще и упрямая.

— Что за нелепые выдумки! — возмутилась мать. — На заставу! Ты что — пограничник? Ты знаешь, что там сейчас творится?

— Поэтому я и поеду.

— Отец сказал, что сегодня они заканчивают погрузку станков. Подумай о нас. Разве там не обойдутся без тебя?

— Без меня обойдутся, а я без них — нет, — упрямо сказала Женя. — Никто меня не удержит. Всех наших ребят вчера отправили эшелонам. А мы, девчонки, должны сидеть?

Женя заторопилась, поспешно схватила одежду.

Решение ехать на заставу родилось еще в тот момент, когда мама произнесла слово «война». Война — значит, ее сверстники бьются с фашистами. Там Андрей.

Мать со слезами на глазах вышла из комнаты.

Женя еще не совсем ясно представляла, каким образом она доберется до заставы. Она не была уверена и в том, сможет ли найти там своих одноклассников.

Мать вернулась со свертками, стала совать их в маленький чемоданчик. Женя оделась, мельком взглянула на себя в зеркало. Не так давно она обрезала свои косички. Но странно: на нее смотрело лицо все той же маленькой девчонки, какой она была раньше. Как досадно, что она совсем не повзрослела!

— Прощу тебя, доченька, останься, — все еще не теряя надежды, убеждала ее мать.

Женя промолчала. Это лучше, чем выдать свое волнение. Сейчас она выбежит за дверь, промчится по переулку. Так было всегда. Так бегала она в школу. Но теперь... Мать останется. Останется! Никогда еще Женя не оставляла маму так надолго, как хотела оставить сейчас. Вот она, мама, стоит посреди комнаты. Вся как-то сжалась, притихла, словно поняла, что заставить Женю отказать от своего — уже не в ее материнских силах.

«Как мы похожи друг на друга, — мысленно сказала себе Женя. — Только мама чуть повыше. И седая полоска в черных курчавых волосах. Памятная прядка. Она появилась, когда из-под Выборга не вернулся Левушка».

Они как-то странно перекинулись взглядами, будто что-то хотели сказать, и вдруг кинулись в объятия друг другу. Женя обняла мать и сразу же почувствовала, как она дрожит. Мама, мамочка! Все бесконечно родное, все: и печальные глаза, и морщинки на лбу, и запах материнского тела. О чем она сейчас думает? О том, что дочь уйдет и, может быть, — ей даже страшно представить себе это, — не вернется совсем.

— Я скоро, мамочка, я совсем скоро, — растроганно повторяла Женя, не зная, что ей сказать еще. — Вот увидишь, я скоро.

Она еще раз крепко поцеловала мать и уже на ходу крикнула:

— Береги себя и папу! И скажи ему, что я сегодня вернусь. Или в крайнем случае — завтра.

Они обе выбежали на улицу: дочь впереди, мать за ней. У поворота переулка Женя обернулась. Мать стояла все на том же месте и, не отрываясь, смотрела вслед: она все еще верила, что Женя вернется. Но Женя махнула рукой и скрылась за углом.

К вокзалу она бежала быстро, лишь изредка переходя на шаг, чтобы передохнуть. Никто не обращал внимания на то, что она так спешила, потому что все вокруг: люди, машины, тележки, — все это тоже спешило.

Женя примчалась к переезду, когда уже начало припекать солнце. Вокзал был почти на окраине города. С запада, казалось, по рельсам докатывался сюда приглушенный неумолчный гул.

«Значит, бой еще не кончился, — обрадованно подумала Женя, — значит, успею».

Женя остановилась неподалеку от плагбаума, нетерпеливо поглядывая в сторону города: не появится ли попутная машина? Пожилая женщина в синей поношенной спцовке переходила через пути. Что-то гудит! Женя встрепелась, выбежала на дорогу. Впереди клубилась пыль. Машина, как назло, шла в город. Это был грузовик, в котором, тесно прижавшись друг к другу, сидели дети — мальчики и девочки дошкольного возраста. Вместе с ними сидела высокая девушка в голубой косынке.

«Детский сад, наверное», — подумала Женя.

Один мальчуган крикнул ей что-то, но что — Женя не поняла.

Другой машине, появившейся вслед за первой, едва удалось проскочить переезд. Третью стрелочница не хотела пускать. Шофер — невысокий круглолицый боец — стремительно распахнул дверцу и зло крикнул:

— Эй, мамзель, чего закрылась? У меня раненые, слышишь?

«Раненые, — вздрогнула Женя. — Раненые! Уже раненые?»

Слово это было непривычным, пугающим. Ей сделалось душно, и вдруг ясно и отчетливо представился Левушка, лежащий на снегу в глухом финском лесу. Мороз крепко стискивает стволы сосен, они издают протяжный



сердитый треск, нервно сдерживая с себя сухую снежную пыль, а красная лужица крови стынет и стынет, превращаясь в ледяшку...

— Не могу, — прервал мысли Жени угрюмый голос стрелочницы. — У меня поезд.

— Страховка! — пренебрежительно воскликнул боец, вытирая пот с лица засаленной и пропитанной бензином пилоткой. — Открывай, теперь законы наши, военные!

Видимо, в тоне его было что-то особенное, приказное, потому что стрелочница, сказав «не могу», подошла все же к лебедке и крутнула рукоятку. Шлагбаум поднялся. Шофер нырнул в кабину. Машина быстро проскочила переезд.

«Хорошо быть таким, как этот боец, — с завистью подумала Женя. — Таким же настойчивым и упрямым».

— Голубонька, сидай с нами, — вдруг услышала она позади себя.

Женя обернулась. К шлагбауму подъезжала телега. В ней сидело пятеро женщин, по виду крестьянок. Двое из них держали на руках грудных детей. У одной неожиданно засмеялась девочка. Женя не видела лица ребенка, но отчетливо услышала этот странный сейчас смех. Женщина дала девочке обвислую грудь и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Ты от горя, а оно за тобой.

— Сидай с нами, — повторила пожилая женщина с маленьким печальным и покорным лицом. — Сидай, голубонька. Герман проклятый гонится. По всем дорогам танки идут.

— Спасибо, тетечка, — дрогнувшим голосом откликнулась Женя. Ее особенно тронуло слово «голубонька» и тон, каким оно было произнесено: — Мне в другую сторону.

— Куда ж тебе?

— На заставу.

— Ой, пропадешь, голубонька, — ахнула женщина и стегнула коней длинной хворостиной.

Телега проползла через шершавые доски переезда.

«Страхи все это, паника», — старалась успокоить себя Женя.

— А вон опять мой знакомый, — услышала Женя голос стрелочницы. — Тот, что мамзелью обозвал.

Стрелочница подняла руку. Машина остановилась. Шофер выскочил из кабинки. Был он маленький, подвижный, верткий. Круглое лицо с виду казалось добродушным, но в голосе паренька слышались командирские нотки.

— Чего тебе? — спросил он стрелочницу. — Соскучилась?

— Подвези девушку, — кивнула та головой на Женю.

Женя с трудом выдержала взгляд его маленьких острых глаз.

— Мне до Ружан, — поспешно сказала она.

— Там не танцы. Война.

— Вот мне туда и надо.

Шофер не то одобрительно, не то осуждающе хмыкнул.

— Груз не позволяет.

— Какой груз?

— Петух скажет курице, а она всей улице. Ишь, любопытная.

— Я легкая. Смотрите, — и Женя подпрыгнула на носках. — Совсем легкая.

Кажется, этот прыжок и покорил шофера.

— Не так легкая, как упрямая, — улыбнулся он, показав широкие зубы. — Садись скорей. Мне тары-бары разводить некогда. Только после не плачь, слез утирать не буду.

— А слез вы и не дождетесь, — сердито сказала Женя, забравшись в кабину.

— Всякая лиса свой хвост хвалит, — пробурчал шофер, когда машина отъехала от шлагбаума. — Не взял бы тебя, да вижу, давно тут торчишь. Зачем едешь-то? Убить могут.

— Мне на заставу. Жених у меня там, — вдруг, набравшись мужества, выпалила Женя, боясь, что шофер передумает и высадит ее где-нибудь на дороге.

— Выходит, для жениха я стараюсь, — усмехнулся шофер.

— А нельзя ли побыстрее? — осведомилась Женя.

— Для жениха можно! — весело воскликнул он и прибавил скорость.

Женя не смотрела по сторонам. Только бегущая навстречу дорога интересовала ее. Все, что оставалось справа и слева: картофельные поля, понурые вербы, зеленые блестящие болот, — все оставалось не замеченным ею.

Машина неслась по дороге навстречу войне, а сердце Жени стучало: «Скорей, скорей, скорей!»

Часа через три езды в первой же деревушке, приткнувшись к самому шоссе, едва только они остановились, чтобы заправить машину водой, к ним подбежал рыхлый нескладный парень в замызанной майке.

— Помоги, понимаешь, — напал он на шофера. — Скот надо заменить. Машина стала.

— Ну и меняй на здоровье, — сплюнул в сторону боец. — Мне, дружок, недосуг за тебя работать.

— Так, понимаешь, домкрата нет, — пытался разъяснить тот.

— Должен быть, — невозмутимо заявил шофер, наливая в радиатор воду из блестящего жестяного ведра. — Такому, как ты, ежа под череп запустить надо за то, что нст.

— Ребятишки, понимаешь, орут, — пропуская мимо ушей оскорбительные слова бойца, наседал парень. — А мне, мать честная, не везет. Вот они! — обрадованно воскликнул он.

К ним бежали женщины. Некоторые из них держали на руках малышей. Ребятишки постарше вырвались вперед, нещадно пыля босыми ногами. Еще издали женщины кричали наперебой:

— Помогите нам!

— Спасите!

— Пропадем мы с детишками!

Женя тронула шофера за рукав:

— Дети ведь.

— А кто сказал, что я не помогу? — сердито откликнулся тот. — Где твоя машина?

— Здесь, сразу за домом, — обрадованно и суетливо заговорил нескладный парень. — Понимаешь...

— Ладно, все понимаю, — прервал его боец, вытаскивая из машины домкрат. — Ты вот только ни черта не понимаешь! Ты без патронов в окопах сидел? Нет? То-то. А я тут с вами должен прохлаждаться.

Женщины и дети потянулись вслед за шоферами. Возле Жени остался только вихрастый мальчишка в тюбетейке вместе со своей матерью — полной, неповоротливой женщиной. Женю поразило выражение страшного равнодушия, усталости и обреченности, застывшее на ее лице.

«Поедем мы или нет — теперь уже все равно», — как бы говорили ее светлые глаза.

— Ты сядь, мама, — тихо и ласково сказал мальчик. — Вот здесь, на траву.

Женю тронула его забота. Обычно, как ей приходилось подмечать, ребята в таком возрасте в присутствии незнакомых людей стыдливо умалчивают о своих чувствах к родителям. Жене сразу же вспомнилась мама. Как там она? Как отец? Не надо было, нельзя было их бросать. Вот эта мать с сыном, и он заботится о ней, а ее, Женина, мама, может быть, сейчас совсем одна.

Женщина тяжело опустилась на обочину.

— Устали? — участливо спросила ее Женя.

Та, словно не поняв вопроса, прислушиваясь, смотрела куда-то поверх головы Жени.

— Все стреляют, — будто самой себе сказала она. — Все стреляют...

Действительно, отдаленный оружейный грохот не умолкал. Он все еще был непривычен и страшен.

— А ты еще хотел с отцом остаться, — сказала женщина, тревожно посмотрев на мальчика. — Эх, Славка, Славка...

Она медленно закрыла глаза, поднесла пухлые ладони к лицу. Можно было подумать, что она старается закрыть от солнца. Потом взглянула на Женю. Казалось, она видит ее впервые и никак не поймет, откуда взялась на этой пыльной дороге молоденькая хрупкая девушка, похожая на цыганку.

— Я еще счастливая, — заговорила женщина, не сводя глаз с Жени. — А соседка моя, Ирочка. Жена политрука. Дочка у нее из подвала выбежала. За куклой. Ирочка — за ней. А тут — взрыв. Ирочку насмерть. И малютку. Одна кукла — целая.

— И девочку? — испуганно воскликнула Женя.

— И девочку, — со странным спокойствием ответила женщина.

Женя стремительно присела рядом, всхлипнула, обняла ее за шею.

— А я уже спокойная, — сказала женщина. — Слез больше нет.

Славка не плакал. Он был серьезным и хмурым.

— Вы с заставы? — спросила Женя.

— С заставы, — подтвердила женщина. — Если бы не сын, осталась бы там, не ушла от Лёши. Начальник заставы — мой муж. Не слышали? Старший лейтенант Маляхов. Сына в надежное место определю, вернусь к мужу, все равно вернусь.

— Зачем мы оставили папу? — негромко спросил Славка. — Бросили его, убежали. Как предатели.

Мать ничего не ответила. Наверное, она боялась ответить на этот вопрос.

— А Обухов не на вашей заставе служит? — осторожно спросила Женя, заранее опасаясь, что получит отрицательный ответ. — Обухов Андрей.

— Андрюша? — встрепенулась женщина.

— На нашей, — твердо сказал Славка. — Я его хорошо знаю.

— Так я к нему еду, — обрадовалась Женя.

— А его там уже нет, — пытаюсь сохранить спокойствие, произнес Славка и отошел в сторону.

— А где он? — стремительно спросила Женя.

— Вчера отправили в город. На машине.

— Он ранен? — не сказала, а скорее выдохнула Женя.

— Ранен, — кивнул головой Славка.

Женя тихо вскрикнула.

— А говорила — слез не дождетесь, — громко сказал запыхавшийся шофер, подбегая к машине. — Садись, невеста, уезжаю!

— Что же мне делать? — растерялась Женя.

— Ехать с нами, — решительно заявил Славка.

— Да, надо, — безучастно прошептала Женя.

— Выходит, наши пути расходятся? — спросил боец и вдруг сделался серьезным. — Жаль. Я уж привыкать стал. Думал, воевать вместе будем.

Он крутанул ручку. Мотор взревел.

— Спасибо вам! — крикнула Женя, стараясь перекрыть гул. — Счастливо!

— За что спасибо? — невесело улыбнулся шофер.

Жене вдруг стало жалко его, она растерянно смотрела на машину, исчезающую за деревьями.

Вместе с женщинами Женя залезла в кузов. Нескладный парень вел машину стремительно, насколько позволяла дорога, пренебрегая всеми нормами скорости. Кузов подбрасывало на ухабах, женщины вскрикивали, прижимая к себе детей.

Узнав, что Женя знакома с Андреем, Надежда Михайловна — мать Славки — начала рассказывать о нем, и Жене очень хотелось, чтобы она говорила, не переставая.

Неожиданно Надежда Михайловна умолкла. Полной рукой она обняла Славку за узкие плечи. Лицо ее потемнело, стало безжизненным. Сразу же притихли все, кто сидел рядом с ними. Жене сделалось страшно, и она медленно подняла кверху беспокойные глаза.

Никогда прежде не приходилось Жене смотреть на небо с боязнью. Хотелось бесконечно долго вглядываться в его неизмеримую глубину. Жизнь в это время представлялась нескончаемой, нетленной, появлялось восторженное ощущение бесконечности и непрерывности мира.

А сейчас, хотя небо и было ясным, в него было страшно смотреть. То самое солнце, что каждый день всходило над землей, сияло в нем, казалось, по-прежнему. Но это было уже другое, совершенно другое небо. В нем нагло носился фашистский самолет.

Женя наивно подумала о том, что, если шофер прибавит скорость, они спасутся от внезапного преследователя. С тем бойцом, что вез ее из города, они, наверное, успели бы проскочить.

Самолет стремительно снижался, по траве злым вихрем промчалась тень. Крылья смотрели на Женю мрачными черными крестами. Она откинулась, словно хотела защититься от этих крестов, и в тот же миг защелкал пулемет. Женщины ожесточенно застучали по верху кабинки. Машина замедлила ход и остановилась. Шофер взглянул на небо.

— Слезай! — вдруг отчаянно крикнул он. — Разбегайся, понимаешь, по полю. Дальше от дороги! Понимаешь, в кусты!

Женя спрыгнула с машины, помогла выбраться из нее Надежде Михайловне. Они побежали втроем. Самолет уже висел над дорогой. Длинные струйки пыли взвихривались от пуль.

Женя оглянулась, и в этот самый миг что-то очень похожее на молнию сверкнуло совсем неподалеку от нее, и тут же все вокруг стало темным и неузнаваемым. Казалось, кто-то стиснул ей уши.

Когда она очнулась, у нее было такое чувство, будто пробудилась после долгого и кошмарного сна и никак не

может понять, что сейчас: день или ночь. Острые травинки щекотали лицо. Она глубоко и жадно вздохнула, ощутив тонкий запах земли, приоткрыла глаза. Было непривычно тихо. Прямо перед глазами между стебельками травы, казавшимися непомерно большими, старательно и усердно тащил какую-то былينку муравей.

— Жизнь, — растроганно прошептала Женя, хотела улыбнуться, как это делала в детстве, когда, счастливая и беззаботная, падала на траву и опускала в нее горячее лицо, как вдруг слышала совсем неподалеку от себя тихий, полный отчаяния детский плач. Женя вскинула голову к небу: оно было таким же ясным и спокойным, каким хотелось его видеть всегда. Странное чувство не давало Жене покоя: что-то очень важное выпало из памяти, и она, как ни старалась, не могла припомнить всего, что было.

Чуть поодаль Женя увидела тех женщин, с которыми ехала в машине. Они столпились у кустарника, опустив головы. Женя прислушалась. Порывистое рыдание, доносившееся оттуда, то раздавалось громко, как бы с силой вырываясь из детской груди, то замирало. И миг, в который оно замирало, особенно пугал своей безысходной тоской и отчаянием.

Женя с трудом поднялась с земли и медленно подошла к женщинам. По их лицам она сразу поняла, что произошло что-то непоправимое.

— Ехать надо, — послышался голос шофера. — Опять, понимаешь, может налететь.

Но женщины не шелохнулись. Женя, приподнявшись на цыпочках, заглянула через плечо одной из них и в страхе отшатнулась. На почерневшей траве, вблизи от свежей воронки, странно вытянувшись, лежала Надежда Михайловна, а возле нее, прикинувшись к ее лицу, стоял на коленях Славка. Острые худые плечи его тряслись. Никто не пытался утешить мальчика или поднять его с земли.

— Ехать надо, — снова повторил шофер.

«Что он говорит? Как он может говорить такое сейчас, когда плачет Славка? — с недоумением подумала Женя. — И почему никто не заставит его замолчать?»

Женя стремительно присела на корточки возле Славки, приподняла его за плечи, боязливо заглянула в глаза и едва не вскрикнула: воспаленные глаза мальчика были сухи, словно их вылизал жаркий ветер.

«Кто же плакал? Разве он не плакал?» — спрашивала себя Женя, чувствуя, что рыдания вот-вот охватят ее.

Золотистая голова Славки прикоснулась к ее плечу. Женя растерянно скользнула взглядом по его рубашке, вымазанной свежей землей, и заметила большое мокрое пятно на рукаве. Она еще крепче прижала Славку к себе.

Громко и испуганно закричал ребенок.

— Опять, понимаешь, фашист летит, — сказал шофер, подходя к женщинам. — Ехать надо.

Напоминание о самолете всколыхнуло женщин. Послышались всхлипывания:

— Летит! Пропали мы...

— Поехали, женщины. Ребят загубим.

— Схоронить же надо. Мыслимо ли!

Они подошли к Надежде Михайловне, подняли ее на руки, понесли к воронке и после короткого раздумья опустили на дно. Прикрыли брезентом, который принес шофер.

— Возьми, сынок, горстку земли, — тихо сказала седая женщина с глубоко запавшими глазами.

— Зачем? — сдавленным голосом спросил Славка.

Никто не ответил, и от этого молчания ему сделалось еще страшнее. Казалось, только сейчас он особенно ясно и окончательно понял, что мать уже не спасти, что все родное и близкое в жизни, что связывало его с ней, — все это оборвалось и осталось позади, в прошлом.

— Не дам! — вдруг со злым отчаянием вскрикнул он. — Не дам насовсем! Не дам зарывать! Мама!

Женщины удерживали его, Славка вырывался, отчаянно бился в их руках. Шофер лопатой бросал в воронку землю.

Обессилевшего мальчика отвели к машине. Перед тем как сесть в кузов, он постоял, повернув лицо в ту сторону, где похоронили мать. Машина тронулась, и он затих.

— И как он теперь? Считаю, сирота, — сказала седая женщина.

Услышав эти слова, молодая мать пристально посмотрела в лицо ребенка, спавшего у нее на руках.

— Он будет жить у нас, — торопливо отозвалась Женя, словно боясь, что кто-нибудь опередит ее.



Они могли бы добраться до города быстро, если бы не кончился бензин. Шоферу пришлось бросить машину. Дальше двинулись пешком.

Близился вечер. Где-то позади все громыhalo, гудело, лязгало. Война шла за ними по пятам, подступала к городу, окружала его со всех сторон.

Уставшие, они пришли в город. За дорогу все свыклись, но у каждого был свой путь и свои заботы.

Простившись с женщинами, Женя повела Славку домой. Ей казалось, что сейчас, оставшись без матери, он стал совсем маленьким и беспомощным. Она чувствовала, что теперь на ней и ни на ком другом лежит ответственность за этого мальчика. Сейчас, придя домой, она скажет матери: «Пусть живет у нас».

Еще издали Женя заметила, что их дом, всегда шумный и горластый, сейчас замер. Во дворе не было ни души. На дверях висел замок. У Жени появилось такое ощущение, будто она вернулась сюда после долгих скитаний.

Женя пошарила рукой за ящиком, стоявшим в коридоре, — ключ был на месте. Дрожащими пальцами торопливо открыла замок, вбежала в комнату. Непривычный беспорядок испугал ее. На столе лежала записка. Женя сразу же узнала почерк матери:

«Доченька, родная, ждали тебя — не дождались. Папа звонил на заставу, но связи нет. Уезжаем с эшелонам. Догоняй скорее, иначе сойду с ума. Едем на Харьков...»

Дальше шли советы — что взять с собой, как быстрее догнать поезд.

— Бежим, скорее бежим на вокзал, — заторопилась Женя.

Славка молчал. Женя пристально взглянула на него. Измученный вид мальчика заставил ее немного повременить.

— Славка, — сказала она обрадованно. — А ведь у нас есть хлеб и колбаса.

Он несмело взял бутерброд, откусил, начал жевать и неожиданно, давясь, затрясся в безудержном плаче.

— Не надо, — попросила Женя.

Славка посмотрел на нее, кажется, что-то хотел спросить, но вдруг упал на диван, обхватив голову руками.

Женя присела рядом с ним. Только сейчас ужас того, что произошло, стал отчетливо ясным и потому непреодо-

ливо безысходным. Страх одиночества и обреченности охватил ее. Славка затих.

«Пусть поспит, — думала она. — Мы еще успеем».

Женя посмотрела в потемневшее окно. Кажется, соби-рался дождь. Перед глазами, как видение, мелькали лица ребят и девчат, с которыми она совсем недавно вместе училась. Припомнился веселый школьный вечер. Андрей и музыка. Валерий и стихи. И вдруг — Саша, с туфлями, завернутыми в газету. Потом лица ребят и девчат исчез-ли, перед глазами побежала дорога, с ревом пронесся са-молет, ахнул взрыв...

Женя очнулась и пошарила рукой возле себя — маль-чика не было.

— Славка, — испуганно позвала она.

Никто не ответил.

— Славка! — крикнула Женя. — Ты здесь?

— Здесь, — глухо откликнулся мальчик.

Только сейчас Женя поняла, что он стоит у окна.

— Бежим на вокзал, — вскочила с дивана Женя. — Как же это я заснула, дурная.

— Поздно, — глухо, со странным спокойствием сказал Славка.

И тут стекла задребезжали от ворвавшегося в пере-улок гула моторов. Женя подбежала к окну.

Фары мотоциклов метались в темноте. Яблоневый сад, купавшийся в дожде, то освещался ослепительным нежи-вым светом, то снова пропадал в шумной черноте ночи. Гул моторов усиливался, нарастал, и вот уже смешалось все: и трескотня мотоциклов, и звон дождя по крыше, и выстрелы, и пронзительные, непривычные выкрики на не-мецком языке.

Славка стоял у окна не шелохнувшись.

— Отойдем, — тихо позвала Женя, беря его за руку. — Не надо смотреть на это.

Славка не двинулся с места.

— Буду смотреть, — упрямо сказал он. — Буду.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Все новые и новые части гитлеровских войск пересе-кали советскую границу. Путь некоторых из них лежал через Синегорск. От окраины к окраине по главной улице громыхали танки, мчались громоздкие длиннорылые гру-

зовики, на которых то и дело немецкие солдаты горланили бодрые, хвастливые песни.

Дули необычные для здешних мест сухие, жаркие ветры. Тучи пыли и гари низвергались на молодые сады. Невесело отсвечивали на солнце мутные стекла уцелевших домов. За городом, в рощах, стихли соловьи.

Женя и Славка почти не выходили из дому. Они чувствовали себя, как в осажденной крепости, и каждую минуту ждали беды. Шаги в опустевших комнатах отзывались гулким печальным эхом, наполнявшим душу тоской. Как-то бродя по комнатам, Славка наткнулся на старую гитару, висевшую на стене. Он с любопытством осмотрел ее и осторожно тронул басовую струну. Струна пропела жалобно и тревожно. Жене стало не по себе.

В чуланчике Женя обнаружила небольшой запас продуктов: пшено, кусок старого сала, сухари, немного фасоли. Соседка Анфиса Алексеевна, добрая пожилая женщина с маленьким сухим лицом, узнав, что Женя не успела уехать вместе со своими родителями, принесла ведро картошки.

— Что делать-то будем? — спросила она, горестно наморщив узенький лоб. — Лютует Гитлер. Вчера на площади еще троих повесили. Молоденьких. И как жить теперь? Спишь, а над тобой топор висит. Того и гляди, до нас доберутся.

— Уходить надо, тетя Анфиса, — сказала Женя. — Давайте вместе к своим пробираться?

— Куда уйдешь, милая ты моя? — всплеснула жилистыми руками Анфиса Алексеевна. — Наши-то, говорят, далеко теперь. Отступают.

— Не могут они отступать, — сердито сказал Славка.

Анфиса Алексеевна погладила его встрепанные волосы, прослезилась:

— Сынок-то мой воюет...

Она ушла, а Женя и Славка принялись тихо обсуждать план бегства из оккупированного города. Они так увлеклись разговором, что не услышали осторожного стука в дверь. Стук повторился. На этот раз он прозвучал громче и требовательнее. Женя нерешительно подошла к двери и повернула ключ.

Дверь открылась, и через порог переступил подтянутый и чистенький немецкий офицер.

В первую минуту Жене показалось, что офицер еще

совсем молод, но стоило ему снять фуражку, как лицо его, и особенно светлые с мутноватым налетом глаза, приобрело какое-то старческое выражение.

— Доброе утро, — сказал он по-русски. — Я не начал беспокоить вас немного раньше. Но сейчас не надо сидеть по домам. Сейчас происходит история. Германская армия очень хорошо делает свой марш на восток.

Офицер произнес все это таким тоном, будто сообщал что-то исключительно приятное, чему все, кто его слушает, должны несказанно радоваться. Говорил почти без акцента, и, если бы не особое построение фраз и не употребление отдельных слов как раз в тех случаях, в каких русский человек не стал бы их употреблять, его трудно было бы принять за немца.

— Я являюсь очень радостным, — он снова улыбнулся приятной, даже чуть застенчивой улыбкой. — Сегодня утро есть самое чудесное. Я буду счастлив видеть красивую девушку и умного мальчика.

Он подмигнул Славке, но тот, нахмурившись еще сильнее, отвернулся.

— Что вам угодно? — спокойно, хорошо владея собой и с достоинством произнесла Женя, не спуская глаз с офицера.

Она и сама не могла понять, откуда вдруг у нее взялось это невероятное спокойствие. Появление гитлеровца в своем доме она представляла себе совсем иначе. Она ждала крика, угроз, стрельбы. А этот стоял тихо, спокойно и словно удивлялся, почему в ответ на все, что он сказал, в ответ на его благородное поведение не слышно радостных восклицаний, веселого смеха и благодарности.

Офицер изящным и энергичным движением мягкой ладони отбросил назад непослушные пепельные волосы, и от этого его лоб, отливавший неестественной белизной, сделался еще более высоким.

— Я очень много жил в России. На реке Волга, — медленно сказал он. — И я видел русское гостеприимство.

Женя молчала. Ей хотелось дерзко и грубо ответить ему, но она молчала, словно приберегая силы для чего-то более решительного и важного, что должно было произойти.

Офицер прошел к окну, присматриваясь к стенам, картинам и мебели. Казалось, он выискивает что-то очень нужное ему и интересное.

Женю охватило равнодушие. «Будь что будет, — подумала она. — Трудно сказать, что сейчас лучше: жизнь или смерть. И разве жизнь имеет значение теперь, когда гитлеровцы идут все дальше и дальше и когда в твоём доме, в твоём родном доме расхаживает немецкий офицер?»

Немец прошёл в спальню, длинными тонкими пальцами проверил, достаточно ли мягка постель, заглянул на кухню и присел в кресло, стоящее в кабинете отца возле высокого стеллажа с книгами.

— Идите ко мне, — позвал он.

Женя и Славка вошли в кабинет. Офицер с мечтательным видом перебирал книги.

Это называется большое чудо, — сказал он, придвинул кресло поближе к полкам. — Я есть большой книголюб.

Он взял со стеллажа томик Лермонтова, открыл его и долго смотрел на автопортрет поэта. Женя вспомнила, что эту книгу подарил ей Валерий.

Офицер полистал книгу и протянул её Славке.

— Читай. Громко.

— Не буду, — упрямо буркнул тот.

Он стоял перед офицером маленький и крепкий, с золотистыми волосами, с красным облупленным носом и большими серыми глазами смотрел на книгу.

Не умеешь читать? — удивился офицер.

— Не буду, — зло повторил Славка и отвернулся к окну.

Офицер усмехнулся.

— Русский характер, — медленно, по слогам произнес он. — Упрямство. Это есть главное качество русского человека.

— Неправда, — вспыхнула Женя. — Неправда, — повторила она, стараясь смотреть мимо мутноватых глаз офицера. — Мы добрые. Пока нас не трогают.

— Будем говорить о лирике, — остановил её офицер. — Вы хотите читать стихи? Я буду вас очень благодарить.

— Я не люблю стихов, — равнодушно сказала она, взяв томик.

— Надо любить, — поучающе сказал немец. — Тот, кто любит стихи, не может делать жестокость. Когда наши войска будут занимать Кавказ, я приеду в Пятигорск. Я должен стоять на горе, которая имеет название Машук.

Я имею желание поклониться там, где поручик Лермонтов стрелял на дуэли.

«На Кавказ? — подумала Женья. — На Кавказ!»

— Я имею желание занять этот особняк, — продолжал он. — Я не люблю центральную улицу. Мне лучше проводить жизнь там, где имеется тишина, чистый воздух и старый сад.

— Делайте, что хотите, — едва слышно сказала Женья. — Не жгите только книги.

— Все равно долго здесь жить не придется, — выпалил вдруг Славка.

— О нет, милый русский мальчик, — просиял немец. — Это будет очень долго. Всегда. Как говорят русские, на вечное время.

— Нам можно идти? — спросила Женья.

— Чего ты его спрашиваешь? — сердито сказал Славка и подбежал к двери.

Женья поспешила вслед за ним, все еще не веря, что офицер согласился их отпустить.

— Книга! — вдруг воскликнул офицер. — Вы должны оставлять книгу.

— Нет, — отрицательно закачала головой Женья, испытывая мучительный стыд за то, что перед этим попросила у него разрешения уйти, показав тем самым, что подчиняется ему.

— Книга, — мягко и вкрадчиво повторил он.

Женья выпрямилась.

— Не берите, — тихо попросила она и двумя руками прижала томик Лермонтова к груди.

— Не надо просить, — настойчиво сказал Славка.

Женья вздрогнула всем телом, и томик упал на пол. Офицер быстро нагнулся, поднял книгу, безмятежно и доброжелательно улыбнулся.

— Очень хорошо. Теперь вам лучше будет понятно, как гауптман Отто Фейнингер есть большой книголюб. Я не умею жить без поэзии. Русский народ хорошо говорит, что она греет душу. Да. Вы будете ходить сюда в гости и читать стихи. Я всегда захочу вас слышать.

Офицер помолчал и сказал твердо:

— Я посылаю с вами хорошего проводника. Он должен узнавать, где вы начнете жить.

Немец опередил Женью и приоткрыл дверь.

— Эрих! — громко позвал он.

В комнату шагнул и звонко щелкнул каблуками новеньких сапог невысокий плотный солдат с автоматом на груди, в упор уставился на офицера светлыми послушными глазами. Казалось, он так и стоял за дверью, готовый каждую секунду ворваться в дом, услышав зов своего командира.

Женя и Славка с любопытством смотрели на него, но солдат продолжал стоять навтыжку, не шелохнувшись, словно для него никого не существовало сейчас, кроме этого молодого красивого офицера, имеющего право повелевать и командовать.

Офицер быстро и отрывисто заговорил по-немецки. Несколько слов были знакомы Жене, но она не вдумалась в их смысл.

Солдат повторил приказание, широкой плотной ладонью распахнул дверь, подождал, пока выйдут Женя и Славка, и, еще раз козырнув офицеру, выскочил вслед за ними.

Славка шел по тротуару, изредка оглядываясь на немца. Тот шагал чуть позади, невозмутимо поглядывал по сторонам и всем своим видом показывал, что исправно выполняет обязанности конвоира.

Они вышли на главную улицу.

«Куда он ведет нас? — думала Женя. — Неужели это конец?»

— Что делать? — спросила она у Славки.

— Бежим.

— Сейчас это невозможно.

— Как свернем в переулок. И через дворы.

По бульвару они пошли медленнее. Немец немного приотстал от них, глядя, как мимо проносятся военные легковые машины. Время от времени он отдавал честь офицерам.

Возле поворота Славка вдруг сорвался с места, успев шепнуть «Бежим!», и, нырнув между деревьями, помчался через улицу. Он не обратил внимания на то, что прямо на него с бешеной скоростью мчалась приземистая легковая машина с открытым кузовом. Она чем-то напоминала гончую.

— Ой! — в ужасе вскрикнула Женя и стремительно закрыла глаза ладонью.

— Хальт! — раздался повелительный голос немца. Он решительно взмахнул автоматом, останавливая машину.

Осатанело взвизгнули тормоза. Женя медленно отвела руку от глаз и успела увидеть, как крылом затормозившей машины Славку отбросило в сторону. Он упал. На горячем асфальте дымились две черные полосы от колес. Немец подбежал к машине и замахнулся на шофера. Тот расхохотался в ответ.

Женя поспешила к Славке. Машина, сбившая его, рванула с места, обдала их едкой струей отработанного газа и понеслась дальше.

Немец передвинул автомат за спину и взял Славку на руки. Тот дышал хрипло и часто. Левая рука его посинела. Чуть повыше локтя был содран большой лоскут кожи, сочилась кровь.

— Надо скорее в больницу, — взволнованно торопила Женя.

Немец недоуменно смотрел на нее, не выпуская мальчика из рук.

— Больница. Кранкэнхаус, — вспомнила она по-немецки.

Немец решительно завертел головой, показывая, что он с этим не согласен.

— Кранкэнхаус, — упрямо повторила Женя.

— Дер арцт, — сердито сказал немец. — Доктор. Дас кранкэнхаус нихт. Нельзя. Нет, нет, — повторил он несколько раз уже на ходу.

— Хорошо, к доктору, — поняла его Женя. — Здесь недалеко живет доктор. Дер арцт. Хороший доктор.

Женя знала, что в двух кварталах отсюда живет доктор Крапивин. Валерий часто предлагал ей зайти к нему домой, но Женя стеснялась и каждый раз под каким-нибудь предлогом откладывала свой визит к его отцу.

Они ускорили шаг, прошли по безлюдному тихому переулку и очутились в маленьком дворике, утонувшем в густых кустах смородины. Женя постучала в парадную дверь. Никто не отозвался. Она забарабанила сильнее. Неожиданно на пороге появился высокий угрюмый мужчина с небритым лицом. Он пристально посмотрел на запыхавшуюся, вспотевшую Женю, покосился на немецкого солдата и попятился назад.

— Здравствуйте, доктор Крапивин, — обрадованно сказала Женя.



— Здравствуйте, — недружелюбно ответил Артемий Федорович. — Был когда-то доктор Крапивин. Но, простите, я уже не работаю и не принимаю дома.

— У меня несчастье, — взмолилась Женя. — Мальчика сшибла машина. Неужели вы откажете...

— Это чей же мальчик? — насупившись, спросил Артемий Федорович.

— Это... — Женя взглянула на немца. — Я вам потом расскажу.

— Не имеет смысла, — вдруг переменял тон Артемий Федорович. — Давайте мальчика.

Он подошел поближе, пощупал у Славки пульс. Тот очнулся и дернулся, словно хотел вырваться из рук и сыгннуть на землю.

— Спокойно, — внушительно сказал ему Артемий Федорович и, осторожно взяв мальчика на руки, понес в дом.

— Ну как? — рванулась вслед за ним Женя.

— Ничего страшного, — ответил Артемий Федорович, не оборачиваясь. — Поставим на ноги. Но я не привык лечить в присутствии посторонних.

— Хорошо, — остановилась Женя. — Я подожду.

— Вам долго придется ждать, — буркнул доктор и хлопнул дверь ногой. Жалобно звякнул колокольчик.

Женя устало опустила на холодную ступеньку. Солдат вытирал с мундира свежие капли крови. Покончив с этим, он пристально посмотрел на Женю и, оглянувшись по сторонам, тихо сказал:

— Ви ист ир форнамэ? \*

— Женя.

Немец виновато улыбнулся и стал медленно, по несколько раз повторять одни и те же слова, говорить Жене по-немецки. По его тону она чувствовала, что он сообщает ей что-то очень важное и значительное. Женя внимательно слушала, мысленно переносилась на уроки немецкого языка, переводила на русский язык то, что рассказывал ей этот солдат.

Не без труда она поняла, что молодой офицер, занявший их квартиру, является каким-то большим начальником в гестапо, что по его указанию на площади повесили трех русских пленных, что он же приказал ему, Эриху,

---

\* Как ваше имя? (нем.)

отвести Женю и Славку за город и там расстрелять. Но он, Эрих, этого не сделает, он не хочет убивать. И лучше всего, как только мальчик станет на ноги, уйти из города. Он, Эрих, поможет сделать это. У него есть друг, который на днях поедет на передовые позиции. И может подвезти их. А там уж они сами постараются пробраться к своим.

Немец закончил говорить и протянул Жене грубую, с желтыми затвердевшими мозолями ладонь. Она крепко пожала ее. Солдат быстро вышел за калитку.

Вскоре дверь приоткрылась, и Артемий Федорович, убедившись, что Женя осталась одна, поманил ее пальцем. Она проскользнула в дом.

— Ну как?

— Я уже говорил. Будет здоров. Но, скажите, — вдруг гневно спросил он, — какого черта вы пришли ко мне с этим немцем?

— Я вам все расскажу, — виновато ответила Женя. — Я сама еще не знаю...

— Вы поступили архилегкомысленно, — несколько смягчившись, заявил Артемий Федорович. — Все это не очень кстати. Тем более что...

— Но я, — тихо перебила его Женя, — я ведь знаю вашего Валерия.

Большие руки Артемия Федоровича дрогнули, и он тяжело и неловко опустился в старое кресло. Мохнатые брови приподнялись, и на Женю глянули вдруг потеплевшие усталые глаза.

— Валерия? — переспросил он, упираясь ладонями в подлокотники кресла, будто силясь привстать.

— Ну конечно, — оживилась Женя, радуясь, что этот насупившийся, угрюмый человек преобразился. — Мы учились с ним в одном классе. Меня зовут Женя.

— Женя! — Крапивин просиял.

Он пошарил в карманах, нашел зеленый пластмассовый футляр и вынул из него большие очки в массивной оправе. Потом с несвойственной ему проворностью вскочил на ноги и быстро пошел к письменному столу. Стол был загроможден книгами и папками. Артемий Федорович открыл ключом боковой ящик, вытащил из него объемистый сверток, долго копался в нем и, наконец, протянул ей большую фотографию. С глянцевого, совсем еще нового снимка на Женю смотрели ее веселые одноклассники: Лида, Саша, Яшка, Валерий. Тут же были и учителя:

Антонина Васильевна, Агриппина Федоровна, Михаил Илларионович. Весь десятый класс и все учителя, которые вели уроки в этом классе.

— Тут и вы, — растроганно сказал Артемий Федорович. — Недалеко от моего Валерия.

— У меня точно такая фотография, — сказала Женя. — Только мама увезла ее с собой.

Увезла? — недоверчиво спросил Артемий Федорович, пряча фотографию, будто опасаясь, что Женя заберет ее. — Но почему вы остались здесь?

— Понимаете, пока я ездила на заставу, они уехали. Понимаете...

Артемий Федорович снова нахмурился. За густыми бровями и длинными веками почти не стало видно его глаз.

— А позвольте вас спросить, — не глядя на Женю, сказал Артемий Федорович, — зачем вам понадобилось ехать на заставу, когда началось такое...

Он задумался, пытаясь найти нужное слово, но так и не нашел.

— Я не могла сидеть сложа руки. И думала, что все наши ребята на заставе.

— Валерий на фронте, — после длительного раздумья откликнулся Артемий Федорович. — Немцы наступают. А я ничего не знаю о нем. — Он внезапно перевел разговор на другую тему: — Пройдемте к мальчику.

Женя вошла вслед за ним в маленькую, чистую, оклеенную светло-голубыми обоями комнатку. Здесь, на стареньком диване, укрытый простыней, лежал Славка.

— Ты пришла? — словно не веря себе, заговорил он. — Сегодня ночью надо бежать, — прошептал Славка, выждав, когда доктор вышел из комнатки. — Иначе все пропало. Ты слышишь?

— Слышу, — невольно улыбнулась Женя. Ее несказанно радовало то, что Славка остался жив. Ведь еще немного, и машина... — Мы уедем из города через несколько дней. Когда ты окрепнешь. Кажется, мы можем верить этому немцу.

— Нет! — горячо воскликнул Славка. — Не можем!

— И все-таки мы попробуем поверить. Иного выхода нет.

Вошел Артемий Федорович с лекарствами в руках, и они замолчали.

— Оставляйтесь жить у меня, — неожиданно сказал он. — До возвращения Валерия.

— Спасибо, — вздрогнув, откликнулась Женя. — Но мы решили перейти через линию фронта. И там будем искать Валерия.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вскоре после первого парада училище, в которое были зачислены курсантами Саша и Валерий, вверх по реке Томи перебазировалось в лагерь.

Сибирская весна встретила их широким и пышным разливом цветущей черемухи и ликующе-ясной зеленью березовых рощ. Пронизывающие, словно хранившие еще в себе остатки зимней стужи, утренние туманы неохотно уступали место нежаркому солнцу. Лето приближалось не спеша, но уже и теперь угадывалось его горячее, по-сибирски крепкое, здоровое дыхание.

В несколько дней курсанты закончили оборудование лагеря. Они обложили палаточные гнезда свежим зеленым дерном, посыпали песком линейки, отремонтировали летние классы и миниатюр-полигоны для артиллерийских тренажей.

Курсанты — молодые парни, приехавшие со всех участков фронта, протянувшегося от моря до моря, — с жадностью потянулись к книге, к циркулю и планшету, получив хотя бы кратковременную — шестимесячную — возможность вернуться к тому любимому мирному делу, которое отняла у них война. Одни из них, едва пришив к воротникам неказистых, вылинявших хлопчатобумажных гимнастеров курсантские петлички, уже мечтали о том желанном часе, когда в этих петличках появятся лейтенантские кубики и когда можно будет молодым сильным голосом подать на своей батарее первую команду для открытия огня. Другие, особенно те, кто воевал с первого дня войны, отступал по пыльным дорогам и едва вырвался из кольца окружения, обрадовались тому, что смогут отдохнуть перед тем, как снова пойдут в бой. Третьим все в училище было не по душе, каждую мелочь размеренной курсантской жизни они сопоставляли с фронтовой и делали выводы в пользу последней. На фронте не было изнурительной строевой подготовки, никто не водил на обед

строим, не нужно было до одурения чистить лошадей, учить многоэтажные формулы и укладываться в каждую минуту однообразного распорядка дня. Иными словами, на фронте они чувствовали себя гораздо свободнее и независимее. И хотя там над головой постоянно висела неумолимая угроза смерти, с этой угрозой свыкались, как свыкаются со всем тем в жизни, чего невозможно избежать. А были и такие, кто втайне надеялся, что, пока они учатся, война подойдет к финишу, и все станет на свои места.

Саша много думал о батарее Федорова и скучал. Он мечтал после училища командовать взводом именно в этой батарее. Ему хотелось этого не только потому, что люди, подобные Федорову, очень нравились ему, и с них он старался брать пример, но еще и потому, что, вернувшись в свою батарею, он с чистой совестью смог бы сказать сослуживцам, что будет воевать с ними до последнего дня войны.

Валерий в лагере стал на редкость веселым и энергичным. Его сразу же назначили командиром отделения и избрали редактором стенной газеты. С небывалым подъемом Валерий принялся за стихи.

Незадолго до открытия лагеря приехал комиссар Обухов. Здесь он встретил много своих однополчан, а Саше и Валерию передал привет от Федорова.

Вместе они прошлись по лагерю. Училище было здесь не единственным. Справа и слева, по всему громадному березовому массиву, примыкавшему к берегу быстрой Томи, расположились соседи: пехотинцы, танкисты, связисты. Белые палатки нескончаемо тянулись в несколько рядов, образуя своеобразные улицы и переулки. Тыл готовил здесь кадры для фронта.

— Федоров ждет вас к себе, — сказал Обухов.

Они помолчали.

— А как Андрей? — спросил Валерий. — Что-нибудь слышно?

— Нет, дорогой мой, — нахмурился Обухов. — А ты, значит, командир отделения?

— Да, — скромно подтвердил Валерий.

— И за сколько секунд даешь готовность орудия?

— За девяносто.

— Позор!

— А здесь трудней, чем на фронте, — начал оправдываться Валерий. — Там или не спишь вовсе или выспишь-

ся до одури. И паек куда крепче. И люди — кремень. А тут кое-кто уже за докладные взялся: не осилю, прошу вернуть на фронт.

— Точно? И у многих такие настроения?

— Хватает, — подтвердил и Саша.

Вечерело. Обухов остановился на боковой линейке, прислушался. У палаток раздалась зычная команда: «Становись!» — И вскоре донесся равномерный гул шагов марширующего строя.

— На ужин? — спросил Обухов. — Выходит, я вас подвел. Старшина даст перцу. Он у вас строгий?

— Воплощение устава! — воскликнул Валерий. — Что и говорить — Шленчак!

— А что же не слышно песни? Своя, училищная, песня есть?

— Что вы! — разочарованно сказал Валерий. — Об этом еще никто и не думал.

— Вот ты и подумай. Ты же поэт.

Щеки Валерия вспыхнули ярким, свежим румянцем.

— Есть, подумать, товарищ комиссар! — обрадованно воскликнул он.

— И вообще, объявим конкурс на лучшую песню об училище, — решил Обухов.

В один из выходных дней комиссар пришел к палаткам. Официально никого не собирал, но курсанты потянулись к нему, и вскоре чуть ли не целый взвод сидел вместе с комиссаром на поляне у черемуховых зарослей.

— Помните, мы решили создать песню об училище? — спросил Обухов. — И надо думать, поэты наши не дремали. Сегодня курсант Бельский принес мне песню. Понравится — разучим. Поэт наш на литературных диспутах не выступал. И просит, чтобы песню прочитал я. Не возражаю. Авось и мне часть лавров перепадет.

Обухов вынул из планшетки ученическую тетрадку, раскрыл ее и уже прочел было первое слово, как его перебил голос диктора, донесшийся сюда из репродуктора, установленного на столбе у здания штаба: Москва передавала очередную сводку Совинформбюро. Диктор неторопливо и внешне спокойно перечислил города, оставленные нами за последние сутки. Курсанты притихли и насторожились.

Саша, слушая диктора, думал о том, что все это очень странно. Там идут бои, и наши войска оставляют города.

А здесь все, в том числе и он, сидят под кустами черемухи. В глубоком тылу, таком глубоком, что даже не верится, что где-то идет война. И еще придумали какую-то игру в песню. Как это все странно и несовместимо.

Диктор произнес последние слова, и Обухов начал читать:

В боях суровых ты родилось,  
Прodelав путь в огне большой,  
И крепче стали закалилось  
В боях с фашистскою ордой.

— «Родилось — закалилось», — тихо, но все же так, что сидящие поблизости смогли услышать, повторил Валерий и тут же добавил, наклонившись к Саше: — И это называется поэзией!

Обухов тоже, вероятно, услышал реплику Валерия, но продолжал читать. Читал он просто, без нажима и декламации, но каждое слово, произнесенное им, как бы насыщалось человеческим теплом.

Обухов приостановился. И еще не остыло напряженное молчание слушателей, как раздался вкрадчивый голос Валерия:

— Разрешите, товарищ комиссар?

— Крапивин?

— Так точно. Курсант Крапивин. Мне хотелось сказать несколько слов по поводу только что прочитанного стихотворения.

— Ну, ну, — поощрительно сказал Обухов.

Валерий внушительным, красивым жестом одернул гимнастерку и выпрямил плечи.

— Итак, мое мнение, — начал он, спокойно отвечая на выжидательные взгляды курсантов. — Мне хочется высказать его тем более, что я тоже пишу стихи.

— Да ты конкретно о песне, — громко перебил его сидевший рядом с ним коротыш — курсант Артемьев.

— Себя афишируешь, — несмело буркнул угрюмый Чураков.

— Нет, — возвысил голос Валерий. — Я афиширую не себя, — он говорил это, удивленно поглядывая на тех, кто вел себя так невыдержанно и нетерпеливо. — Просто хочу, чтобы товарищи не подумали, будто я берусь не за свое дело, разбирая стихи курсанта Бельченко.

— Бельского, — поправил Обухов.

— Простите, действительно Бельского. — Нет, я афиширую не себя, — еще раз повторил Валерий. — Я высказываю мнение о песне. Не все мне в ней нравится. Доказательства? — воскликнул он, будто радуясь, что его мнение вызвало приглушенный шум. — Пожалуйста, — он пристально посмотрел на Бельского — невысокого остролицего паренька, совсем еще, казалось, мальчика. — Я уже обращал ваше внимание на эту наивную рифму, словно взятую напрокат из детских сочинений: «Родилось — закалилось». Но это не все. Вместо героя мы видим в песне одноликую серую массу — курсантов. «Фашистскую орду» мы слышали уже в других песнях. Знакома нам и сталь, которая закаляется. Все это не поэзия, а плакат.

— Ну и кроет! — воскликнул кто-то.

Бельский все ниже опускал свое худенькое, почти детское лицо.

— А мне песня нравится, — вскочил с места Вишняков. — Был он высок и нескладен, но лицо его, уже облитое первым весенним загаром, светилось искренностью. — Все в ней правильно. Ты был тогда в обороне под нашим городом? Не был? А я был. И Миловидов был. И Чураков. Пусть скажут — что в ней плохого, в этой песне. Все правда, все точно. И до сердца доходит. И, знаешь, чем крыть, ты лучше сам попробуй, сочини.

— А я уже сочинил, — вдруг порывисто, будто решившись совершить какой-то большой и ответственный шаг в своей жизни, воскликнул Валерий.

— Читай, — спокойно предложил ему Обухов.

Валерий встал, задумался, и вдруг в глазах его полыхнул жаркий огонь. Когда он начал читать первые строки, голос его словно чем-то перехватило, казалось, ему не хватает воздуха. Отчетливо слышались приглушенные, испуганные нотки. Но чем дальше он читал стихи, тем увереннее и ровнее произносил каждое слово:

Мы были высоки, русоволосы.  
Вы в книгах читаете, как миф,  
о людях, что ушли недолюбив,  
недокурив последней папирасы.

Первая строчка ударила Саше в самое сердце. Что он делает, как он может читать эти стихи? Нет, не просто читать, а сказать вот так, прямо, громко и смело, что он сам написал их? Что же он делает?! Саша чувствовал, что еще



мгновение, и он не справится с собой, крикнет в лицо Валерию, человеку, которого он привык считать своим другом, гневные, беспощадные слова. Но что-то его останавливало, он сам не мог еще понять что. Все в нем негодовало, кипело, но он сидел с виду спокойный и невозмутимый. И чем больше смирял самого себя, оттягивая самую страшную минуту, тем настойчивее закрадывалась в его сознание мысль о том, что не только Валерий, но и он, Саша, совершает что-то такое, что недостойно настоящего человека.

Валерий, конечно, не мог и догадываться, что творилось сейчас с Сашей. Он читал еще увереннее, и голос его приобрел мелодичность, стал чистым и звонким:

Когда б не бой, не вечные исканья  
крутых путей к последней высоте,  
мы б сохранились в бронзовых  
ваяньях,  
в столбцах газет, в набросках  
на холсте.

А Саша слушал и мучительно спрашивал себя: почему Гранат думал обо всем этом именно в то время, когда они катили по снегу гаубицы и открыли огонь. Почему? И ждал, с нетерпением ждал, когда Валерий прочитает последнюю строчку и, улыбаясь своей обаятельной, так и рвущейся наружу улыбкой, тихо и застенчиво скажет:

— Ну вот и все. А теперь мне остается добавить, что стихи эти написал не я. Был у нас замечательный фронтовой поэт с оригинальной фамилией — Гранат... И сам он был человеком необыкновенным...

И начнет рассказывать о Гранате, о том, что такого человека, как он, нельзя не любить.

Да, сейчас все так и будет. Не надо волноваться и переживать. Не надо сомневаться в своем друге. Не надо! Ведь он читает, наверное, последнюю строфу:

Мы шли вперед, и падали, и, еле  
в обмотках грубых ноги волоча,  
мы видели, как жепщины глядели  
на нашего шального трубача.  
А он трубил...\*

— Это настоящие стихи! — воскликнул Бельский, возмущенно и как-то совершенно по-новому глядя прямо в глаза Валерию.

---

\* Стихотворение Николая Майорова «Мы».

— А при чем здесь училище? — недоуменно спросил Вишняков.

— Это стихи о нашей юности, — возразил Бельский. Он горячился и доказывал, словно защищал свои собственные стихи. — Неужели ты не чувствуешь?

«О чем они говорят? — напряженно думал Саша. — Ведь вовсе не об этом нужно сейчас говорить».

— Да, задал нам Крапивин задачу, — сказал Обухов. — Его стихи, конечно, сильнее. Как говорится, чувства и мысли переведены на язык поэзии. Как же будем решать?

— Я — за стихи Бельского, — уступчиво сказал Валерий. — И пусть мое мнение никого не удивляет. Я их критиковал, но для песни, именно для песни об училище они больше подходят. Кроме того, у них маршевый ритм. А стихи, которые вы слышали, я прочитал для сопоставления.

И песня Бельского стала песней училища.

Саша долго решал и никак не мог решить, что ему сделать. Рассказать обо всем комиссару? Или напрямую поговорить с Валерием? А если он скажет, что стихи его? Какие есть доказательства? Может, и впрямь лишь первая строчка совпала с той, что родилась в голове у Граната? Потеряв блокнот Граната, Саша допустил непоправимую оплошность. Да, он очень виноват. Виноват перед памятью Граната, перед людьми, перед самим собой. И оправдывать себя он не имеет права. Не имеет права искать оправдания Валерию. Как мог Валерий пойти на такой шаг? Вот самый главный вопрос. Нет, конечно, дело тут не в одной строчке. Но почему он так поступил? Неужели он совсем не такой человек, каким Саша привык считать его?

В один из вечеров Саша перед самым закатом солнца бродил по берегу Томи. Почти все курсанты ушли на концерт ленинградских артистов, а ему захотелось побыть в одиночестве. Под ногами шуршала вымытая рекой галька. Еще издали Саша увидел, что на бревнах, подле самой воды, сидит человек с удочкой. Хорошо была видна его яркая тубетейка и конец удилица. Саше захотелось хоть полчаса посидеть с удочкой, пока солнце не опустится в самую глубину тяжелой воды. Он не выдержал, подошел поближе, тихонько полез по скользким бревнам. Человек в тубетейке сразу же обернулся.

Это был Обухов. Опустив босые ноги в воду, он сидел на конце бревна.

— Ключет, товарищ комиссар? — громко спросил Саша, выпрямляясь, и едва не соскользнул в воду.

Обухов знаками показал Саше, чтобы он вел себя тихо. Саша приблизился к нему почти вплотную и тотчас забегал глазами по воде, ища поплавок.

— Бери вторую удочку, — шепотом сказал Обухов.

Саша тут же воспользовался приглашением. Оба молчали и неподвижно сидели на бревне, не сводя глаз с поплавков.

Постепенно потухал солнечный пожар, воспламенивший ели на противоположном скалистом берегу. В складки кряжей, в синюю гущу кустов пряталось красное зарево заката. Вспыхнувшее у самого горизонта небо тускнело. Мглистые тени неслышно опустились на воду. Остро пахло хвоей, свежей рыбой и мокрой древесной корой.

Рыба ловилась плохо. Взглянув на часы, Обухов присвистнул.

— Регламент-то истек. А результат — ноль.

— Ветер, — сказал Саша.

— Правильно, дорогой мой, вали на ветер. Место неудачное, насадка не та, солнце красное. Вали на них! Хороший рыболов никогда себя не обвинит, верно?

Они смотали удочки. Обухов вынул табакерку из карельской березы, до отказа набитую легким пахучим табаком, перемешанным для крепости с махоркой, предложил Саше.

— А что это ты сегодня один, без Валерия? — спросил комиссар. — Вы же такие неразлучные друзья.

Саша нахмурился. Он собрался было тут же рассказать Обухову о стихах Граната, о своих сомнениях, но снова что-то очень сильное — то ли страх перед тем, что он подведет своего друга и того замучает совесть, то ли, не зная еще, как доказать, что стихи написаны не Валерием, а Гранатом, — удержало его и на этот раз.

— Он ушел на концерт, — ответил Саша. — А я не захотел.

— На концерт не захотел?

— Нет. С ним вместе,

— С другом?

— Да, с другом, — задумчиво произнес Саша и вдруг выпалил зло и с отчаянием: — А вот с ним я бы не пошел в разведку!

— Вот оно что? — удивился Обухов. — Повздорили?

— Нет, не повздорили.

— Так в чем же дело?

— Просто так, — уклончиво ответил Саша. — Вероятно, у каждого в жизни бывает так: видишь человека поновому.

— А ты, оказывается, философ, да еще и дипломат, — засмеялся Обухов, раскуривая самодельную папироску. — Не бойся, я ведь не собираюсь тебя допрашивать. Но сказать о друге то, что сказал ты, это, дорогой мой, нужно быть убежденным в своей правоте до высших пределов. А юность обычно горяча, необузданна и склонна к самым противоречивым оценкам.

— Тут дело не в возрасте.

— А в чем же? Насколько мне известно, Валерий неплохо воевал. Федоров отзывался о нем хорошо. Да и ты тоже.

— Возможно, я ошибаюсь, — неуверенно сказал Саша. Ему хотелось побыстрее закончить этот неприятный разговор. Он уже мысленно ругал себя за то, что в отсутствии Валерия сказал о нем комиссару, как о человеке, которому не может доверять.

— Газеты сегодня читал? — спросил Обухов. — Нет? Да как же ты, в таком случае, живешь на белом свете, дровина ты этакий? — Обухов любил такие словечки, но применял их так ловко, что в его устах они звучали дружески, теряя свой обидный оттенок.

Он вынул свернутую трубкой газету и подал Саше.

— Пойдем ко мне. Здесь не прочитаешь — темно.

Они пошли в гору, к лагерю. Тут, среди высоких старых деревьев, стоял маленький фанерный домик, в котором жил Обухов. В домике тускло горела электрическая лампочка.

Саша развернул газету. Как и всегда, в глаза бросился знакомый до каждой буковки заголовок «От Советского информбюро». В сообщении кратко говорилось о действиях партизан в районе Синегорска.

— Вот, дорогой мой, какие дела, — сказал Обухов, свернув новую папиросу.

— Здорово, — сказал Саша с трудом, словно его кто-то схватил за горло. — Наших ребят, наверное, там немало.

— А что удивительного? Я уж подумал, может, и Андрей.

— Может, конечно, может, — обрадованно повторил Саша.

Он задумался. Хотелось сказать о Жене. Поразмыслив, он вдруг вынул из кармана гимнастерки фотографию, отдал комиссару. Обухов бережно взял карточку, поднес ее ближе к свету. С фотографии жизнерадостно и задорно смеялась Женья.

— Знакомая девушка, — сказал Обухов.

— Вы знаете ее?

— Да. Видел однажды.

И что вы думаете о ней?

Чтобы сделать вывод о человеке, нужно знать его, — уклонился от ответа Обухов. — Она, что же, всем такие карточки дарила? У моего Андрея точно такая же.

— Мне не дарила, — поспешил заверить Саша и опустил голову. — Я сам взял. Тайком.

Ему вдруг захотелось выскочить за дверь.

— Любишь ее?

— Да, — признался Саша.

— Это прекрасно, — сказал Обухов. — Это даже в бою помогает.

— А она, кажется, нет, — тихо добавил Саша, словно ища у Обухова поддержки.

— «Кажется» — это не то слово, — обрушился на него Обухов. — Ты, дорогой мой, сверх меры начинен сомнениями. Ты проверь, убедись, изучи человека, а уж тогда — рсшай твердо, действуй смело. А будешь всю жизнь оставаться один на один со своими сомнениями — они тебя заживо съедят. Понял меня?

— Понял.

— Понять — это уже сделать первый шаг. Нужно не только мечтать, надеяться, верить — нужно бороться за свои мечты, за то, чтобы сбылись надежды, за свою веру. Согласен?

— Да, — повторил Саша, — согласен.

— Если ты человек — борись. В счастье людей пай-дешь и свое.

Они помолчали.

— А тебе признаюсь, — с чувством острой тоски вдруг сказал Обухов. — Не смогу здесь долго. Только на фронт. Там быстрее встречу с Андрюшкой. Но это — между нами, — полушутя, полусерьезно предупредил он.

— Да, — растерянно сказал Саша. — Между нами.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В воскресенье Саша получил увольнительную. Еще накануне Обухов звал его рыбалить на дальних озерах, но Саша не поехал. Ему хотелось усовершенствовать один из способов глазомерной подготовки данных для артиллерийской стрельбы. Способ, придуманный Сашей, не ломал полностью существующего, но зато значительно упрощал его, не снижая точности пристрелочных данных.

Саша зашел в палатку, вытащил из-под подушки полевую сумку, в которой хранились общая тетрадь, исписанная мелкими, плотно прижатыми друг к дружке строчками, линейка, циркуль и другие принадлежности, полученные им на складе учебных пособий. В палатке было тихо, уютно, тянуло прилечь на постель, но Саша отправился в рошу.

Березовая роща раскинулась сразу же за артпарком. Саша прилег у невысокой березки и принялся за дело.

Но долго ему работать не пришлось. Совсем поблизости раздались громкие голоса, девичий смех, и на полянку вышли двое — высокий узкогрудый солдат и полная толстоногая девушка в военной форме.

— Вот человек, который не понимает, что жизнь не повторится, — громко, чуть шепелявя, сказал солдат, кивая на Сашу.

Девушка взвизгнула от восторга. Саша молчал.

— Так это же Архимед, — не унимался узкогрудый. — Ленка, не мешай ему своим примитивным смехом. Он ищет точку опоры.

Ленка снова взвизгнула.

— В чем дело? — не выдержав, возмущился Саша. — Идите своей дорогой.

Ленка подмигнула солдату, сняла пилотку и решительно сунула ее под ремень. Небольшая толстая коса тут же тяжело упала на ее широкую сутуловатую спину. Ленка игриво подкралась к Саше на носках и заглянула к не-

му в тетрадь. Саша прикрыл исписанную страницу ладонью.

— Понимаю,— голос Ленки звенел, как колокольчик.— Конспект любимой. Но зачем же так много формул? Мы, девчата, не очень-то их любим. Ну, любимая подождет, а у нас есть дела поважнее. Большущая просьба. — Ленка так смешно протянула слово «большущая», что Саша едва сдержал себя, чтобы не улыбнуться. — Мы не можем вытащить лодку. Там, на берегу, — она махнула пухлой рукой в сторону реки. — Помогите, пожалуйста, и покатаемся вместе.

Саша помрачнел.

— Ну что же вы? — не отставала Ленка. — Даже в уставе записано, что надо помогать товарищу словом и делом.

— Вы прекрасно знаете устав, — сердито отозвался Саша, засовывая в полевую сумку тетрадь.

— Ой, какой вы сговорчивый, прямо не ожидала! — восхищенно вскрикнула Ленка, не сводя с Саши наивных, как у маленькой девочки, глаз.

— Будем знакомы. Игорь, — протянул руку узкогрудый, бросив ревнивый взгляд на Ленку. Ладонь его была холодная и чуть влажная. — Мы с тобой соседи. Наши палатки слева.

— Знаю, — сказал Саша.

Лицо у Игоря было длинное и худое, и весь он был жилистый и скользкий. Что-то отталкивающее и вместе с тем привлекательное удивительно совмещалось в его насмешливом и гордом взгляде, в очертании больших жадных губ.

— Где лодка? — нетерпеливо спросил Саша. — Пошли скорее. Мне некогда.

— Совсем рядом! — искренним тоном заверила Ленка и, немного помолчав, добавила: — Вот уж Анюта обрадуется!

— Перестань, — грубо оборвал ее Игорь.

Дорога к реке шла едва заметной старой просекой. От неприметных в траве пеньков тянулись кверху молодые хлипкие побеги. Саша споткнулся о них и едва не упал. Это вызвало у Ленки новый приступ смеха.

Саша ругал себя последними словами за то, что так плохо укрылся от посторонних глаз, и в результате двое этих чудаков свалились на него как снег на голову.

Он торопился поскорее выполнить их просьбу и сбегать.

На реке ветер чувствовал себя полным хозяином. Гудели косматые шапки одиноких сосен. Потемневшие разрозненные облака суетливо ползли по неласковому небу. Тени невесомо и стремительно стлались по синеватой воде. В тех местах, где ветру удавалось особенно жаднолизнуть воду, тотчас же появлялся сердитый вспененный барашек.

Они прошли по берегу, усыпанному сухой хрусткой галькой, обогнули подступившую почти к самому урезу воды скалу, и тут Саша остановился в изумлении.

На стволе старой сосны сидела стройная, гибкая девушка и пристально смотрела на красные скалы противоположного берега. Очень светлые волосы покрыли ей плечи. «Белянка», — подумал Саша.

— Товарищ Анна! — по-строевому четко подошла к девушке Ленка. Камешки так и брызнули в стороны из-под ее ног, обутых в щеголеватые кирзовые сапожки с короткими блестящими голенищами. — Твое приказание выполнила: помощник есть. Сейчас лодка будет на берегу.

Девушка молча посмотрела на Сашу, брови ее взметнулись радостно и удивленно, но в глазах застыл все тот же пугающий, отсутствующий взгляд. Казалось, она ощущала острую боль, силилась крикнуть — и не могла. Саше стало не по себе.

— Хочу, чтобы ты смеялась! Слышишь? — затормозила ее Ленка.

— Трудно понять девчонок, — пренебрежительно сказал Игорь, кривя влажные губы. — То ревут, то хохочут до одури. Ты куришь?

Саша отрицательно качнул головой.

— Зря, — равнодушно процедил Игорь. — Солдату без курева крышка. И не пьешь?

— На фронте приходилось. По сто граммов.

— А сейчас выпьешь? — Игорь ловко выхватил из кармана заткнутую тугой бумажной пробкой бутылку без этикетки.

— Что это? — спросил Саша.

— Наивный вопрос! — воскликнул Игорь. — Спирт. Оптику протираем. Девчата, ко мне, — позвал он, — выдаю фронтовую норму. Перед водолазными работами по поднятию затонувшего корабля.



Ленка тут же подскочила к нему. Анна уселась на самое удобное и опустила ноги в воду.

Игорь налил спирт в маленький стаканчик, протянул Ленке. Та выпила, слегка поморщилась и пухлой ладошкой вытерла яркий рот.

— За доставку на дом — дороже, — весело сказал Игорь и подошел к Анне.

Она украдкой взглянула на Сашу, как бы стараясь увидеть, одобряет он ее или порицает. Потом стремительно схватила стаканчик и, отвернувшись, осушила его.

— Остальное наше, — довольным тоном заявил Игорь, вернувшись к Саше. — Как раз на два приема.

— Закусить нечем?

— Воздухом! — хохотнул Игорь. — Ты видал, как девчата пьют? Закусить!

Они выпили. Спирт был противный, теплый.

— Где же лодка? — спросил Саша. Его передергивало от выпитого спирта.

— За работу! — гаркнул Игорь. Он никак не мог прикурить: ветер гасил спичку.

— Анюта говорит, что лодка никуда не годится, — разочарованно сообщила Ленка. — Она лазила в воду. В лодке громадная пробойна.

— Все ясно, — обрадовался Саша. — Спасибо за угощение. Я пошел.

Он поспешно протянул руку Игорю, Ленке, кивнул Анне и, не оглядываясь, двинулся вдоль берега.

— Стойте! — вдруг услышал он позади себя тревожный голос.

Саша обернулся. Перед ним стояла Анна. Она словно прилетела на крыльях, даже хруста гальки не было слышно. Все так же печально и настороженно смотрела она на него.

— Хотите — вплавь? — решительно спросила она.

— На ту сторону?

— Да, — твердо и нетерпеливо ответила она. — Наперегонки.

— Зачем?

— А я загадала: переплыву — буду счастливой.

— А вы не боитесь? — осмелев, спросил он. — Здесь, пожалуй, не меньше двухсот метров.

Она ничего не ответила и поднялась на камень, возвышавшийся над водой.

— Ты что придумала? — рассердилась Ленка.

— Пусть плывет, — мрачно сказал Игорь. — Такую реку перемахнуть ничего не стоит. Я бы — запросто. Но еще не сошел с ума. Мне и здесь неплохо.

Анна на миг обернулась к Саше, и что-то похожее на улыбку вспыхнуло на ее лице и тут же погасло. Она чуть согнула колени. Казалось, ступни ее ног слились с камнем, поросшим зеленоватым мхом. Наклонившись вперед, она прыгнула в воду и поплыла, перерезая реку наискосок.

«Нет, я докажу тебе, что мне вовсе не страшно», — сказал себе Саша. Он сбросил гимнастерку, сапоги, брюки, вскочил на тот самый камень, с которого прыгнула Анна, и полетел вниз.

Вода обожгла его пронизывающим холодом, но он не обращал на это внимания: впереди виднелась чуть приподнятая над кипящей водой светлая голова Анны.

Саша изо всех сил старался настичь Анну. Но сильное, тяжелое течение сносило его.

— Вернись, Анька, вернись! — пересиливая свист ветра, кричала с берега Ленка.

Она кричала еще что-то, что — Саша не мог слышать. Шум воды, разбивавшейся о каменные громады за поворотом реки, и шум ветра слились воедино. С крутого берега впереди бесстрастно смотрелись в воду безмолвные скалы.

Саша напряг все силы и, догнав Анну, поплыл рядом. Их тела неожиданно соприкоснулись. Анна с силой оттолкнула Сашу и, нырнув, исчезла в воде. Саша нырнул вслед за ней, раскрыл на глубине глаза, но, кроме зеленоватого дна и прозрачной воды, ничего не увидел. Он проплыл немного под водой и поднялся на поверхность. Анна уже, чуть пошатываясь, выходила на прибрежные камни. Не ожидая Сашу, она полезла по ним, поднимаясь все выше и выше, изредка хватаясь за длинные ветви колючих кустарников.

Саша вылез из воды и, тяжело дыша, как зачарованный, смотрел на нее, любуясь ее ловкими и точными движениями. А она уже стояла на самом верху, там, где бужевали на ветру живые кудри черемухи.

— Какое чудо! — донесся до Саши ее напевный голос.

Она не звала его, но Саша, сам еще не понимая, правильно и хорошо ли он поступает, полез наверх. Кое-где на мху, на влажном песке, на примятой траве он видел

следы ее маленьких босых ног. Ему хотелось увидеть еще хотя бы один след, и он поднимался все выше и выше, удивляясь, что до сих пор не сорвался и не полетел в реку.

Наверху Анны не было. Саша обыскал все камни, но не нашел ее. Тогда он углубился в заросли черемухи, прошел несколько шагов по колкой горячей земле. На небольшой полянке в высокой траве сидела Анна. Белые снежинки черемухи сыпались ей на лицо. Она закинула руки за голову, тесно прижав друг к дружке согнутые в коленях длинные красивые ноги, и неотрывно смотрела в небо. Анна шумно дышала, приоткрыв маленький рот, и при каждом вдохе под мокрым купальным костюмом резко и рельефно обозначались крепкие груди.

«Белянка», — снова подумал Саша.

Саша приподнял ветку черемухи и опустился на траву.

— Мне холодно, — прошептала она, высвобождая из-под головы руки, покрытые золотистым пушком.

Едва он прикоснулся к ней, как все, кроме этого прикосновения, исчезло для Саши: и песня ветра, и говор трав, и звенящий голос реки, и горьковатый запах черемухи. Саша быстро и жадно целовал Анну. Он забыл про все, что окружало их, — жаркое солнце, птиц, падавших с высоты, клочковатые облака, черемуху. И лишь когда словно пробудился от удивительного, таинственного сна, понял, что отныне стал другим, новым человеком.

— Сегодня мой день рождения, Саша, — вдруг услышал он тихий, но полный неясного тревожного счастья голос Анны. — Двадцать лет. Никто не знает об этом. Только я. А теперь — и ты.

Она сидела не шевелясь.

— Я смотрела в небо, — продолжала Анна, не выпуская его руки. — Все было мое и для меня. И небо, и звезды, которые зажгутся ночью. Хорошо бы остаться здесь. Навсегда.

Саша молчал. Ему хотелось, чтобы она говорила и говорила.

— Я плыла сюда, и мне казалось, что скалы улыбаются. И только здесь я почувствовала, что я — человек.

— Только здесь?

— Да, только здесь, — упрямо повторила Анна. — Когда я сбрасываю солдатские сапоги, гимнастерку, всю эту

грубую, тяжелую форму, я начинаю сознавать, что я — человек.

— Ты хотела бы сидеть в окопе в туфельках? — неожиданно резко спросил Саша. — И целоваться вместо того, чтобы стрелять?

— Да! — мечтательно и беззлобно ответила Анна. — И не боюсь сознаться в этом. Я ненавижу ее!

— Кого? — встрепенулся Саша, пораженный силой ее мгновенно вспыхнувшего гнева.

— Войну! — крикнула она, и где-то в нагроможденных друг на друга скалах тут же откликнулось приглушенное ветром эхо. Внизу осторожно и таинственно прогудел старый буксир.

— Ты боишься? — не смея повернуться к ней, спросил Саша.

— Боюсь, — тихо призналась Анна. — Я не хочу, чтобы меня убили. Я хочу любить, встречать солнце, рожать детей.

— Пусть другие гибнут? — спросил Саша и тут же подумал: «Как просто и бесхитростно она обо всем говорит. Рожать детей... Она сказала об этом, как о чем-то совершенно естественном, без чувства стыда. Но при чем здесь чувство стыда? Разве в этом стыд? Разве в этом и совсем не в другом, в том, что действительно стыдно?»

— Не надо, чтобы погибали люди, — сквозь свои думы услышал Саша.

Она замолчала надолго и внезапно спросила:

— А ты уже любил?

Вопрос застал Сашу врасплох, но он сказал правду:

— Да. Любил.

Анна встрепенулась, порывисто вскочила на ноги.

— Я несчастливая.

— Почему ты так говоришь? Не надо.

— Не успокаивай. И не жалея.

Она как-то странно взглянула на него, будто боялась потерять его навсегда, и уже спокойно и равнодушно сказала:

— Пойдем. Нас ждут.

Река немного притихла. Саша заранее представил себе, как он выйдет на берег и как Ленка и Игорь сразу же начнут их разыгрывать. Он уже слышал их насмешки.

Но все вышло не так, как он представлял. Когда они, тяжело дыша, вышли, наконец, из воды, Игорь как ни в

чем не бывало раскуривал папироску и, прищуривая бесцветные глаза, сказал:

— Пловцы из вас плевые. Скорость черепахи. Неохота раздеваться, а то я показал бы вам, как надо плавать.

А Ленка, собирая в букет крупные ромашки, звенела чистым переливчатым голоском:

Скромненький синий платочек  
Падал с опущенных плеч...

Она оборвала песню, засмеялась и радостно сказала:

— Молодцы! Быстро вернулись.

На обратном пути все молчали. Каждый думал о своем. И только когда выходили из рощи, направляясь к лагерю, Ленка, вся сияя от переполнявшего ее счастья, воскликнула:

— Анька, какие у тебя глаза веселые!

У артпарка Саша почти лицом к лицу столкнулся с неведомо откуда появившимся на дороге Валерием. Тот остолбенело посмотрел на Сашу, обвел всех недоуменным, недружелюбным взглядом и растерянно пробормотал:

— Я тебя везде ищу. Комбат вызывает.

— Вызывает? — торопливо переспросил Саша.

— Приходи в батальон связи, — успела шепнуть ему Ленка.

Саша слегка кивнул Анне. Она снова была печальна.

Валерий зашагал рядом с Сашей, изредка оглядываясь назад.

— Вот уж не думал, — тоном старшего начал выговаривать он. — Такие клятвы в любви к Жене. Чистое, святое чувство. И вдруг...

— Что вдруг? — тихо, но с гневом спросил Саша.

А у тебя есть что-нибудь святое?

— Ты о чем? — медленно и обиженно спросил Валерий.

— О стихах.

— Ничего не понимаю.

— И о Гранате.

— При чем здесь Гранат?

— А скажи, Валерий, — сдерживая закипавшее волнение, спросил Саша, — когда ты написал те стихи?

— Какие?

— Очень хорошо помню первую строчку: «Мы были высоки, русоволосы».

Саша очень долго готовился к этому разговору. Он то откладывал его, то готов был немедленно бросить в лицо Валерию гневное обвинение. Мысленно часто рисовал картину словесной дуэли, которая должна неминуемо произойти, задавал Валерию вопросы и слышал его ответы. И спрашивал себя, почему медлит, почему заставляет себя смириться с тем, что произошло. И каждый раз приходил к выводу о том, что больше всего на свете боится потерять друга, с которым связала его судьба. Потерять друга... Разве мало уже он потерял? А ведь жизнь только начинается, и дорога длинна.

Валерий внимательно посмотрел на Сашу. Весь вид его говорил о том, что его нисколько не удивляют слова Саши и что он уже давно ждал, когда тот задаст ему именно этот, а не какой-нибудь другой вопрос.

— Стихи, о которых ты спрашиваешь, я написал перед самой войной.

— Их написал Грапат.

— Ты с ума сошел!

— Тебе можно верить?

— Как хочешь. Мои слова могла бы подтвердить Женя.

— Женя?

— Да. Я читал их ей. В тот вечер, когда провожал домой.

Саша низко опустил голову. Ему не хотелось смотреть в лицо Валерию.

— Напрасно переживаешь, — мягко сказал Валерий. — Я не соперник. Да и Женя, пожалуй, не та, за кого ты ее принимаешь.

— Не надо, — не оборачиваясь, тихо попросил Саша. — Не надо говорить о ней.

Он быстрыми, твердыми шагами вернулся к Валерию и, глядя ему в глаза, сказал:

— Уверен, если она осталась в Синегорске...

— Понятно, — усмехнулся Валерий, — ты возомнил, что она героиня.

— Женя может наделать немало ошибок, но у нее чистая душа.

— Ты хорошо знаешь, что она переписывалась с Андреем. Скажи мне... только не сердись, если мой вопрос заденет уж чересчур личную сферу. Скажи как другу, к чему этот фанатизм? Любить, зная, что тебя не любят?

— Все очень просто, Валерий, — ответил Саша, зная, что ему не уйти от этого вопроса. — Не могу наплевать себе в душу.

— И эта любовь будет преследовать тебя всю жизнь?

— Не знаю. Сейчас Женя со мной. И я не могу любить других.

— Слова. А эта деваха из батальона связи? Кажется, Анна? Ты целовал ее?

— Целовал.

— И еще одно, дружище, — Валерий подсел ближе к Саше. — Андрей — сын Обухова. Казалось бы, чувство неприязни, которое ты питаешь к Андрею...

— Ты ошибаешься, — перебил его Саша.

— Не надо меня разубеждать, — мягко, но настойчиво возразил Валерий. — Я знаю, что такое благородство. Но не следует в него играть. Ты скажешь, что у тебя к Андрею самые лучшие, светлые чувства...

— Андрей достоин ее.

Услышав эти слова, Валерий едва не сказал, что вовсе не Андрей, а он, Валерий, достоин того, чтобы его любила Женя, и что она действительно любит его. Но настойчивым усилием воли он заставил себя сказать другое.

— Ты слишком прямолинеен, Саша. Пойми, человек должен быть самобытным. Я веду речь не о причудах. Но незаурядный человек всегда отличен от других своим, особым пониманием мира. Отношением к людям. И даже к самому себе. Он не укладывается в обычные рамки. Если ты становишься похожим на всех и мыслишь, как все, — ты близок к примитиву. Ты пройдешь по жизни незаметно, и никто не взглянет на тебя. Откуда людям знать, что у тебя в душе? Какое им дело до того, что в твоей голове кипят мысли, а сердце горит огнем? Ты покажи все это, чтобы я мог увидеть, ощутить, пощупать, в конце концов.

— Нет, — убежденно сказал Саша. — Нужно быть самим собой.

Изредка поглядывая на хмурого Валерия, Саша думал о том, что разговор, который его так волновал, не получился. Впрочем, Валерий все объяснил. К чему же еще сомневаться? Все к лучшему. Иначе они шли бы сейчас не как друзья, а как враги. Но почему, почему все-таки такое совпадение: стихи Граната и стихи Валерия? Или он, Саша, что-то перепутал? Все могло быть. Ведь шел бой...

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вся ночь накануне стрельб ушла на инженерные работы. К рассвету нужно было все зарыть в землю: орудия, линии связи, походные кухни, рации. Все знали, что утром с высоток, где засел «противник», посмотрит в стереотрубу генерал и придирчиво оценит маскировку.

Стрельбы были необычные. Курсантам предстояло держать экзамен на зрелость и мастерство.

Валерий пошел искать командира взвода. Он долго брел в темноте, натыкаясь на пни. В ночи настороженно ржали кони. Скупые капли дождя изредка попадали на лицо. Он присел отдохнуть под густой куст.

Да, учеба в училище пролетела молниеносно. А фронт все грохочет, подкатился к Волге. Скоро придется покинуть мирный полигон, и снова слепая случайность будет решать за него, Валерия, самый страшный вопрос: жить или погибнуть. Совсем недавно кто-то пустил слух, что Сашу после выпуска хотят оставить в училище на должности командира курсантского взвода. Эта новость резанула Валерия по самому сердцу.

«Впрочем, еще рано волноваться, — успокаивал себя Валерий. — Я стреляю не хуже его, команду отделением, на хорошем счету. Могут оставить не его, а меня».

«Оставить? Не его, а тебя?» — вдруг почудился Валерию голос Граната, и он испуганно выскочил из своего укрытия.

Он снова начал терзать себя мыслями о том, почему Саша стал относиться к нему совсем иначе. Они продолжали часто бывать вместе, но Валерий не мог не чувствовать холодка отчуждения, который появился у Саши. И почему он спросил об этих стихах? Не мог же он спросить об этом просто так, случайно? Или мог? Нет, нельзя допустить, чтобы разрушилась их дружба. Иначе совсем трудно станет жить на свете...

Ранним утром Сашу вызвали на наблюдательный пункт. Взмолвленно, но четко он доложил генералу Гусakovскому, что готов выполнять боевую задачу.

— Цель номер одиннадцать, — отрывисто произнес генерал.

На наблюдательном пункте переглянулись. Задача была не из легких: разрушить дзот. Это не то, что подавить пулемет или орудие. Тут требовались прямые попадания.



— Цель понял и вижу, — доложил Саша.

Генерал резко нажал на кнопку секундомера. Стрелка помчалась по циферблату. Саша стремительно переписал на планшет показания буссоли и начал высчитывать угломер, уровень, прицел. Ум работал ясно и напряженно. Готово! Генерал одобрительно кивнул головой.

— Стрелять первому оружию! — внешне спокойно командовал Саша, хотя внутри у него все кипело от волнения. — По дзоту, дальнобойной гранатой, взрыватель фугасный... — Длинная команда, повторявшаяся до этого сотни раз на учебных стрельбах и тренажах, приевшаяся до оскомины, сейчас, казалось, произносилась впервые в жизни. Слова «угломер», «уровень», «прицел» стали теперь весомыми, словно принимали на себя всю ответственность за точность стрельбы.

Прошло не больше секунды после того, как Саша произнес последнее слово команды, и вот уже где-то в вышине с шумом, напоминающим сердитое шуршание жухлых осенних листьев, пронесся первый снаряд.

Валерий, находившийся в это самое время на огневой позиции, принимал команды с раздвоенным чувством. Он был убежден, что Саша отлично справится со сложной стрельбой, но все же смутная надежда на то, что какая-нибудь непредвиденная случайность помешает Саше занять первое место, не покидала его.

Оружие вело огонь все интенсивнее, восьмиделенная вилка сменилась четырехделенной и затем двухделенной. Снаряды неумолимо приближались к цели.

После каждого выстрела Валерий подбегал к оружию и контролировал точность установок наводчика, совсем еще молоденького курсанта с круглым, как мяч, лицом. Придраться было не к чему, и Валерий с разочарованным видом отходил на свое место.

«Сейчас начнем беглый огонь, — думал он, — и отличная оценка у Саши в кармане».

Но тут он услышал голос связиста:

— Стой! Записать! Цель номер одиннадцать — дзот!

«Неужели все? Не может быть, наверное, генерал даст Саше еще какое-нибудь задание».

Предположение Валерия оправдалось. Через минуту связист передал:

— Левее один сорок, прицел восемь шесть, один снаряд, огонь!

«Перенос! — обрадовался Валерий. — Генерал проверяет, умеет ли Саша маневрировать огнем».

Он не ошибался. Гусаковский был очень доволен пристрелкой и решил дать Саше еще одну задачу. Для этого он разрешил ему выпустить пять лишних снарядов. Это была своеобразная премия за мастерство: генерал любил красивую, точную стрельбу.

Валерий снова подошел к орудию. Насупленный взгляд его быстро скользнул по угломерному кольцу панорамы, по барабану прицела. Так же быстро он приник к окуляру панорамы и вдруг возле самого сердца ощутил снежный холодок: точка наводки не совмещалась с перекрестием. «Сказать наводчику? Поправить самому? А что, если... Нет, это невозможно. Ну, а если ты просто не заметил? Разве ты не мог не заметить? Да что ты себя убеждаешь? В чем? Ты и так не заметил, неужели это тебе непонятно? И, в конце концов, есть наводчик. Вот этот самый, что стоит с таким восторженным взглядом, будто ему сейчас вручат награду за уничтожение фашистского танка. Молоденький несмышлениш с пухлыми щеками, которые, видно, совсем недавно целовала мамаша. Какой с него спрос? Да, ничего не было, совсем ничего не было. Все хорошо, все идет так, как и должно идти. Но нет, сейчас, именно сейчас нужно поступить иначе, нужно помочь Саше, нужно доказать, что я был и остаюсь его другом. Это необходимо, это дороже, чем все остальное».

— Наводчик! — крикнул Валерий. — Куда вы смотрите, черт вас побери?

— В чем дело, Крапивин? — тут же спросил старший на батарее. — Почему медлите?

— Товарищ лейтенант, — четко отрапортовал Валерий, — наводчик допустил ошибку.

Лейтенант Курилов, недавний выпускник училища, старавшийся все время быть серьезным и озабоченным, быстро подошел к гаубице. Щеки наводчика вспыхнули ярким пламенем.

— Да-а-а, — протяжно сказал Курилов, посмотрев в панораму. — Так можно запросто подложить стреляющему самую обыкновенную свинью.

Курсант быстро исправил наводку, волнуясь, доложил о готовности.

Гаубица рывкнула. Стрельба продолжалась.

После того как Саша отстрелялся, наступил небольшой перерыв.

— Хорошо, что вы вовремя заметили, — сказал Курилов Валерию, — иначе после такой отличной запевки была бы испорчена вся песня.

Стрелял мой лучший друг, товарищ лейтенант, — проникновенно произнес Валерий. — Фронтовой.

Курилов одобрительно кивнул головой и отошел. Позади Валерия хрустнула ветка. Он обернулся. Почти рядом с ним стояла Анна. Глаза ее были печальны и жалки.

— Он уже отстрелялся? — тихо и смущенно спросила она.

— Кто? — нахмурился Валерий.

— Саша.

— Да! — вдруг недружелюбно сказал Валерий. — Отстрелялся! Ну и что? Тебе-то какое дело? Что ты ходишь за ним по пятам? Что?

— Дурак, — почти ласково сказала Анна. — Дурак, если ты даже этого не можешь понять.

— А ты умная? Он любит другую. Слышишь, другую!

— Он будет любить меня. Будет! Понятно?

Анна озорно сбросила с головы Валерия пилотку, потрепала его за вихор и неторопливо, с гордым, независимым видом пошла прочь.

После того как батарея вернулась с боевых стрельб, Валерий рассказал об этом разговоре Саше и предложил сходить в батальон связи. Саша согласился.

— Только прошу тебя, не говори мне больше о вечной любви, — засмеялся Валерий.

— Я иду, чтобы попрощаться, — задумчиво сказал Саша.

— Верная мысль, — одобрил Валерий. — Тем более что скоро уже на фронт, и если там доведется целоваться, так только с землей во время обстрела.

Они отправились в батальон. Миновав целый поселок фанерных, похожих на игрушечные, домиков, они вышли на боковую линейку и очутились на чистой ровной поляне. Девушки-связистки занимались строевой подготовкой. Они выстроились в две шеренги. Пилотки чудом держались на пышных волосах, глаза светились озорством, лукавством и нетерпеливым желанием побыстрее разделаться

ся с нудными и однообразными строевыми упражнениями.

Саша не впервые видел строй девушек в военной форме, но всякий раз ему казалось, что и форма, которая так ладно сидит на мужчинах, и весь этот строгий уставной порядок, и резкие, не допускающие возражений команды, — все это не для девчат.

Перед строем неторопливо и грузно прохаживался невысокий, крепкий в плечах и коротконогий старшина. На лице его застыло мрачное, угрюмое выражение. Казалось, он проводит эти занятия лишь под страхом строжайшего наказания.

Саша и Валерий остановились неподалеку под деревом. Многие девушки их тотчас же заметили, и по рядам промчался приглушенный говорок.

— Смирно! — взревел старшина. В голосе его слышались обида и отчаяние. — Нале-е-во!

Строй выполнил команду. Раздался гулкий, вразнобой, стук каблуков.

— Горох! — заорал старшина таким тоном, будто произошло непоправимое.

Послышался едкий негромкий смехок.

— Рядовой Николаева! — грозно прошипел старшина, и Саша удивился, как это он мог так быстро определить виновника.

— Товарищ старшина! — вдруг смело обратился к нему Валерий, подходя поближе и одновременно подмигивая Саше. — Ну как вам не жалко так жестоко гонять чудесных милых девушек? От строевой подготовки они не станут более изящными.

Девчата с откровенной радостью уставились на него и притихли, ожидая грозы.

Старшина даже не обернулся. Он стоял на прежнем месте, словно его врыли в землю.

— Я хотел бы узнать ваше мнение по поводу поднятого мною вопроса, — настаивал Валерий.

— Сейчас поставлю в строй, — медленно, отделяя одно слово от другого продолжительными паузами и чуть скосив маленькие пронзительные глазки на Валерия, пообещал старшина.

— В такой строй — с удовольствием! — весело и обрадованно воскликнул Валерий.

Строй взорвался смехом.

— Шагом марш! — взревел старшина.

Девчата не были подготовлены к такой неожиданной команде. Ряды пришли в движение и смешались.

— Взять ногу! — возмутился старшина.

— Не ногу, а ножку, — вежливо поправил его Валерий. — Неужели не ясно? Представьте, что все эти чудесные девчата не в кирпичных сапогах, а в самых модных туфельках. А вместо вашего хлопчатобумажного обмундирования, которое выдал ваш пройдоха-каптер, на них — шелковые, почти прозрачные платица. Локоны — черные, как крыло скворца, белые, как молодой лен, рыжие, как вспыхнувший на солнце лисий мех. И ножки, стройные ножки, как стволы молодых березок. Неужели и в таком случае вы продолжали бы подавать свои нежные команды?

Старшина бросил на Валерия угрюмый взгляд, полный презрения и ненависти, и вдруг почти бегом потрусил к строю.

Саша от души рассмеялся. Что-то заставило его обернуться. По тропинке возле кустов, без ремня и пилотки, шла Анна. Вслед за ней медленно, нехотя двигалась высокая худая девушка. На плече у нее болтался карабин.

— Смотри. — Саша чуть подтолкнул Валерия в спину.

— Ну как я этого Квазимодо? — не понимая, о чем говорит Саша, возбужденно спросил Валерий.

Он не договорил, потому что тоже увидел Анну.

— Ну, ладно, — огорченно сказал Валерий, приветливо махнув Анне рукой. — Я посижу в сторонке. Вон под тем грибочком.

Саша видел, как Анна что-то сказала сопровождавшей ее девушке, и та, оглянувшись вокруг, утвердительно кивнула.

Дождь разошелся не на шутку. Это был веселый и чистый дождь, на задорный стук его капель радостно отзывались и листья деревьев, и горячая пыль дороги, и туго натянутая парусина палаток.

Анна подошла к Саше, и они присели на мокрые бревна. Она смотрела на Сашу открыто и смело, готовая встретиться и с усмешкой, и с неприязнью. Саше неприятно было оттого, что дождевые капли настырно лезли за воротник, а еще больше оттого, что нужно было что-то говорить, а самые подходящие слова не находились, как ни старался он их отыскать.

— Как же это? — неуклюже повернулся он к ней, боясь встретиться с ее глазами.

— О чем ты? — спокойно спросила Анна. — А, понимаю, — тут же добавила она. — Ты хочешь знать, за что я попала на гауптвахту. Но ты же все равно меня не освободишь. Десять суток. — Она подняла голову вверх, дождевые капли с листьев сыпались теперь ей прямо в глаза, но она их не закрывала, и Саше казалось, что это не капли, а слезы. — Самовольная отлучка.

— Куда же ты ходила? — настороженно спросил Саша, и смутная ревность холодком обдала его сердце.

— На полигон, — не опуская головы, ответила Анна. — Посмотреть боевые стрельбы.

— На полигон? — переспросил Саша, вдруг поняв, что скрывается за этими словами.

— И тогда, на реку, ходила самовольно. Но тогда был выговор по комсомольской линии. Я знала, что встречу с тобой.

— Не правда, — возразил Саша. — Ты не могла этого знать. Мы увиделись первый раз в жизни. Ты могла встретить другого? — торопливо спросил он.

— Нет, — радостно воскликнула она. — Я мечтала встретить тебя и встретила. Иначе не могло и быть. Я все запомнила, все... И ветер, и черемуху. И как прогудел буксир. По ночам я часто слышу этот гудок.

Анна подставляла голову под косые струи дождя, казалось, ей хочется, чтобы он лил сильнее. Она опустила ноги на землю. Дождь поспешно и жадно лизал ее голые коленки.

— Не бойся, я не стану навязываться, — вдруг жестко сказала она, по-своему истолковав его молчание. — Сейчас уйду.

Она провела ладонями по мокрому лицу, внимательно посмотрела на Сашу, и счастливое сияние ее глаз тут же погасло.

— Ухожу, — тихо сказала она, резко и решительно вставая на ноги. — Когда у вас выпуск?

— В сентябре, — ответил Саша.

— И ты уедешь на фронт?

— Да.

— Уже известно куда?

— Не совсем точно. Но скорее всего — на Волгу.

— Хорошо, — кивнула головой Анна, ее потускневшие глаза встретились с глазами Саши, и она тут же отвернулась и быстрыми шагами — по свежим лужам, по мокрой траве — пошла к своей конвоирше. Казалось, она забывала и о встрече с Сашей, и о том непродолжительном и сухом разговоре, который у них только что состоялся.

— Не уходи! — тревожно воскликнул Саша.

Анна не оглянулась.

— Ну как? — нетерпеливо спросил Валерий, когда Саша подошел к нему. — Поэма о вечной любви? Но почему ни одного поцелуя?

— Дождь, — рассеянно сказал Саша. — Какой дождь.

Валерий обнял его за мокрые плечи, и они ускорили шаг.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Осенью Саша и Валерий вместе со своими товарищами были произведены в лейтенанты и получили назначение на фронт.

Перед отъездом они зашли к Обухову. Тот сидел на походной койке и нещадно курил.

— Снова жизнь сводит вас вместе, — почему-то с грустью сказал комиссар. — Снова в бой.

— Покой нам только снится, — с чувством произнес Валерий. — Не пойму одного: как получилось, что немцы дошли до самой Волги? Плохо наши дрались.

— Хорошо дрались, — упрямо возразил Обухов. — Сегодня получил письмо из дивизии. Федоров погиб.

— Федоров?! — вскрикнул Саша.

— Вот и непробиваемая шинелка, — тихо сказал Валерий.

— Он вел батарею через лес. Машина наехала на противотанковую мину. Осколок ударил ему в шею. Он лежал на размытой дождями дороге и перед смертью не сказал ни одного слова. Я знаю, он проклинал свою судьбу. Не мог примириться с такой смертью. Если погибнуть, то на передовой. На наблюдательном пункте. Этим он всегда напоминал мне пограничника.

Обухов замолчал.

— Никак не могу представить его мертвым, — сказал Саша. — Никак.

— Да, — кивнул головой Валерий. — Пока мы отсиживались в тылу...

— Не вздумайте отдать Волгу! — вдруг резко выкрикнул Обухов, стукнув кулаком по столу. — Только победа! Или смерть.

— Главное — не думать о смерти, — сказал Валерий. — Самое большое чудо — то, что человек не знает, когда придет его последний час. А если бы знал? Он жил бы как безумец, все время пересчитывал бы, сколько дней осталось ему жить.

— Дело не в этом, — возразил Обухов. — Есть люди, которые живут и после смерти. А есть — уходят из жизни раньше, чем придет конец.

— А мы ведь хотели вернуться к Федорову, — тихо сказал Саша.

Обухов порывисто прошелся по комнате.

— Он должен быть жив, — упрямо сказал он.

— Федоров? — с надеждой воскликнул Саша.

— Андрей, — тихо ответил Обухов, и складка на лбу прорезалась еще глубже. — Мне здесь больше не вмоготу. Прощусь вместе с вами. Там будет легче. А здесь — будто бросил его на произвол судьбы.

Саша не привык слышать от Обухова жалоб. С жалобами обращались к комиссару.

— Как вы твердо верите, — восхищенно сказал Саша.

— Вас отпускают на фронт? — спросил Валерий.

— Пока нет. Но добьюсь.

Обухов надел шинель, затянулся ремнями, порывисто надвинул на лоб фуражку.

— На вокзале будет митинг. Все скажу там. Обещаете писать? — вдруг как-то виновато спросил он. — Просьба эта надоедливая, при любых проводах ее можно услышать. И все же — пишите. — Он распахнул дверь. — Писать-то мне больше некому, — добавил Обухов, и его слова тотчас же унес ветер.

На станцию они добирались всю ночь. Станция, где их ждали теплушки, была деревянная, неказистая, затерявшаяся в тайге. Грузились на рассвете. Излизанные шершавыми языками метелей сосны долго не пускали на скрипучую платформу проглянувшее между туч солнце.

Едва закончился короткий митинг, как к платформе подполз, тяжело разбрасывая косматые глыбы пара, разгоряченный паровоз. Он притащил за собой запыленные вагоны. Пассажиры, толпясь, выскакивали на скрипучую платформу. Кто мчался за кипятком, кто пытался сменить



какую-нибудь вещь на продукты. Слышался густой, немолчный говор, плакали дети, какая-то женщина надрывно голосила. Молодые девчата пели частушки.

Саша сидел на платформе, свесив ноги. Давно он не видел пассажирских поездов, сутолоки вокзалов. Война, война... Всех подняла на ноги, всех поразбросала, разметала. Вот и эти люди снылись с насиженных гнезд и едут теперь в новые, неведомые края. Матери, жены, старики.

Совсем неожиданно возле одного из вагонов Саша увидел невысокую худенькую женщину в осеннем поношенном пальто и теплом платке. Она держала в руке маленький алюминиевый бидончик. Ей нужно было, видимо, сходить за кипятком, но она не решалась отойти от вагона, боясь, что тронется поезд. Люди торопливо пробегали мимо.

Мама! — воскликнул Саша и в несколько прыжков очутился возле нее.

Она стремительно обернулась к нему и, тихо вскрикнув, прильнула головой к его груди.

— Сынок, — прошептала она, и бидончик, глухо звякнув о рельс, покатился по щебню насыпи.

Они жадно смотрели друг на друга.

— Куда ты едешь? — наконец спросил Саша.

— А ты? Неужели на фронт?

— Да, мама, на фронт. Закончил училище, — сказал Саша. — Давай присядем.

Они отошли в сторонку, сели на сосновые бревна. Пахло хвоей, горячим мазутом, пресной водой, что широкой струей лилась из трубы водокачки в паровозный тендер.

— А ведь немцы сейчас уже на Волге, — дрогнувшим голосом сказала мать.

— Да, но скоро все изменится, вот увидишь, — убежденно сказал Саша. — Не тревожься. Я уже воевал, и ничего со мной не случилось. Расскажи о себе.

— Что о себе? Здорова, эвакуировалась на Кавказ, а сейчас — в Сибирь. Буду работать в школе. Ты знаешь, Сашенька, — заговорила она вдруг торопливо и взволнованно, словно боялась, что кто-нибудь помешает ей досказать все, что было необходимо. — На станции я встретила отца Жени. Но он ничего не знает о ней. В первые дни войны она поехала на заставу и так и не возвратилась. Отец и мать уехали, не дождавшись ее.

— И это все? — встрепнулся Саша.

— А ты теперь лейтенант, — сказала мать, осторожно притрагиваясь пальцами к самодельным кубикам, красневшим в зеленых фронтовых петличках шинели.

— Да, лейтенант, — рассеянно подтвердил он, тревожимый одной и той же неотвязной думой. — Значит, он ничего больше не рассказал?

— Ничего.

Саша не слышал, как прозвенел станционный колокол. Торопливо и возбужденно загудел паровоз.

— Я останусь, — сказала мать.

Нет, что ты, — вскочил на ноги Саша. — У нас воинский эшелон. И скоро отправка.

Ему вдруг захотелось громко сообщить всем о том, что он так неожиданно-негаданно встретил мать, по все уже бежали к вагонам, поспешно вскакивали на подножки. Мать схватила руками голову сына, целовала его щеки, лоб, глаза, губы. Потом стремительно побежала в вагон.

— Я сейчас, сейчас, подожди, сынок, — задыхаясь, повторяла она, расталкивая стоявших в тамбуре людей. — Пропустите же меня. Пропустите, пожалуйста.

Вскоре она высунулась в окно, держа в руках большой полосатый арбуз. В этот момент лязгнули буфера, и поезд тронулся.

— Возьми, Сашенька, скорее! — крикнула мать.

Арбуз был так велик, что еле протиснулся в приоткрытое окно. Саша подхватил его и пошел вслед за вагоном.

— А бидончик, — вдруг вспомнил он, растерянно оглядываясь по сторонам. — Ты же оставила бидончик!

Мать махнула рукой. Слезы мешали ей видеть сына.

Саша бежал за вагоном, но поезд уже набрал скорость. Еще несколько секунд, и лишь перестук колес в таежном лесу да сизоватое облако пара, запутавшееся в старых разлапистых ветвях, напоминали о нем.

Саша долго смотрел на убежавшие в сосновую чащу рельсы, прижав к шинели арбуз.

«Она так и не успела рассказать о себе, — с горечью подумал он. — И раньше она никогда не успевала...»

— Арбуз! — завонил Валерий, увидев Сашу еще издали. — Вот уж не представлял себе, что в тайге растут такие красавцы!

Бельский тут же вытащил из кармана финку. Кто-то из курсантов положил арбуз на сухую траву и тихонько

дотронулся до него острым лезвием. Арбуз сразу же распался на две ярко-красные сахаристые половины.

— Самойлов — волшебник! — воскликнул Вишняков.

— Никакого волшебства, — заявил старшина Шленчак. — Я сам видел, как одна женщина продала ему этот арбуз. Верно я говорю, курсант, то есть, лейтенант Самойлов?

— Не совсем, — тихо ответил Саша. — Я не покупал. Мне дала его мать.

— Мать? — радостно спросил Сашу подошедший к ним Обухов. — Чудесная встреча. И неожиданная, как все в наши дни. Она ничего не знает об Андрее?

— Об Андрее? — Саша только сейчас понял, что очень виноват перед Обуховым. — Нет, ничего.

— Дайте-ка и мне скибку, — попросил Обухов.

Тревожно заголосила труба, и выпускники полезли в теплушки. Обухов каждому пожал руку.

Кто-то запел песню. Ее подхватили. Состав медленно тронулся. Саша долго махал рукой одиноко стоявшему на платформе Обухову и жалел, что комиссара не отпустили вместе с ними на фронт.

Когда теплушки полетели мимо таежных дебрей, Валерий присел на нары возле Саши и тихо сказал:

— Ты знаешь, Анна исчезла.

— И ты до сих пор молчал?

— Я узнал об этом перед отправкой на станцию. Ленка прибежала как сумасшедшая. Она искала Анну. Говорит, что уже сутки ее нет в батальоне. Мне кажется, она удрала на фронт.

— Ты это серьезно? — недоверчиво спросил Саша. — Она говорила, что ненавидит войну и боится погибнуть.

— Их трудно понять. Ну да бог с ними, с девчатами. Считаю, что инцидент исчерпан.

— Но куда она могла исчезнуть? — взволнованно спросил Саша.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Огневой взвод, которым командовал Саша, окопался во дворе одного из кирпичных домов на окраине степного города. Саша примостился с биноклем в руках у оконного проема. Впереди, на углу улочки, испуганно съежилось

молодое деревцо. Тонкие ветви его были покрыты сухой пылью и гарью. При каждом новом разрыве снаряда деревцо металось, будто хотело сорваться со своего открытого места. Даже в минуты затишья по его увядавшим листьям проносилась едва уловимая нервная дрожь.

Саша время от времени смотрел на это незащищенное дерево. Ему хотелось, чтобы оно оставалось целым и невредимым.

— Хороша банька, — подсел к нему старшина Шленчак. Он приехал сюда вместе с выпускниками и был назначен парторгом батареи. — Березового веничка не достает.

Саша промолчал. Отсюда, с перекрытия второго этажа, хорошо просматривалась часть улицы и вся окраина. Крытая грузовая машина в дальнем переулке остановилась, и из нее торопливо выпрыгнули немецкие солдаты. Один из них, рослый, неуклюжий, выхватил из кармана брюк маленькую губную гармошку и заиграл веселенькую мелодию. Двое других, поменьше ростом, стройные и чуть франтоватые парни, принялись кривляться и кричать, притопывая тяжелыми сапогами.

Саше стало не по себе. Странно было здесь, где в уши беспрерывно врываются грохочущие, оглушительные звуки, слышать мелодию незамысловатой немецкой песенки.

— Жарко, — сказал он, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. — Выдержим, парторг?

Шленчак помедлил с ответом.

— Яблочкин вчера просился. Если, говорит, он танки еще раз двинет, пусть позволят мне их встретить. Хочу, говорит, чтобы они меня запомнили. — Шленчак помолчал, его круглое, будто опухшее, лицо немного осунулось, и еще отчетливее обозначились рыжие мягкие щетинки на подбородке и щеках. — Вот и скажи, Александр Дмитриевич, — неожиданно переходя на «ты», добавил он, — чего человек не выдержит? Есть такие муки на свете?

— А как Крапивин?

— Неразговорчив стал. Ни одного слова не выбьешь. И какой-то чересчур старательный.

— Ничего не пойму, — удивился Саша. — Станный вы, Шленчак. Человек старается, а вам все плохо.

— Да я не странный, — мягко возразил Шленчак. — А только старание разное бывает, товарищ лейтенант. Я вас двоих еще по училищу помню. Разное у вас старание.

С того дня, как пушки его накрылись, он словно побитый ходит. Вроде с жизнью попрощался.

Они спустились вниз, собрали оставшихся в живых людей.

— Скоро пойдут танки, — сказал Саша. — Андрейчук и Стрельцов останутся у орудия. Остальные — со мной. Приготовить гранаты. Приказ прежний: ни шагу назад.

— И как можно больше шагов вперед, — добавил Шленчак. — Запомните: гранат меньше, чем танков.

Саша посмотрел на хмурых, измученных людей, и ему захотелось сказать им что-то бодрое, веселое, но слов не было. Взглянул на Валерия. Казалось, тот был абсолютно спокоен. Особенно глаза. Они словно застыли, уставившись в одну точку.

Пасмурный с утра день прояснялся. Вот-вот должно было проглянуть солнце, и, наверное, всем, кто находился сейчас в городе, очень хотелось увидеть его. И оно, наконец, вырвалось из серой сумрачной пелены облаков, засияло над рыжей осенней степью, над изуродованными городскими кварталами. Снизу, с кровоточащей земли, тянулись к нему дымы пожарищ, столбы взбудораженной взрывами земли и пыли.

И тут Саша в последних клочьях сырого тумана, что исчезал теперь, спасаясь от солнца, увидел среди пологих чуть повеселевших холмов черные, лениво отсвечивающие на солнце фигуры фашистских танков. Трудно было понять, стоят ли они на месте или уже двинулись к упрямой окраине.

Семь человек заняли позиции в окопчиках. «Если верить древним римлянам — счастливая цифра», — подумал Саша, придвигая к себе гранаты.

Валерий лежал рядом. Саша взглянул на него и неожиданно почувствовал к нему жалость. Он понимал, что предстоящий бой будет жестоким и что, может быть, уже не придется сказать друг другу то, что необходимо, очень необходимо сказать.

«С ним я не пошел бы в разведку», — вспомнил он свои слова. Какое он имел право так сказать? Правда, перед выпуском на вопрос Обухова Саша ответил, что готов, взять свои слова обратно. Разве Валерий не настоящий друг? И разве плохо вел себя в боях?

— Валерий, — позвал Саша. — Танки близко. Но у нас еще есть несколько минут. Ты слышишь меня?

— Слышу, — негромко ответил Валерий.

— Если этот бой будет для нас последним, ты должен знать: считаю тебя настоящим другом. Но было время, когда я подозревал тебя в нечестности. Я думал...

— Что же ты думал? — перебил его Валерий.

— Что ты присвоил стихи Граната.

Валерий молчал, отвернувшись от Саши.

— Прости меня, — попросил Саша. — Если можешь, прости.

— Танки, — тихо сказал Валерий.

Ему не хотелось говорить. Он не замечал солнца. Ему чудилось, что весь свет заполнен этими танками и что их не остановить. Вспомнилась батарея Федорова и такие же танки, ползущие на огневую позицию. Дрожащими пальцами он расстегнул душивший его воротник. И все, что говорил ему Саша, не удивляло и не волновало. Валерий думал о том, что никуда уже не уйти от этих танков, и ему стало немного легче. «А что сделал Морозка?» — вдруг спросил он себя и ответил теми же словами, которые произнес, казалось, очень и очень давно на уроке литературы: «Морозка выстрелил три раза вверх, как было условлено».

Танки были уже совсем близко, уже слышался отчетливо их грозный, злой рев. Один из них вырвался вперед. Из ближнего к нему окопчика кто-то неудачно бросил гранату. Она разорвалась в стороне, обдав танки жесткими комьями земли. Танки поспешно огрызнулись огнем. В воздухе засвистели осколки.

«Ближе, ближе нужно подпускать», — твердил себе Саша.

И тут произошло непредвиденное. Саша не поверил своим глазам: прямо напротив него, из переулка, наперерез приближавшимся танкам бежала девочка. Это было невероятно маленькое создание в коричневом костюмчике, без шапочки и босиком. За грохотом взрывов и пулеметной стрельбой не было слышно ее крика и плача, хотя то, что она кричала и плакала, можно было угадать по ее широко раскрытому рту и испуганному лицу. Трудно было понять, каким чудом попала она сюда. Вероятнее всего; выскочила из подвала ближнего здания и теперь мчалась по пустырю, не понимая, какая страшная опасность грозит ей.

Саша, пригнувшись, бросился к девочке. Увидев его,

она, как крылышками, взмахнула ручонками, словно почувствовала, что он хочет ее спасти. Саша схватил ее на руки и рванулся назад, к ближайшей развалине. Для него не было ноши драгоценнее, чем эта тоненькая бледная девочка со вздернутым носиком, вымазанным в саже, с грязноватыми ручейками слез на щеках, с крошечной рыжеватой росичкой, напоминавшей обгрызанный хвостик.

Саша боялся упасть, споткнувшись о кучи кирпича и щебня, уронить этот маленький живой комочек, доверчиво прижавшийся к его груди. И еще больше страшился, что его настигнет пуля или осколок и что не успеет донести девочку до укрытия.

До ближайшего подвала оставалось уже несколько шагов, когда почти рядом с Сашей взметнулся огненный смерч. Острая боль стиснула сердце. Падая на землю, он с отчаянием понял, что никакое усилие не поможет ему теперь удержать девочку.

— Валерий! — крикнул Саша, собирая в этот просящий зов остатки своих сил.

Он был убежден, что его крик полетел в самое поднебесье. На самом же деле его не услышала даже девочка. И если бы Саша сумел хоть на миг оглянуться назад, он увидел бы, что там, где только что был Валерий, уже никого нет.

Всю эту картину отчетливо видел Шленчак из своей засады. Когда Саша схватил девочку, он улыбнулся.

Теперь, когда Саша упал, Шленчак стремительно пополз вдоль бугра. Танк был совсем рядом, вздыбился над бугром. Солнце ударило ему в гусеницу ослепительной вспышкой. Цепляясь за неприветливую землю, танк взбирался все выше и вот уже начал сползать туда, где притаился и замер Шленчак.

— Лезет, как по своей земле, — пробурчал Шленчак. В ту же секунду он швырнул в танк связку гранат. Она упала в стороне и не причинила танку вреда. Он зарычал еще ожесточеннее.

— Эх, старшина, старшина, — укоризненно сказал Шленчак.

Он взял в руку противотанковую — последнюю, что оставалась у него, — и хотел было кинуть ее под танк, но тут же передумал.

«А что, если снова впустую?» — спросил он себя, и впервые за все это время его охватил страх.

Шленчак крепкой заглубившей ладонью стиснул рукоятку гранаты и в то мгновение, когда танк вот-вот, казалось, перевалит свое лязгающее тело вниз, с бугра, спокойно лег ему на пути, накрепко сросся с землей.

Звериным ревом наполнился воздух. И совсем незадолго до того, как мощный взрыв поднял на дыбы землю, Шленчак на миг увидел перед собой летний жаркий день. Вспотевший, довольный своим трудом, он стоит с косой, а навстречу ему спешит жена с девочкой на руках, почти с такой же девочкой, как та, которую пытался спасти Саша.

...Совсем неожиданно Саша почувствовал тонкий горьковатый запах черемухи и с усилием приоткрыл тяжелые, горевшие огнем веки. И сразу же его глаза столкнулись с другими, очень знакомыми ему глазами, полными солнца и тихого света.

— Ты будешь жить. Какое счастье... — прошептали совсем близко чьи-то губы, и по его лбу и щекам пронесся чуть прохладный ветерок, снова принесший с собой удивительный запах только что распустившейся черемухи.

И Саша понял, чьи это были глаза и губы. Анна!

— Скажи, — прошептал он, — ты искала меня?

— Да.

— Зачем?

— Чтобы сейчас быть с тобой.

— А я тоже думал о тебе, — признался Саша и вдруг перестал видеть ее глаза.

— Я знаю, — медленно и, казалось, равнодушно сказала Анна. — Как хорошо, что ты думал обо мне. Ведь тогда, за рекой... Любовь к тебе сделала меня совсем другой. Меня не пускали сюда. Я убежала. Ты будешь мой. Ты все равно будешь мой.

Пришли санитары. Анна, не стыдясь, поцеловала Сашу, и он тихо вздрогнул.

— Вот и все, — тихо сказала Анна и, не ожидая, когда Сашу положат на носилки и унесут, побежала по булыжной мостовой кривого, заваленного битым кирпичом переулка. В конце его дробно и устало стучал пулемет.

— Поцеловала, — задумчиво сказал низкорослый, щуплый санитар.

Саша чувствовал, что задыхается и что ему нужно сказать что-то самое главное, без чего он не сможет чувство-



вать себя спокойным. Он силился вспомнить то, что должен был обязательно сказать, и вдруг вспомнил.

— Где девочка?

И сразу же, стоило только сомкнуть глаза, как он увидел ее: девочка с рыженькой косичкой бежала ему навстречу по осенней траве...

Высокий санитар, шедший впереди, услышав его вопрос, ссутулился и на миг обернулся.

— Девочка, девочка, — пробурчал он мрачно и с ненавистью. — Вон она, хвостом мелькнула, ищи-свищи. Нужен ты ей... в таком виде.

Саша потерял сознание.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

На старенькой, истерзанной в боях машине Женя везла раненых в медсанбат.

Степь дымилась пургой. Женя тряслась в кабинке на выпиравших из-под рваной обивки пружинах сиденья и пыталась сквозь густо залепленное снегом стекло разглядеть дорогу. Машина, захлебываясь от усилий, ползла по ухабам, беспомощно скатывалась с них и снова с упорством лезла в снежную целину.

Главной заботой Жени было как можно скорее довести раненых. Несмотря на то что все они были укрыты одеялами и полушубками, лежали в крытой машине, нужно было спешить.

И шофер и Женя ехали с приподнятым настроением: наступление началось и предвещало большие, радостные перемены на фронте, а значит, и в судьбах людей. И им чудилось, что машина хоть медленно, но самоотверженно движется навстречу этим желаниям и счастливым событиям.

Дорога... Сейчас вся жизнь представлялась Жене песочною и трудной дорогой. Особенно памятным был путь из Синегорска.

Да, Эрих тогда сдержал свое слово. Поздним вечером он пришел за ними в дом Крапивина и сказал, что пора ехать. Артемий Федорович отказался. Он заявил, что будет жить здесь до тех пор, пока не вернется Валерий.

— Вы верите, что он вернется? — спросила его Женя.

— Я верю в его звезду, — несколько торжественно ответил он и поцеловал ее в лоб.

— А если немцы заставят вас работать на них?

Артемий Федорович подвел Женю к шкафу, сквозь стеклянные стенки которого виднелись многочисленные пузырьки и банки с лекарствами.

— У меня есть выход, — почему-то улыбнулся он, показав на один из пузырьков.

— Яд, — прошептала Женя.

— И очень сильный, — спокойно подтвердил Артемий Федорович.

Прощание было коротким и молчаливым. Лишь в самый последний момент Артемий Федорович сказал:

— Одна просьба к вам, Женя. Ждите Валерия. Он не может погибнуть. Ждите.

Эрих провел Женю и Славку темными переулками, и в открытых воротах угрюмого кирпичного дома они увидели тупорылую машину. Эрих молча пожал им руки. Сопровождавший их солдат — молодой парнишка — пристально посмотрел на Женю и кивнул головой. Женя и Славка забрались в кузов. Машина рванулась и выскочила за ворота.

На город быстро опускалась ночь, и темнота усиливала чувство тоски, обреченности и одиночества. Женя мысленно перебирала в памяти все события, которые пронесли за это короткое время. Станным было не то, что произошло столько изменений в ее жизни, странным было то, что она как изгнанница, как беженка покидала этот город, город материнской ласки, первой любви и цветущих яблонь.

К рассвету они были уже в областном центре. Машина остановилась неподалеку от площади. Женя и раньше бывала здесь, площадь всегда казалась ей веселой и уютной. Сейчас же она выглядела странной и необычной. Женя увидела дощатый помост и высокие столбы с перекладинами. Это сооружение стояло совсем рядом с кинотеатром, и Женя вспомнила, что перед выпускными экзаменами она вместе с Валерием смотрела здесь фильм «Истребители».

— Смотри, — толкнул Женю в бок Славка.

Они увидели, что помост окружают хмурые, словно невыспавшиеся люди, а вплотную к нему неровной цепочкой выстроились молчаливые солдаты.

Женя не понимала, почему остановилась их машина. Ей хотелось быстрее уехать отсюда, чтобы не видеть и не слышать того, что здесь произойдет.

Стало совсем светло, но Женя долго не могла рассмотреть, кто двигался в окружении конвоя все ближе и ближе к помосту через узкий коридор солдат. Но прошло еще мгновение, и внезапная догадка поразила ее. Женя, не помня себя, схватила Славку за руку и тихо застонала:

— Валерий...

— Какой Валерий? — испуганно спросил ее Славка. — Ты, наверное, ошиблась.

Да, Женя ошиблась. Это был не Валерий. Это был паренек, очень похожий и на Валерия, и на Андрея, и на Сашу, — обыкновенный русский паренек. Коридор из солдат был нескончаемо длинен, и, наверное, пока он шел по этому коридору, его занимала одна, главная мысль: идти прямее и тверже.

Увидев виселицу, он, вероятно, еще яснее понял, что она предназначается именно для него. Идти стало труднее, но он шел, стараясь не сгибаться. Страшно было подумать о том, что еще совсем немного, и все, что было вокруг: люди, город, небо, — все померкнет и навсегда исчезнет.

Он жадно всматривался в толпу. Кого ему хотелось увидеть? Остались минуты, может быть секунды, и каждая из них была драгоценней, чем целый год жизни! Но он, кажется, так и не увидел, кого искал.

Женя твердила свое: «Валерий, это Валерий». Ей верилось, что взгляд его теплых и ясных глаз обращен на нее. Казалось, что паренек не молчит, а говорит с ней, и она слышит его, отчетливо различает каждое слово.

Но в действительности паренек ничего не говорил. Он молчал, высоко подняв обнаженную голову, и ветер играл его волосами. А позади, теперь совсем близко, чуть колыхалась веревочная петля.

Неожиданно совсем рядом с помостом Женя увидела тонкую фигуру Фейнингера. Он стоял, не глядя на виселицу, свежий и подтянутый, всем своим видом показывая, что к тому, что сейчас должно произойти на площади, он не имеет непосредственного отношения.

Женя не слышала крикливого чтения приговора. Она не чувствовала даже своего дыхания, потому что ей нуж-

но было понять и осмыслить все, что говорил ей сейчас Валерий. Женя высунулась из машины, чтобы видеть его лучше и чтобы он тоже лучше видел ее. Сейчас, сейчас она поможет ему. Она должна сделать что-то решительное, чтобы вызвать его из беды. Но что, что?

И вдруг она увидела, как гестаовец поймал петлю и поднес ее к голове паренька.

Ей хотелось крикнуть: «Спасите его, спасите!», но она задохнулась, ей перехватило горло.

Это было, пожалуй, все, что запомнилось Жене из тех дней, когда они ехали к линии фронта. Как немец оставил ее тяжело больную вместе со Славкой в какой-то деревенской избе, как очутилась она в медсанбате, как ушел со стрелковым батальоном Славка — все бесследно исчезло из памяти. Потом уже ей рассказали, что помог счастливый случай: деревушку всего лишь на сутки отбила у немцев наша стрелковая рота.

...Неожиданно машина закашлялась и остановилась. Стаи снежных птиц неистово заматались над притихшим и вдруг ставшим каким-то маленьким и обиженным грузовиком. Горбоносый шофер, кляня зиму, степные дороги и помпотеха, всучившего ему машину-калеку, безуспешно возился в моторе.

Положение усложнилось не на шутку. Если машина так и не подаст признаков жизни, раненым грозит беда. Женя залезла в кузов, получше укрыла людей, дала по глотку спирта.

— Мотор не завести, — глухо сказал один из раненых. — Я слышал, как он чихал. Безнадежное дело.

Женя быстро обернулась к говорившему, но не увидела его лица. Из-под воротника шубы, которой он был накрыт, выглядывал только острый нос.

— Молчи, — строго сказала Женя. — Ты ничего не понимаешь в моторе.

— Я — шофер, — возразил раненый.

— Ну и что же? — возмутилась Женя. — Значит, никудышный шофер. — Она прислушалась. — Оглох ты, что ли? Слышишь, гудит!

Ей не хотелось отчитывать раненого, но она знала, что его мрачное настроение может легко перекинуться на других.

Женя выпрыгнула из кузова, и вдруг в самом деле до ее слуха донесся гул мотора. Машину трудно было рас-

смотреть в снежной сумятице, но сомнений не оставалось: к ним приближается грузовик.

Женя побежала ему навстречу. На всякий случай вытащила из кобуры револьвер, боясь, что шофер не захочет остановиться. Твердо стала посреди дороги.

Машина остановилась, едва не задев ее буфером. Краснощекий шофер в ушанке высунулся из кабинки.

— Что, девка, пушкой машешь? Думаешь, испугался? На меня «катюшу» напусти — не испугаюсь.

— Свой! — радостно воскликнула Женя, смахивая снежинки с длинных ресниц.

— Свой, не твой еще, — засмеялся шофер, раскрыв рот, полный крупных длинных зубов.

— Ой, милый, не до шуток, бери скорей на буксир, — решительно сказала Женя, с удовольствием обнаруживая в своем голосе металлические нотки.

— Я вас не дотяну, — заупрямился шофер. — У меня груз.

— А у меня — раненые! — закричала Женя, стараясь пересилить свист ветра. — У тебя не машина, а танк. Попробуй только...

А шофер уже вытаскивал из кузова трос. Вместе с водителем санитарной машины они быстро справились с работой, закурили. Угостили трофейной сигаретой Женю. Она не отказалась.

— Молодчина, — похвалил ее незнакомый шофер.

— Поехали, — приказным тоном сказала она, и оба шофера тотчас же нырнули в кабинки.

— Садись ко мне, — позвал ее краснощекий. — У меня не машина, а мечта.

Женя задорно погрозила ему.

Степь слилась с мутным, прижавшимся к самой земле небом. Ветер нес снежные потоки. Они звучно стелились по снежной глади, и казалось, что вся степь находится в безостановочном движении, дымит и дышит, как живая. И верилось, что сейчас на всей земле не существует ничего больше, кроме этих снегов и ветра, который, непрерывно повизгивая, лизал ее холодный шершавый покров, раскачивал редкие колючие кусты.

— Смотри-ка, — вдруг сказал шофер. — Никак волк.

Он указал Жене на едва приметную фигурку, появившуюся на белом фоне в стороне от дороги и мелькавшую среди сугробов.

— Останови, — попросила она. — Кажется, человек.

Шофер несколько раз надрывно просигналил. Передняя машина остановилась. Женя вылезла из кабинки.

— Да это куст, — усмехнулся шофер. — Видишь, ветром качает.

— Да нет же, — заупрямилась Женя. — Человек.

Она была права. К дороге, проваливаясь в не успевшие затвердеть на морозе сугробы, ковылял человек. Плыв его одежды приподнимал ветер, и время от времени он походил на большую взлохмаченную птицу, пытавшуюся взлететь. Согнутым локтем он закрывал лицо от колючего ветра. Казалось, он бредет, сам не зная куда. Неожиданно споткнулся, упал, тут же поднялся, сделал несколько шагов и снова упал.

Женя вместе с шоферами бросилась к нему.

Совсем молодой паренек в серой истрепанной шинели без знаков различия лежал подле колючего низкорослого кустарника, устремив неживой взгляд на дорогу. В его открытых глазах застыло отчаяние.

Женя с помощью шофера приподняла юношу. Он был словно деревянный. Они подняли его на руки и понесли к машинам. И тут Женя отчетливо увидела его лицо. Руки ее ослабли, а сердце глухо застучало. Она тихо вскрикнула.

— Не бойся, — сказал шофер. — Выживет.

— Да, да, конечно, — закивала головой Женя, не отрывая взгляда от бледного лица юноши и его открытых глаз, словно подернутых синим мартовским льдом.

Неужели Валерий? Это имя звучало у нее в душе, и волны радости и счастья, вдруг нахлынувшие на нее, сделали ее беспомощной и слабой. Его глаза, его губы, его подбородок. Все его! Только бы услышать голос, только бы он узнал ее! Куда же он шел? Почему он здесь, в степи, очоленевший и едва не замерзший? А может, это и не он?

Она укутала юношу и всю дорогу до медсанбата ехала в кузове, положив его голову к себе на колени. У нее было то странное и удивительное состояние, когда в душе все поет от радостного ощущения неожиданной встречи, и в эту сильную светлую песню врываются, словно непрощенные гости, нотки тревоги и тоски.

В медсанбат добрались лишь к обеду. Майор медицинской службы Логов всплеснул пухлыми руками, увидев

полную машину раненых: количество мест в медсанбате не было рассчитано на такое большое пополнение. С помощью медсестер он разместил раненых. В самой теплой комнате Женя нашла место для паренька, подобранного в степи. Никаких документов при нем не оказалось, и все же сердце подсказывало ей, что она не ошиблась. Жене не терпелось поговорить с ним, убедиться, что это действительно Валерий и что он не забыл ее. Она уже представила себе, как он будет читать ей стихи, те, что первыми придут на память, или те, что написал на фронте.

Наскоро перекусив, Женя принялась за свою обычную работу, но Логов, внимательно посмотрев на нее, велел ей немного поспать, с тем чтобы вечером принять дежурство. Перед тем как уйти отдыхать, Женя несколько раз заглядывала в комнату, где лежали раненые, и с надеждой смотрела на юношу. Казалось, он был без памяти.

Вечером, заступив на дежурство, Женя вместе с санитаркой разносила раненым ужин. Юношу она кормила с ложки. Он жадно глотал горячий суп.

Неожиданно с улицы донесся гул пролетающих самолетов.

— Бомбят? — хрипло и взволнованно спросил он.

— Нет, нет, — торопливо успокоила его Женя. — Это наши. Теперь фашисты отбомбились.

Она не видела хорошо его лица, но зато услышала голос и отбросила прочь все сомнения: Валерий!

Женя дрожала от волнения.

— Скажи, ты — Валерий?

Юноша вздрогнул, и веки его чуть приоткрылись.

— Да, — сказал он. — А что?

Ей показалось, что теперь прозвучал совсем другой голос, глухой и незнакомый.

— Я — Женя. Из Синегорска. Помнишь?

— Женя? — спросил он таким спокойным и равнодушным тоном, что у нее похолодели губы.

— Ты вспомнишь, ты непременно вспомнишь, — придвигаясь к нему, повторяла она. Она боялась и подумать, что произошла ошибка. — Ведь твоя фамилия Крапивин?

— Нет, — едва слышно ответил он. — И я никогда не встречал тебя.

— Да нет же, — испуганно и настойчиво доказывала она. — Я — Женя. Неужели не помнишь?

Глаза юноши закрылись, и он глухо застонал.

— Я ничего не помню. Ничего...

Женя в смятении привстала с койки. Как могла она тревожить человека, который совсем недавно пришел в сознание?

— Прости, — прошептала она. — Прости.

Она с минуту задержалась возле его койки, подождала, пока он успокоится, подкрутила в лампе фитиль и вышла из комнаты.

Валерий проводил ее настороженным взглядом и облегченно вздохнул. Кажется, она так и не убеждена, он это или же человек, похожий на него. Пусть так и будет. Конечно, все было бы совсем иначе, если бы он не ушел тогда, когда понял, что и Саша, и девочка, и Шленчак — все погибнут. И разве он мог бы встретить Женю, если бы было не так, как произошло? Но вот он встретил ее, узнал, едва она обратилась к нему с первым вопросом. И что же? Где счастье? Почему вместо счастья — раздирающая душу тоска и отчаяние?

Он вспоминал сейчас, как спасся от смертоносного огня танков, до ночи сидел в развалинах кирпичного дома. Потом пошел сильный дождь вперемежку со снегом. Валерий, обессиленный и подавленный, ушел в степь...

Валерию вдруг снова, как и прежде, захотелось убедить себя в том, что ничего страшного не произошло и что можно и теперь найти удобный для себя выход. Но тщетно, все его доказательства тут же разбивались о какую-то непреодолимую стену, и чувство безысходности и непоправимости того, что свершилось, завладело им.

«Почему хорошо тем, кто честно идет по жизни? — спрашивал себя Валерий. — Наверное, им очень легко дышать... Что же отличает тебя от Саши, от Жени, от Шленчака? — Валерий долго лежал, стиснув губы, силясь найти верный, не подлежащий сомнению ответ. — Кажется, у тебя нет того главного, что есть у них. Помнишь, все, что говорили тебе еще с самого детства о Родине, о любви к ней, о долге, было для тебя красивыми, заманчивыми словами, от которых сладко замирало сердце. Нет, конечно, не только слова. Тебя нельзя назвать трусом. Ты мог пойти и на подвиг. Но ты всегда смотрел: а будет ли тот или иной шаг отвечать твоим собственным интересам. Даже на подвиг шел с оглядкой. Или с расчетом? И никто не мог прочитать в твоей душе то, что ты иногда прятал даже от самого себя. А они, твои сверстники, ничего не



прятали от людей. Не может быть, чтобы они не думали о себе, не хотели остаться в живых. Разве меньше тебя они любят жизнь? Но свое личное счастье они не отделяли от судьбы людей. И вот теперь тебя убивает собственная совесть. Так что же делать? Что?»

Валерий лежал неподвижно, боясь привлечь внимание раненых с соседних коек. Физически он чувствовал себя крепче. Временами готов был решиться пойти к Жене и рассказать ей обо всем. Но тут же останавливал себя.

«Ты не сделаешь этого, — внушал он себе. — Не сделаешь, потому что все еще ценишь свою жизнь. А разве они не ценят? Так в чем же разница? Почему ты не можешь, а они бы смогли? Неужели все дело в том, о чем ты уже спрашивал себя, — в долге, в вере, в любви ко всем этим людям, которые окружают тебя, и ко всей этой земле, на которой полыхает сейчас такая страшная война? Неужели именно в этом?»

Время шло, а Валерий так и не мог придумать, что ему следует предпринять, как поступить. Лампа давно погасла, видимо, в ней кончился керосин. В окно заглянул месяц, холодный и безжизненный. Кажется, все спят. Лишь в противоположном углу тихо бредит раненый. Валерий встрепнулся. Внезапно родившаяся мысль обожгла его.

«Бежать, бежать, — настойчиво стучало в его голове. — И я знаю, куда бежать. Знаю. И там — спасение...»

Он поспешно, насколько позволяла ему больная рука, натянул под одеялом брюки, потом гимнастерку, сел на койке и с огромным трудом надел сапоги. Осмотрелся. Накинул шинель, схватил здоровой рукой шапку и, стараясь ступать бесшумно, выскользнул из комнаты. Проходя по коридору, он вдруг остановился, пораженный: из приоткрытой двери одной из комнат струился свет. Затаив дыхание, он заглянул туда. В крохотной комнатухе, набросив на плечи шинель, спиной к двери сидела Женья. Она держала в руках какую-то фотокарточку и внимательно рассматривала ее.

«Скорей, скорей, — торопил себя Валерий. — Она почувствует, она обернется. Сейчас обернется. Скорей, пока она не обернулась. Скорей!»

Но он не успел уйти: Женья, видимо почувствовав на себе пристальный взгляд, стремительно обернулась и совсем рядом с собой увидела его почерневшее, состарившееся лицо с потухшими, неживыми глазами.

— Женя, — прошептал он, задыхаясь. — Женя, — повторял он, будто не знал и не мог произнести других слов.

Она вскочила со старого скрипучего кресла и бережно усадила в него Валерия.

— Спаси меня, Женя, — как-то слишком спокойно произнес он. — Спаси.

Она присела рядом с ним. За окошком взвизгивала, точно от боли, ожидавшая рассвета пурга. Можно было подумать, что ее ожесточенное, гневное дыхание пыталось заглушить то, о чем, сбиваясь и путаясь, рассказывал Валерий.

Он говорил быстро, почти безостановочно, не давая перебить себя.

— Мне верилось, что я прав. Всегда и везде. Я был убежден, что иду по жизни так, как нужно. Готов был идти в огонь, если знал, что меня заметят, и боялся поднять голову от земли, если понимал, что никто не восхитится моей смелостью, не вспомнит моего имени, если придется погибнуть. В такие минуты испытывал страх и не знал, как с ним бороться.

Щеки Валерия горели. Он боялся встретиться с глазами Жени.

— И что бы я ни делал, я старался оправдать себя, договориться со своей совестью. Но совсем неожиданно для меня самого что-то совершенно новое обожгло душу. Я словно раскрыл глаза и увидел, что стоит мне сделать еще один шаг, нет, еще одно движение, и я сорвусь в пропасть. Но когда это произошло? Когда? Я сейчас вспомню. Ты увидишь, я обязательно вспомню. На батарее Федорова? В училище? Или в степном городе? После встречи с тобой? Сейчас, сейчас вспомню. Подожди, Женя, ты можешь немного подождать? Сейчас, сейчас...

Валерий приник головой к плечу Жени. Теперь она при всем желании не увидит его глаз — ищущих, мятущихся, перед ней была только его сгорбленная, вздрагивающая спина.

— Да, это было на батарее Федорова. Как же я мог сомневаться? Слушай, как это было. Я боюсь, ты не поймешь меня. Это нужно пережить. Мы тащили гаубицы. Под огнем. По глубокому снегу. Снег был сухой, как песок. Сто метров. Пятьсот. Километр. Выбились из сил. Казалось, уже никто не может сделать ни шага. Падали. Снова вставали. И тут я увидел человека в солдатской

шинели. Он пришел к нам ночью. Его звали Гранат. Лицо его было худым и страшным. Грязные небритые щеки. Пот. Он судорожно глотал воздух и, ты понимаешь, что-то шептал. Я подумал, что он обезумел. Но после боя он сказал, что шептал стихи. Я помню каждый их звук. Это были стихи о нашем поколении. Я спросил его: «Эти строки родились тогда?» И он кивнул головой. И я сказал себе: «Вот человек, а ты — подлец».

— Зачем ты так? — успокоила его Женя.

— Я запомнил его стихи. И потом, в училище, прочитал. Перед своими товарищами. Вслух. Это самое страшное. Ты слышишь?

— Самое страшное?

— Да, — грубо ответил он. — Самое страшное. Я сказал людям, что это мои стихи. Понимаешь, мои! Я знал, что Гранат погиб.

— Валерий...

— Слышишь, он погиб, а я — жив! Человек погиб, а подлец — жив!

Валерий уронил голову на теплые колени Жени и застыл.

И ей стало страшно, так страшно, как будто не он, а она сама сделала все то, о чем он рассказал. Гневные слова, которые ей хотелось сказать ему, кипели в ней, но она не произнесла вслух ни одного из них.

— Говори, — сказала Женя тихо и настойчиво. — Говори.

И он говорил. А она видела перед собой лунную ночь в Синегорске, мысленно повторяла стихи, которые читал ей Валерий.

— Я пойду, — поднялся с кресла Валерий. — Но разреши мне только один раз, один раз...

— Что?

— Поцеловать тебя.

Женя обняла его за плечи, подняла голову, и черные густые волосы упали на его холодные руки. Она закрыла глаза.

Всем своим существом она почувствовала, что его поцелуй не принес ей счастья. Страх и горе охватили ее. Сейчас Валерий уйдет. Может быть, навсегда. Потому что идет в бой.

— Вот и все, — вздохнул он и круто повернулся к двери. — Спасибо тебе.

- Счастливо, — едва слышно прошептала Женя.
- Счастливо, — откликнулся он.
- Слышу, — прошептала Женя и снова закрыла глаза. Когда она открыла их, Валерия не было.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Разъезд был маленький, неказистый, но два поезда стояли на нем так же послушно, как и на большой станции. Они не были похожи друг на друга. Один состоял из пассажирских вагонов, на которых были нарисованы большие красные кресты. Другой представлял собой длинную, казалось, бесконечную очередь теплушек, платформ с орудиями и танками.

В санитарном поезде среди других раненых, отправляемых в госпитали, находился Саша.

Приподнявшись на локте, он со своей полки жадно смотрел на снежный простор, расстилавшийся перед ним.

У высоких сугробов, совсем неподалеку от поезда, виднелась острая верхушка елочки. Она совершенно не шевелилась, словно замерла, удивленная добротой пушистых снегов и задорной силой солнца. Зеленые иглы ее верхушки были совсем молоденькими, они не успели еще приобрести голубовато-дымчатый оттенок, и каждая иголка своим острым концом тянулась кверху, будто ей очень хотелось уколоть что-то невидимое, уколоть играючись, ради забавы.

И Саше припомнился день, в который он ехал в училище. День был почти такой же, как сейчас. Такие же успокоившиеся снега вокруг. Даже здешняя елочка, казалось, перенеслась сюда из тех краев, где вела огонь батарея комбата Федорова. Все было так же, как в тот день, особенно в момент, когда перестал идти снег. Но нет, ведь тогда не светило солнце, не было ощущения чего-то нового, не видно было того, что теперь стало ясным, удивительно отчетливым.

Саша зажмурился, настолько ослепительной была снежная гладь и морозная синева неба. Вспомнились слова, которые написал ему Обухов, теперь уже с фронта:

«Скорее бы на свою границу! В те места, где ходил мой Андрей в пограничный наряд. Скоро мы будем там. Вот увидишь!»

Призывно загудел паровоз, и Саша снова прильнул к окну. И он не поверил своим глазам.

Там, где кончались сугробы и была вытоптана вдоль полотна снежная дорожка, совсем недалеко от елочки, стояла девушка в ловко пригнанном солдатском обмундировании. Саша всмотрелся в нее. Что-то бесконечно знакомое до каждой черточки увидел он в ней. Будто они никогда не расставались.

Но кто же это? Женя? Или Анна? Кто?

Ну конечно, Женя. И как он мог сомневаться? Или ему чудится? Просто оттого, что столько думал о ней и еще столько будет думать? Да, она, она! Черноглазая, тоненькая, со смеющимися глазами. Те же косички. Вон они выскочили из-под ушанки, этакie непослушные, непоседливые косички! Сейчас она сорвется с места и умчится, как вихрь. Неужели снова умчится?

— Женя! — крикнул он и, преодолевая боль в раненой руке, стукнул кулаком по стеклу.

— Тихо, браток, тихо, — сказал кто-то из раненых хрипло и равнодушно.

— Опять бредит, — мрачно откликнулись из соседнего купе.

А может быть, Анна? Белянка? Сейчас она подбежит к нему, как в тот день, когда он лежал на булыжной мостовой. Наклонится и будет шептать слова любви. Значит, Анна? На всю жизнь?

Поезд тронулся, медленно, но настойчиво набирая скорость. Саша видел, как девушка пошла рядом с вагонами, как удивленно-приветливо вспархивали ее длинные пушистые реснички, когда она поднимала голову к окнам. Она шагала легко и проворно, и Саша не слышал, а чувствовал, как поскрипывает снег под ее сапожками.

Ему хотелось позвать ее, крикнуть изо всех сил, но он понимал, что теперь она все равно не услышит его.

И Саше вдруг стало невыносимо страшно от того, что все — улыбки, слезы, радости, открытия, счастливый блеск глаз, проливные дожди, даже война, — все, чем люди живут в данное мгновение, все нетерпеливо и жадно уходит в прошлое, и нет в мире сил, которые могли бы остановить это непрерывное движение жизни. Но может быть, именно в этом — истинное счастье?

Когда-то Валерий сказал ему: «Все, Саша, юность кончилась». И сейчас Саше, как никогда, хотелось горячо

спорить с ним, доказывать, что это не так. Юность так же вечна, как вечна человеческая жизнь. И прекрасна. Ибо в юности человек всегда первооткрыватель, он узнает и первую любовь, и первые разочарования, и первый бой, и первые радости.

Саша думал о Валерии, о Жене, об Анне и о себе и понимал, что не только они, но и он сам теперь уже совсем другой, что в чем-то главном и решающем изменилось его отношение и к Валерию, и к Жене, и к Анне, и к самому себе.

Но стоило ему вспомнить Граната, как все думы, которыми он жил сейчас, оказались перечеркнутыми одной незабываемой строчкой. «Мы были высоки, русоволосы...» Его стихи! А Валерий... И ты смирился, ты пошел против правды. Так в чем же вина Валерия? В том лишь, что он присвоил строки, рожденные другим сердцем? Нет, он искал поэзию только в словах, а не в своей жизни.

Саша открыл глаза. Поезд рвался в неизведанное. Идут поезда, идут войска. Идут к тем самым границам, где начиналась война. Саша скоро поднимется на ноги, очень скоро.

Будут еще бои.

Будут встречи.

Будет весна.



## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Как солнце дню	7
Юность уходит в бой ■ ■	141



**Анатолий Тимофеевич Марченко**  
**КАК СОЛНЦЕ ДНЮ. Повести.**  
М., Воениздат, 1965. 304 с.

Редактор **Смолин В. Н.**  
Художник **Сотсков Г. А.**  
Технический редактор **Соколова Г. Ф.**  
Корректор **Корчагина Э. С.**

\* \* \*

Сдано в набор 2.06.65 г.  
Подписано к печати 9.08.65 г.

Г-24769

Формат бумаги  $84 \times 108^{1/8} - 9^{1/2}$  печ. л. =  
= 15,58 усл. печ. л. 15,884 уч. изд. л.

Тираж 100 000

Т.П. 1965 г. № 244

Изд. № 4/7568

Зак. 923

\* \* \*

1-я типография  
Военного издательства  
Министерства обороны СССР  
Москва, К-6,  
проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Цена 68 коп.



